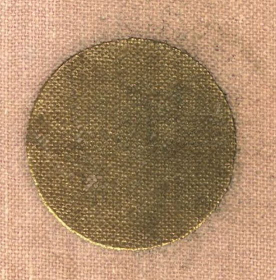
СЕМЕН ШУРТАКОВ



ТАМ, ЗА НЕБОСКЛОНОМ...

СЕМЕН
ШУРТАКОВ

ТАМ,
ЗА НЕБОСКЛОНОМ...



«Современник»
Москва · 1974 г.

Р2
Ш96

Шуртаков Семен Иванович.

Ш96 Там, за небосклоном... Рассказы, повести. М., «Современник», 1974.

336 с.

Рассказы и повести сборника посвящены нашим современникам. Повесть «Возвратная любовь» проникнута раздумьями о нашем отношении к духовному наследию прошлого. Светлый поэтичный мир детства встает перед читателями со страниц повести «Где ночует солнышко». Герои рассказов — люди колхозной деревни.

Ш $\frac{70302-095}{М106(03)-74}$ 77—74 Р2

РАССКАЗЫ

ОДНО НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ

•

Тундра...

Поначалу глядеть на нее даже интересно. Течет, течет под крылом самолета бескрайняя пустыня неопределенного бурого цвета с серо-голубыми глазами больших и малых озер. Течет час, течет два и начинает завораживать своей мощью, своей неохватной беспредельностью, ощущением полного, абсолютного, ничем не ограниченного простора.

Но проходит еще какое-то время, проплывает под крылом еще сотня-другая километров, а поглядишь вниз — и справа, и слева, и спереди, и сзади все та же однообразная, однотонная картина,— и тебя постепенно начинает охватывать безотчетное, тебе самому непонятное, чувство тоскливой безысходности. Зачем она, эта безжизненная пустыня, какой в ней смысл?!

Под вечер мы прилетели в Тикси — небольшой поселок на самом берегу Ледовитого океана. И, глядя на дома поселка, на синюю воду за ними и белеющие на горизонте льды, глаз словно бы отдыхал после темного сумеречного однообразия тундры.

Поселок на берегу моря... В чьем-то представлении это горячее солнце, золотой песок, морская голубень, запах рыбы и просыхающих водорослей... Ничего этого в Тикси нет. То есть вообще-то есть и море, и солнце — вон оно висит над горизонтом. Но в море здесь даже вот сейчас, в июле, плавают льдины, солнце хоть и светит, но не очень-то греет. Что уж говорить про золотой песок. И за спиной у Тикси на сотни километров ни селений, ни городов. Поселок стоит как бы на грани двух пустынь: позади него простирается черная пустыня — тундра, впереди, до самого полюса — белая, ледовая пустыня. И когда я шел поселком, меня опять охватило то щемящее

чувство отторгнутости от большого человеческого мира, которое я испытал в самолете.

А может, потому мне лезли в голову такие удручающие мысли, что очень устал я за дорогу. Больше суток шел пароходом по Лене, в Якутске пересел на самолет да им, поди-ка, часа четыре, если не все пять летел. Так что, когда в гостинице ярко раскрашенная дама указала мне койку, я уже едва стоял на ногах и, что называется, был рад до места. Невидимая волна сразу же подхватила меня и, мягко покачивая, понесла-понесла куда-то.

Однако потому ли, что соседи тихонько переговаривались меж собой, то ли солнце мешало, заснуть я не мог. Всего скорей, дело было в солнце — оно лезло прямо в окно, у которого стояла моя кровать.

Да когда же кончится этот день, черт возьми!

Я взглянул на часы. Они показывали полпервого. Я приложил их к уху. Часы шли. И значит... и значит, день давно кончился, и уже новый начался. И нечего ждать, что солнце закатится. Его здесь не бывает по полгода, но зато уж как появится — светит и днем, и ночью...

Я поворочался, поворочался на скрипучей койке, даже употел от досады, и в конце концов встал.

Один из соседей по комнате, молодой, бородатый, полулежа поверх одеяла, читал «Огонек», другой — пожилой, лысый, в золотом пенсне, придававшем его лицу этакую строгую ученость,— пришивал к плащу оторвавшуюся вешалку.

— Не получается? — незлобиво усмехнулся тот, что пришивал. Ученость, когда он улыбнулся, сразу сошла с его лица, оно стало добрым, домашним.— Мы тоже вот уже третий день маемся, никак к этому сплошному дню не привыкнем. Беда...

Я оделся и вышел на волю.

В глубине бухты глухо шумел порт. Огромные краны плавно водили своими жирафьими шеями, перетаскивая из стоявших у стенки судов ящики, тюки, машины. Чадно дымили буксирные катера.

Жизнь в поселке шла своим чередом. У водяной колонки две женщины увлеченно судачили, забыв про налитые ведра. На противоположной стороне улицы высокий мужчина в распахнутой штормовке делал пристройку к сенцам из мелких ящичных досок. На площадке перед

клубом несколько сорванцов азартно гоняли мяч, а чуть поодаль рыжий вихрастый мальчишка учил кататься на велосипеде то ли свою сестренку, то ли сверстницу — такую же рыжеволосую девчушку. Занятия для глухой полночи, что и говорить, не совсем обычные, но, похоже, здесь никто и не делит этот сплошной день на утро, вечер или ночь. Идет навигация, порт работает круглые сутки, и поселок, живущий портом и ради порта, тоже все время бодрствует.

Проходя мимо раскрасневшихся, распаренных игрой ребятишек, вслушиваясь в их жаркий галдеж — какая же игра обходится без шума и крика! — я невольно улыбнулся своим недавним мыслям: этим ребятишкам небось некогда и подумать-то о какой-то там отторгнутости, отрешенности...

Я вышел на южный край поселка.

Еще проходя улицей, я заметил на задворках домов, у сарайчиков горы стеклянной посуды: банки из-под самых разных яств, бутылки самых разных калибров и фасонов. По наклейкам на бутылках можно было составить довольно полное представление о вкусах и пристрастиях тиксинских жителей: в одних горках преобладали компоты и сухие вина, в других — напитки покрепче, вроде водки или рома и соответственно им — рыбные и мясные консервы. Теперь большую груду такого же добра я увидел недалеко от дороги на околице.

Что это, своеобразная страсть к коллекционированию, местное хобби? Вряд ли. Просто посуду здесь сдавать некуда...

С этой стороны поселка, то придвигаясь к берегу, то отступая в глубь материка, неровной грядой тянулись каменистые безлесные сопки.

Вьющиеся по распадкам дороги и тропинки ручейками вливались в широкую горловину улицы. По этим дорогам из сопок, из тундры шли редкие парочки. Еще в самолете мне рассказывали, что в погожие солнечные дни тиксинцы любят ходить в тундру на ближние озера загорать, что солнце здесь припекает в общем-то довольно сильно. Не с озер ли и возвращались сейчас эти парочки?

В руках у девушек я заметил букетики цветов — желтых, белых, фиолетовых. И хоть очень скромно, если не сказать бедно, выглядели эти букетики — все-таки это были цветы, и видеть их было радостно.

Я свернул с дороги и бесцельно, куда глаза глядят, побрел подножием ближней к поселку сопке. Отсюда, с взгорья, он виден был весь, до последнего дома. И порт с дымящими у причалов судами, и просторная бухта, и льды — сначала редкие, потом гуще, а на горизонте уж и совсем сплошные, и среди них продирающийся черный ледокол с большими судами в кильватере — вся эта пестрая картина виделась в один охват.

Сопка была сплошь из стланика, лишь тонкий слой земли, поросшей короткой травкой, кое-где прикрывал ее каменную наготу. Из-под камней, из-под травы сочилась вода — оттаивала вечная мерзлота. Кое-где среди травы горели тихим огнем цветы — те самые, какие я видел в девичьих букетах.

Еще с прошлого лета мы с дочкой начали собирать гербарий. И, конечно, она наказывала мне привезти с Севера хоть несколько растений. Но для гербария мало просто сорвать цветок, нужно еще, чтобы при нем был и корень. А у меня, как на грех, ничего, даже ножа при себе не было. Я отыскал совсем плоский, наподобие лопатки, камень и начал им подкапывать приглянувшийся мне одуванчик.

Мы привыкли, что корни у растений идут вглубь. Здесь корни, едва зацепившись за землю, ветвились горизонтально, недалеко от ее поверхности. Оно и понятно: в глубине им, попросту говоря, делать нечего — там они могли натолкнуться или на камни, или на вечный лед.

Я обнажил двадцать, тридцать сантиметров. Полметра! А конца корню все еще не было видно. Еще полметра. У меня уже начали покалывать от озноба заледеневшие пальцы; лопатка — лопаткой, но около самого корня, чтобы его не повредить, отрывать землю приходилось руками.

Так я и не добрался до конца корня, где-то на втором метре оборвал его.

Такие же неглубокие, но очень длинные и разветвленные корни были и у других здешних цветов — желтых лютиков, голубых колокольчиков...

А потом я наткнулся на деревья. Даже так бы надо сказать: нечаянно наткнулся.

На нашу березу или рябину, если они стоят в лугах, наткнуться нельзя — дерево далеко видно. Здесь деревья — карликовые. И похожи они скорее на кустарник.

Да и кустарник этот растет не прямо, не вверх, а опять же по земле стелется. Нельзя ему прямо расти — не выстоит он под здешними ветрами и морозами, потому что, как и цветам, глубоко корни пустить ему некуда. Вот здешняя березка и жмется к земле, вот потому ее даже в здешней, совсем невысокой траве и то не очень-то видно.

Пройди по лугам России весенней ли, летней ли порой — пчелы гудят, бабочки порхают, птичий звон и щебет несутся со всех сторон. А здесь — непривычная, неживая тишина. Разве что услышишь, как с камня на камень падают звонкие капли. Ну, еще редких бабочек тоже можно увидеть — не крупные и не очень яркие, под стать здешним цветам, они нет-нет да и мелькнут в траве. И больше — ничего. Хотя бы какая-нибудь пичуга тенькнула, хотя бы самая обыкновенная стрекоза прозвенела!..

И только так подумалось — тихий посвист откуда-то слева послышался. Я обернулся, пригляделся и увидел в траве на маленьком камушке серенькую, похожую на жаворонка, птичку. Но это был не жаворонок; его не часто увидишь на земле, он любит петь в небе. Да и как он поет, как заливается! А эта птичка лишь тихонько и грустно так посвистывала, словно звала кого-то и не могла дозваться. Но нет — дозвалась. От березового кустика, что стоял у малюсенького озерца, откликнулась еще одна. Откликнулась таким же негромким печальным посвистом.

Откуда здесь эти пичуги? Зачем они здесь?

Если каждую весну в Россию прилетает из полуденных краев множество всяких пернатых — так это понятно: по красоте, по богатству растительной жизни наши места, особенно средняя полоса России, не уступит любой заморской стране. И как не стремиться в наши весенние цветущие луга и поля, в наши березовые рощи, на наши реки и озера!

Но зачем надо лететь сюда, где ничего этого нет, где земля всегда хранит ледяной холод, и даже вот сейчас, в июле, в самый разгар лета, от нее веет знобкой стужей, и трава тут как щетка, так что в ней даже гнезда не спрятать?!

И ведь не оттуда, не из белого ледяного безмолвия, летела эта пичужка, и устала в пути, а как увидела первый же клочок земли — обрадовалась ему и начала вить

гнездо. Нет. Она летела из теплых краев, и летела над прекрасной землей, над полями и лугами, над лесами и речками. Она летела сотни, тысячи километров, и на любой клочок той земли, которую она пролетала, можно было опуститься и сделать его своим домом. И любой, первый же попавшийся, клочок той земли был бы в сто раз богаче и прекрасней вот этой унылой безотрадной тундры. Может, ей сверху не видно было, как многоцветна и полнозвучна земля, над которой она пролетала? Но ведь она летела очень долго, не один день, она по вечерам опускалась на землю, чтобы отдохнуть, и она видела ее на вечерней заре и на утренней заре, она не могла не заметить ее красоту. И все-таки она стремилась все дальше и дальше на север — в это гиблое, забытое богом место... Но, видно, нет на всей земле для ее птичьего сердца места более дорогого и более прекрасного.

Как это понять? Как это объяснить?

Обойдя подножием сопки поселок и спустившись к морю у дальнего края бухты, я сел на прибрежный камень и долго сидел, глядя на холодно блестевшую под низким солнцем воду, на покачивающиеся на ней сахарно-белые льдины, на пробивающийся сквозь сплошняк ледокол.

Ветер, должно быть, переменился: отжатый из бухты лед теперь снова начал наплывать к берегу.

Неожиданно я увидел маленькую лодку. Она шла от поселка, с той стороны бухты, ловко лавируя между льдинами.

Когда лодка подошла поближе, я узнал сидевших в ней и орудовавших веслами ребятишек — это были уже знакомые мне велосипедисты. Паренек был все в той же полосатой ковбойке с закатанными рукавами, а на девочке, поверх кофтенки, теперь желтел джемпер.

Лодка шла прямо на меня.

— Вы что, ребята?

— А мы — за тобой,— ответил парень.— Тут кругом сыро, думали, никак не выберешься.

Я рассмеялся:

— Что вы, ребята, я же в сапогах.

Говоря по правде, сапоги мои уже давно промокли. Но в них ли было дело! Я и сказал про сапоги и рассмеялся, чтобы как-то скрыть свое волнение: надо же было этим милым ребятишкам заметить меня с того

края бухты. И мамы не побоялись — ведь узнай она про этот ледовый поход, без выволочки дело не обойдется...

Я сел на весла. Парнишка, конечно, не давал, мужское самолюбие не позволяло, и уступил только после того, как я сказал, что озяб и хочу погреться. Но когда я недостаточно ловко обходил льдины, он на меня строго покрикивал, как бы давая понять, что все-таки он здесь старший, он — капитан судна. Девочка смирно сидела и только время от времени предупреждала меня: «Дядя, опять льдинка...»

А я глядел на этих юных тиксинцев, и перед глазами у меня все еще стояли карликовые березки, цветы с двухметровыми корнями, серенькая птичка среди этих цветов...

Как сложится судьба этих милых ребятишек? Вряд ли они всю жизнь проживут здесь, в Тикси. Вырастут и улетят на Большую землю, выучатся и, может быть, будут жить и работать где-нибудь на Волге, на Украине, на благословенном юге. И пройдет много-много лет. И уже забываться станет и эта бухта, и северное сияние над ней. Но вдруг, ни с того ни с сего, затоскует сердце, четко встанут перед глазами вот эти льды, вот это мохнатое полуночное солнце над океаном, и так потянет сюда, так захочется побывать здесь! И льды, хоть на час, хоть на миг, покажутся роднее, дороже вишневого сада и ласкового солнышка...

Потому что человек всегда помнит — уж если маленькая пичуга помнит! — свою родину, место, где он родился и вырос. И совсем не важно, богато или бедно то место,— он здесь родился! Родину, как и мать, мы не выбираем, у каждого из нас она бывает одна.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

•

1

Он лежал напротив меня на верхней полке и, уткнув подбородок в ладони, внимательно, безотрывно глядел в окно. Впрочем, это только казалось, что Федор смотрит в окно, что ему необыкновенно интересны поля и села, мимо которых мы проезжали. Взгляд его был невидящим: глаза открыты, а смотрит человек куда-то в себя, то ли во вчерашний, то ли в завтрашний свой день. Иногда только он как бы стряхивал с себя забытье, глаза под густыми, низко навешенными бровями оживали, но и тогда смотрели они куда-то поверх полей, поверх лесов, за ту волнистую линию горизонта, которая все приближалась и никак не могла приблизиться.

В дороге знакомишься быстро. Но вот уже и час и два я еду с Федором, а узнал о нем еще очень немного: был в Сибири, теперь возвращается в родные края. И все.

Тем неожиданнее для меня было, когда мой спутник, продолжая все так же глядеть в вагонное окно, вдруг спросил:

— Ты веришь в судьбу?

Я пожал плечами.

— От судьбы, мол, не уйдешь, и все такое,— как бы в пояснение сказанного, добавил Федор и то ли усмехнулся, то ли просто вздохнул.— Смешно, конечно... А все же...

Он помолчал, а потом уж, другим, более ровным голосом, продолжил:

— Сколько лет я прожил в родном селе, куда сейчас еду! С девчонками хороводился, песни с ними под гармошку пел, провожал. И многие нравились, так нравились, что впору бы жениться. А не женился, однако... Завербовался, уехал в Сибирь. И опять: подумать толь-

ко, сколь народищу за это время повидал! В Сибири сейчас людно — с кем только не повстречаешься, даже с земляками из соседних сел приходилось сталкиваться. Глянулась Сибирь — просторный край... А вот и оттуда один еду, ни с какой сибирской красавицей моя стежка не перехлестнулась. Еду и всю дорогу про ту думаю, которую и знал-то каких-нибудь два дня... Ну, еще три письма написал... Эх, жаль, не слышно, а ведь сейчас небось там,— Федор кивнул за окно в пролетающие мимо нас весенние поля,— жаворонки поют...

Черные, набухшие снеговой влагой, а теперь просыхающие поля исходили паром, дальний лес дрожал в туманном мареве, словно плыл куда-то. В лужах, в дорожных колеях сверкало обильное, горячее солнце, летевшее через поля и леса вместе с нашим поездом.

Федор приподнялся, сунул руку в грудной карман пиджака и вытащил оттуда небольшую фотографию. На фотографии молодая женщина в платье с цветочками, с пушистыми волосами, собранными в большой пучок. Рядом с ней — такая же пушистоволосая девочка лет четырех-пяти.

— Дочка,— пояснил Федор.

Кто-то, должно быть, по ошибке открыл дверь, и солнце на мгновение ворвалось в купе, сверкнуло по стенам, потолку и, снова отгороженное дверью, погасло.

— А ведь мне скоро слазить,— сказал Федор.— Вон солнце уже на закат пошло, значит, скоро...

И вот станция, где Федору выходить.

Поезд сбавляет ход. Мы выходим в тамбур. Федор весь напрягся, натянулся, рука со спичкой, от которой он прикуривает, мелко дрожит.

— Чудак ты, Федор,— говорю я ему.— Дрожишь весь, словно тебе семнадцать и ты на первое свидание идешь.

— Эх, паря! — глубоко вздыхает Федор.— Еще на какое свидание-то!

Поезд идет все медленнее, останавливается совсем. Маленькая станция, малолюдная, тихая.

Федор выпрыгивает на перрон и быстро озирается по сторонам. Он торопится увидеть ее, пока перрон еще пуст, пока его не заполнили, не забили выходящие из вагонов люди в пижамах и халатах. На перроне стоит

полная дама с грудой чемоданов, мужичок в шапке, старушка, два парня с рюкзаками... Где же она?

Это Федор взглядом спрашивает у меня, и столько тревоги и недоумения в его глазах, что я отвожу свои в сторону. И тогда-то я вижу ее, эту женщину, которую мы ищем. Она идет с девочкой откуда-то со стороны, идет, все ускоряя шаг, прямо на нас. Она не видит, не замечает попадающихся на ее пути пассажиров, она видит только Федора. Одного Федора. И, словно почувствовав ее взгляд, тот резко оборачивается.

Женщина уже совсем близко. Но чем ближе она к Федору, тем тише, труднее становится ее шаг. Еще тише, еще...

— Здравствуй, Федя,— тихо, стараясь скрыть свое волнение, говорит женщина.

— Здравствуй, Вера,— Федор переводит глаза на девочку, нагибается к ней: — Здравствуй, Танюша.

Девочка смущается, робеет и закрывает ладонью лицо.

Что же говорить дальше? Они не знают и молчат.

— Я тебя сразу узнала.

— Я тебя тоже.

Вера и похожа и не похожа на женщину, которую я видел на фотографии. То же платье цветочками, те же густые пушистые волосы, собранные на затылке в тяжелый узел, маленький нос на широком лице, мягкие полные губы. И все-таки что-то новое, незнакомое проглядывает в этом лице. Может, вот это ровное сияние глубоких ясных глаз, которое, конечно же, нельзя передать с помощью хоть какого аппарата?!

Поезд трогается, и я долго еще гляжу, как они все трое идут мимо станционных построек и выходят на полевую дорогу. Закатное солнце неохотно гаснет за дальним перелеском, и в его последних лучах четко видны три силуэта, уходящих все дальше и дальше.

Я не сразу понял, отчего вдруг так защемило сердце, будто ему сразу стало тесно и неприютно в груди. Хорошо, когда тебя кто-то ждет! Меня нигде и никто не ждал. Меня ждали лишь мои дела: в дальнем районе какая-то незнакомая мне женщина (а может, и знакомая — дальний район был моей родиной) выращивала прекрасную коноплю — об этом надлежало написать в нашу областную газету очерк...

2

Это, наверное, часто так бывает: пока человек рядом, ты как-то не торопишься узнать о нем то или это. А разошелся, разъехался с ним в разные стороны — и сразу почувствовал вдруг обострившийся интерес к его жизни, понял, что самое-то важное в нем ты, в общем, так и не узнал.

Что за человек Федор? И кто эта встретившая его женщина с девочкой? Почему он уехал от них, а теперь вот снова вернулся? Никто уже не мог ответить на эти вопросы, и потому, может быть, они так настойчиво, снова и снова лезли в голову. Хотелось знать, как сложится дальнейшая судьба этого хмуроватого, замкнутого человека.

Месяца через два, если не больше, уже на переломе лета, опять случилось мне быть почти в тех же местах, где сошел Федор с поезда.

Колеся проселками, я как-то к вечеру попал в один колхоз.

И вот, сидя в правлении этого колхоза и слушая, как председатель разговаривал по телефону с каким-то Федором, а повесив трубку, еще и ругнул его «чертом косоруким» за то, что тот требовал чего-то такого, что заставило председателя и раз и два поскрести лысину,— я вспомнил о дорожном знакомстве и спросил, а что это за человек Федор.

— Что за человек? — председатель опять почесал затылок, потом взял со стола резное деревянное пресс-папье, покрутил его в руках, подумал.— Столяр он. И как работник — дай бог. Это так я его косоруким, между прочим,— руки у него золотые... А как человек...— еще подумал, подыскивая нужное слово,— человек, как бы сказать, с чудинкой. Непохожий какой-то. Строгает, строгает, а потом вдруг, ни с того ни с сего, возьмет стружину посмолистее и начнет ее на свет разглядывать, нос в нее воткнет, нюхает и думает о чем-то...

«Не мой ли знакомый?» — подумал я. А председатель между тем продолжал:

— В больничку нашу, где его жена работает...— тут он на секунду запнулся,— да, теперь, считай, уже жена, недавно расписались. Так вот в больничку для ребятишек, которым там тоже бывать случается, всяких стуль-

чиков, полочек, игрушек понаделал. Да все так здорово. Я говорю, выписывай счет, оплатим, не такой уж бедный колхоз. А он рассмеялся, будто я неумное что сказал. «Чудак, говорит, ты, Бородин...» И все. Значит, не он, а я — чудак...

«Нет, пожалуй, это не тот Федор, какого я знаю...»

— А как-то раз,— председатель, должно быть вспомнив что-то, добродушно усмехнулся,— за дворами дело было — он там рамы у коровника чинил — гляжу, стоит и куда-то в поле смотрит. Да так-то пристально, ну будто дело делает. Подхожу, стал рядом, гляжу — за полями, над лесом радуга горит. Неужто на нее воззрился мужик? На нее! А меня заметил и пригласил: гляди-ка, мол, какая красота, будто и он, и я эту красоту в первый раз увидели...

Председателя вызвали по какому-то срочному делу, и он заторопился.

— В другой раз доскажу. А то так — если интересно — сам сгуляй в соседнее село, в Чистую Поляну — он там живет, Федор-то. После объединения это вторая бригада колхоза. Как войдешь — не то седьмой, не то восьмой дом на левой руке. Да там спросишь...

Я, конечно, «сгулял» до Чистой Поляны. Было туда каких-нибудь два километра, и через полчаса я уже входил в раскинувшееся по берегу реки небольшое зеленое село. Школу на околице окружали высокие тополя; еще какое-то большое белое здание, должно быть больница, тоже все было в зелени; позади домов тянулись густые сады.

Вот и седьмой дом на левой руке.

Я открыл калитку, спросил у сидевшей в глубине двора на крыльце старухи, здесь ли живет столяр Федор. Старуха внимательно посмотрела на меня из-под кустистых сердитых бровей:

— А тебе по какому делу он надобен?

По бровям этим, по другим чертам хмуроватого лица в старухе угадывалась мать Федора, и я, осмелев, подошел поближе. Только как объяснить ей, зачем и почему пришел? Я сказал, что нужен мне ее сын не по делу, а просто так: нам с ним как-то приходилось встречаться.

— А откуда тебе известно, что я — мать?— все так же строго спросила старая женщина.— Мы-то с тобой

первый раз видимся... Да ты присядь. Он, должно, скоро заявится, разве что в больницу за Верой зашел.

Я не очень связно начал объяснять, как и чем Федор похож на мать, про строгость, про хмурость что-то сказал.

— Строгай, говоришь? Сердитай?— старуха тихонько усмехнулась.— Да ты, видно, парень, или совсем не знаешь Федора, или с кем-то путаешь. Строгай!— еще раз повторила она, нажимая на «а».— Если бы строг! Это только с виду. Стеснительный до края, дите малое, для всех доброе. А строгостью это он только закрывается.

Я уже начал сомневаться: и в самом деле, не померещилось ли мне сходство, тот ли Федор, которого я знаю, живет в этом доме?

— Если хочешь знать, строгости-то ему и не хватает,— женщина тяжело вздохнула.— И это ладно баба такая попалась, что доброту его в свою пользу не оборачивает... Ничего не скажу: согласно живут. Правда, чудно как-то, непонятно. Другой раз усядутся вечером здесь, на крыльце, и сидят молчком, ровно не женатые, на реку да друг на дружку глядят. А то в лес как-то пошли, цельный день прошалались, а — ни грибов, ни ягод, так, самую малость. И хоть бы лето не грибное...

Старуха не договорила.

На улице, за двором, послышался смех, детский крик. И вот замелькала за частоколом голубая рубашка, а за ней — чуть пониже — беленькое платьице. Калитка рывком открылась, в нее вбежал Федор — я его узнал сразу же — и, не замечая нас, круто свернул к саду, затаился за кустом сирени. Следом же вбежала Танюшка, тоже юркнула за куст, налетела на Федора и повалила его на траву.

— А-а, попался!— Танюшка торжествующе уселась верхом на Федора.— Смерти или живота?

— Ой, живота!— тяжело дыша, то ли от бега, то ли от смеха, взмолился Федор.— Ой, больше не буду...

Первой меня заметила теперь только вошедшая во двор Вера.

— Хватит вам дурачиться-то! — строго-ласково сказала она.— К нам вон гости...

Танюшка перестала тузить Федора, тот приподнялся с травы, поглядел из-за ее плеча на крыльцо, вскочил и быстро пошел — что там пошел!— побежал ко мне. И такой-то радостью весь засветился — ну, родного брата

встретил, с которым десять лет не виделся. Перед самым крыльцом — похоже, застеснялся своей радости — пошел потише.

— Ну, это здорово, что ты приехал!— Федор с размаху хлопнул рукой по моей, крепко стиснул.— Молодец! Ай, какой молодец!.. Это, мама, мой...— Федор чуть не сказал: друг,— мой знакомый товарищ. Ты, Вера, и ты, Танюха, небось помните...

Танюшка спряталась за Федора, а Вера сказала:

— Ну как же, конечно... Да хватит тебе тормошить-то его. Приглашай в дом. Человек с дороги.

— И верно. Пошли.

В доме — чисто, уютно и, если так можно сказать, весело. Веселой хитроумной резьбой украшены книжная полка, комод, на спинках стульев — цветут подсолнухи. Вот Колобок катится от волка к медведю, вот на возу дров едет Иванушка «по щучьему веленью, по своему хотенью». А вот двое маленьких глядят на большую радугу над лесом... На полке рядом с Пушкиным и Некрасовым — книги о травах и птицах.

Вера занялась ужином, а мы с Федором умылись и на том же крылечке сели курить. Танюшка не отходила от нас ни на шаг. Поначалу она дичилась меня, пряталась за Федора, выглядывая то из-за плеча, то из-под руки.

— Да не бойсь, не съест он тебя,— смеялся Федор, зажимая под мышкой Танюшкину голову.— Ну разве что нос или ухо откусит — так новые вырастут...

— Да-а,— с недоверием тянула Танюшка,— вы-ырастут!..

Но вот она по какому-то своему делу убежала в сад, и я, улучив момент, спросил Федора про Веру. В сущности, знал я про нее еще очень мало. Почти ничего.

— Когда в Сибирь завербовался, в первый-то раз ее увидел,— Федор сказал это тихо, раздумчиво, словно хотел опять в своих мыслях увидеть Веру в самый первый раз.— Спускаюсь с райисполкомовского крыльца — навстречу женщина. «Вы, говорят, из Чистой Поляны. Нельзя ли с вами доехать?» — «Пожалуйста, говорю, места не жалко». У оградки девочка на чемоданах, дочка. Поехали. Тары-бары. Медицинская сестра. Была замужем, разошлась. Едет работать в нашу больничку. Привез ее в село, а председатель: «Куда-то надо определять гражданку на жительство. Может, к себе возьмешь — все

равно уезжаешь, изба пустая».— «Не знаю, говорю, покажется ли ей с матерью — старуха с характером, а так почему же не взять». Словом, поселилась у нас, а на другой день я уехал. Уехал, и хоть бы что. Ни синь пороха. Потом уж только там, в Сибири, нет-нет да и начало думаться-вспоминаться... Еще когда сюда ехали, где-то уже перед Чистой Поляной оглянулся на свою медсестру, а у нее на глазах — слезы. Затревожился: уж не обидел ли, думаю, каким словом? Или горькое что вспомнила? А она улыбнулась тихонечко так: от радости, говорит, это я — землей пахнет, жаворонки поют. Уж сколько лет не видела, не слышала, забывать стала... Так вот интересно: не что другое, а именно это вот «землей пахнет, жаворонки поют» там, в Сибири, мне чаще всего на ум приходило. Будто нет-нет да кто и шепнет на ушко: жаворонки поют... И сразу же и жаворонков тех услышу, и ее увижу: улыбается, а в глазах слезы дрожат. И так-то все ясно, так резко все увижу, что у самого что-то там внутри дрогнет...

Сначала запел тихонько, а потом густо зашумел, забулькотил самовар.

— Стоп! А знаешь что,— вдруг осенило Федора.— Вот что. Не будем ужина дожидаться! Попьем чайку — самовар вон уже готов,— так вот побалуемся чайком, и все. А ужинать... ты давно рыбацкой ухи не отведывал? По глазам вижу, что давно. Так вот зальемся-ка мы с тобой на рыбалку с ночевой — нынче суббота — и такую уху сочиним, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Идея его мне понравилась, и мы, не теряя времени, сели за самовар.

Танюшка и за столом вилась около Федора: лезла на руки, просила подуть на «кусучий чай», кокалась «носик в носик» яйцом — чье крепче.

— Танька, да оставь ты его хоть на минуту в покое!— вроде бы строго выговаривала дочке Вера.— Дай поесть по-человечески.

— А она мне не мешает,— весело отвечал Федор, и Танюшка жалась к нему еще плотней.

Среди незнакомых людей я обычно чувствую себя стесненно. А в этом доме мне было хорошо, свободно. Радостно было глядеть на эту согласную семью. Всему в доме был задан какой-то очень сердечный, очень чистый и ясный тон.

Лишь одно оставалось для меня загадкой: как и чем полюбилась Федору Вера? Смотрел я на нее, и смотрел самыми хорошими глазами, а про себя думал: прошел бы мимо и не заметил. И не в том дело, что не красавица Вера, что и нос у нее мелковат и вообще лицо не очень-то приметное. Бывает и у некрасивых людей — то ли в выражении лица, то ли в стати, может быть, даже просто в походке — какая-то своя особинка или, как еще говорят, изюминка. Такой изюминки у Веры я не находил. Где и в чем она?

Хозяйкой за столом была Вера. Похоже, такая роль невестки чем-то и нравилась матери Федора, а чем-то и нет. По всему видно, старуха считала, что потчевать гостя, то есть меня, надо бы поусерднее, а не просто: «Вам еще стаканчик?» И Танюшку Вера одергивала, скорее всего потому, что знала: мать боится, как бы ее сын из-за девочки не остался голодным. И, конечно, не по сердцу было старухе, что сын за столом если не гость, то и не хозяин, как бы хотелось.

На это самое сетовала она, когда мы, после чая, сидели с ней на крыльце, пока Федор готовил снасти и вместе с Танюшкой копал червей.

— Ну, видал, какой он строгай да сердитай? То-то же... Вера — баба хорошая, ничего не скажу. Себя блюдет и девочку зря не попускает, не балует. Только уж Федор-то с ней лишку мягок. Воск и воск. Как не мужчина вовсе...

— Барабанщик — от барабана. А громко — от грома? — это спрашивает в углу двора Танюшка у Федора. — Червяки живут в земле, а что они едят?

Огромное солнце тонуло в заречных далях. На лугу, на садах лежал тихий малиновый отсвет, и все вокруг — и далекие, замирающие поля, и недвижная, будто остекленевшая река, и наш двор с глухим, медленно погружающимся в сумерки садом и невнятным детским лепетом, — все дышало таким безмятежным покоем, такая тихая, не кричащая, не броская и от того еще более впечатляющая красота обнимала со всех сторон, что хотелось думать только о чем-то большом, отрешенном от этой вот пролетевшей и уже безвозвратно канувшей в вечность минуты. Все мелкое, повседневное теряло свое значение и свой смысл. Думалось, что кроме твоей собственной жизни, с ее радостями и горестями, есть другая большая,

всеобъемлющая жизнь, и та жизнь — вечна, та жизнь была, есть и будет. Она была, когда ты на свет еще не появлялся, она не изменит своего вечного хода и когда тебя уже не будет на земле. От этих мыслей было немножко грустно, но в них было и что-то утешающее, примиряющее тебя с мудрым порядком постоянно обновляющейся и потому вечно молодой жизни.

Подошел Федор с банкой червей, вымыл в кадке руки:

— Готово!

Мы облачились в ватники, взяли снасти, ведерко с картошкой для ухи и пошли.

— По дороге не забыть луку с укропчиком сорвать,— сам себе наказал Федор.

3

Огородами мы спустились к реке и пошли ее берегом. Легкий туманец стлался над водой, то исчезая, то откуда-то, должно быть с лугов, наплывая вновь. В заводях плескала рыба, и после каждого всплеска долго и далеко бежали по речной глади круги.

Одну такую укромную, наглухо укрытую прибрежным ивняком заводь мы и облюбовали.

Федор был искусный рыбак. Я еще только-только успел разобрать лесу и закинуть удочку, а он уже тащил большого краснoперого окуня. Следом за первым повис над водой, отчаянно забил хвостом, затрепыхался второй.

Часа не прошло, а у нас уже потрескивал костер, и над ним висело распространяющее вокруг ароматное благоухание ведерко.

Вечерняя заря потухла. Небо в том месте, где село солнце, стало совсем темным. Только высоко-высоко, почти в зените, еще горели отблески невидимого, светившего где-то там за краем земли солнца, и река тоже слабо, сумеречно теплилась этим повторно отраженным с неба светом.

— Хорошо!— откидываясь на траву, проговорил Федор.— Люблю ночью поле!

В траве вокруг нас происходило еле внятное шевеление, позванивали кузнечики, в реке время от времени глухо плескала рыба, но тишина ночи, растворяя в себе эти звуки, становилась все полнее, весомее, ощутимее. Тишина слушалась, как музыка.

— Помню, как-то в Сибири, в Саянах, вот так же у реки пришлось ночевать. И что-то я возился долго, никак не мог угнездиться. А старик-хакас мне: «Не мешай!» — «Что не мешай?» — не понял я. «Не мешай слушать». Уж не зверя ли какого, думаю, зачуял старик. «Не мешай ночь слушать...» Вроде бы смешно. А подумаешь — мудро...

Бывает, что чем больше узнаешь человека, тем меньше он становится интересен тебе. С Федором же мне было интересно и разговаривать, и даже просто вот так лежать в траве и слушать ночь. Правда, я по-прежнему еще немного знал о нем. Вот про ту же Сибирь. Как он туда попал?

— Как попал?— Федор задумался.

Мы уже поели ухи и теперь курили. Потрескивал при затяжках самосад в цигарках, потрескивал костер.

— Видишь ли, любопытный я до всего, много мне знать хочется. И вот жил, жил в селе, а все думка была: а как оно там, за селом, да за полем, да за лесом, да еще подальше, за Уральским хребтом? Интересно взглянуть на землю. Ну, это одно. Второе то, что каждый человек счастья в жизни хочет найти. В своем селе я вроде бы все закоулки обшарил, а жар-птицу так и не повстречал.

Федор помолчал немного.

— И вот поехал я в Сибирь. Определился на одну стройку, с нее переехал на другую. И будто за чем гонюсь. Думалось-то, за счастьем своим, за жар-птицей. А только догнать никак не могу. На Ангаре остановился. Дай, думаю, немного на одном месте побуду, на самого себя оглянусь... Работу выбираю потяжелей, поопасней, не в какой-нибудь столярной мастерской, а опалубщиком, на морозе да на ветру. Вот и пальцы тогда поморозил,— Федор пошевелил искривленными пальцами левой руки.— Ну да не об этом речь... Думаю я, думаю о себе, о своей жизни и начинаю понимать, что хоть и мерещится нам жар-птица обязательно в дальной дали, за горами да за лесами, а только это так и не так. Чем больше я ездил, чем больше всякой красоты видел — тем чаще и чаще приходили мне на память родные, вот эти наши, в общем-то не такие уж и — ах!— красивые, места. И вот эти поля, и вот эта речка. А ведь я видел Енисей, Ангару — что еще может быть красивей! И вот еще какая штука. Не побывай я в Сибири — ни той бы красоты не знал, ни этой,

выходит, как следует не оценил. И как бы у нас с Верой вышло — тоже неизвестно...

Костер начал гаснуть. Я подбросил сучьев, они зашипели, обволоклись дымом, а потом разом вспыхнули. Заплясало, заструилось, затрепетало веселое, живое, все время разное, то растущее, то падающее и снова взвивающееся пламя.

Федор глядел на костер, и по его лицу блуждала едва заметная, как бы затаенная улыбка. Я вспомнил, как он обрадовался, когда увидел меня, и подумал, что это, наверное, оттого, что в первый раз, в вагоне, мы виделись в смутное для него время. Теперь ему захотелось, чтобы и я понял его тогдашнего и увидел таким, каков он был сейчас. Потому он так и словоохотлив нынче.

— Говорят: суженая. Значит, вроде бы предназначенная судьбой. А что такое судьба? Помнишь, тебя спрашивал? Это я вот в каком смысле. Никакой судьбы нет, и все такое. Человек проникает в тайны бытия, и все прочее. Ладно. Хорошо. Согласен. И все ж таки, как это объяснить, что вон где я только не бывал, какие тыщи людей не видал, а почему-то к Вере вернулся. Что я, лучше, красивей ее женщин не видал? Видал. Так в чем тут дело? Ну, вот, ты грамотный, ученый — объясни!

Что я мог объяснить Федору?!

Мне вспомнилась курносая семнадцатилетняя девочка Надя. Девчонка как девчонка, как многие другие. Но однажды она вдруг стала для меня не «как другие», а особенной. Стала вдруг всех красивей и всех умней. Я пытался сейчас вспомнить, за что любил Надю, и не мог. И не потому, что с тех пор уже много лет миновало. Я просто не задумывался тогда над этим «за что». И нынче зря, пожалуй, отыскивал что-то такое в Вере, чем бы она, по моему разумению, могла понравиться Федору... Я вспомнил: за столом Вера как-то подняла на Федора глаза — и словно осветилось, засияло непонятным светом все ее лицо, и я забыл в ту минуту, велик или мал у нее нос, красив или не красив рот. Конечно, одного такого взгляда мало, чтобы полюбить человека. Это может быть разве лишь искоркой, от которой загорается костер. А может, той искоркою было «жаворонки поют», сказанное Верой так, что Федор и сам словно бы впервые в жизни услыхал тех жаворонков... Искорки могут быть разные.

Остальное же зависит, наверное, уже от самого любящего, оттого, насколько сильно его чувство, насколько богат он сердцем. Если богат — костер будет гореть и ярко и долго.

Надю — теперь уже Надежду — я видел два месяца назад. По случайному совпадению она именно и оказалась той женщиной, о которой мне надо было писать очерк. Надежда вышла замуж и уехала в соседнее село, у нее теперь другая фамилия. Живет хорошо, муж любит ее. Любит по-настоящему. А ведь она осталась все той же, какой я ее знавал когда-то, разве что постарше стала. Так почему же, почему же те искорки у меня погасли, а у другого человека разгорелись ясным огнем?!

— Нет, много еще тайн на свете,— после паузы снова заговорил Федор.— Возьми Танюшку — тоже ведь тайна. Она лепечет-лепечет что-то и не такое уж важное и интересное — да что там важное, обыкновенные пустяки, вздор,— а я слушаю и у меня сердце радуется. И я готов слушать этот вздор, всякие там «отчего» да «почему» хоть целый день с утра до вечера. А почему так — опять не объяснишь...

Все меньше звуков в ночи, все тише они. И поля молчат, и село уснуло, и все вокруг заглохло. Ночь как бы постепенно наливалась тишиной и вот уже налилась дополна, до самых краев.

— А на природу, на все, что вокруг нас, глаз кинь,— продолжал Федор,— сколько тут всяких тайн, сколько чудесного и удивительного! Вот только с годами мы перестаем замечать эти чудеса... Танюшка как-то схватила меня за руку, потащила в сад, в уголок: «Гляди-ка, какое чудо!» Я не сразу понял, о чем это она. «Да вот же»,— и показывает на цветок. И не какой-то там редкостный, необыкновенный, нет — скромный цветок, мимо которых мы, взрослые, проходим, что называется, чувств никаких не изведав: подумаешь, какая-то там наперстянка,— и не такое видывали! И считаем при этом, что дети — они еще маленькие, глупые, а мы — мы умные. Нам все известно; мы знаем, что вот это пестик, а это тычинка — и чему же тут, собственно, удивляться?! Вот мы с тобой закатом любовались. А скажи другому — так он тебя еще и на смех поднимет: что я, закат не видал?! А ведь сколько их ни смотри — они же все разные, и каждый раз ты, считай, видишь их в первый раз... И не в том дело, что обяза-

тельно ахнуть надо: ах, как красиво! Не глазами — сердцем надо удивляться...

Федор опять помолчал:

— Ты мне тогда, помнишь, про первое свидание сказал? Когда в тамбуре с тобой стояли. Так вот я уже не знаю, как тут выразиться, а только теперь ко мне словно бы опять детство вернулось. Опять я каждое утро словно бы на первое свидание со всем, что вокруг меня, выхожу. Все-то мне внове, и все-то мне приметно: и облачко в небе, и малая травинка на земле,— словно бы зрения у меня прибавилось. И жить от этого интересно!..

Костер наш потух совсем. Синий сумрак сомкнулся над землей и как бы отделил ее от неба. Теперь стало видно, как там, вверху, медленно делалось что-то, происходили какие-то неуловимые для глаза изменения. Слабый, едва различимый заревой свет, переместившийся под Большую Медведицу и погасший там, теперь снова возник, только восточнее, а весь остальной небосвод еще глубже потемнел, и звезды разгорались все ярче, будто росли, ширились, приближались к земле.

Все кругом лежало в полном безмолвии и неподвижности. Мы были одни в этом огромном подзвездном мире. И я подумал о том далеком пращуре, о том человеке, который первым пришел сюда, на эти тогда еще дикие, покрытые сплошным непроходимым и нехоженым лесом, берега реки, облюбовал и очистил поляну и засеял ее хлебными зернами. А в реке он ставил переметы или сплетенные вот из такого же лозняка вентери. И в том, что окружало того человека, было много удивительного и таинственного. Вот только что светило солнце, а вот уже и нет солнца, его закрыли тучи, а потом в темных тучах засверкали белые змеи и небо раскололось со страшным ужасающим грохотом, словно обвалилось на землю. Полились нескончаемые потоки воды. Но вот небо снова очистилось, и в нем, над далекой речной излучиной, встала чудесная цветная дуга. Откуда взяться в пустом небе такой необыкновенной дуге, кто воздвиг ее там? Кто гремит и сверкает в небе? Кто по ночам кричит страшным голосом в лесу?.. Пращур по-своему пытался объяснить себе все эти чудеса, но они для него так и оставались чудесами. Мы знаем, и почему гремит гром, и откуда возникает вдруг в небе радуга. Мы знаем все. И это, конечно, хорошо. Плохо, что, зная все это,— ты прав, Федор! — мы

перестаем дивиться тому чудесному и удивительному, чем полон мир.

Мы решили не ложиться: боялись проспать самый клев — утреннюю зорьку. Да теперь, наверное, и недолго было до нее.

Заметно посвежело. Легкий туман лег на реку, на обступивший ее ивняк.

Но вот еще ближе к востоку передвинулся далекий, исходящий из-за края земли, свет, туман слегка порозовел и вроде бы стал разрежаться. На наших глазах начало совершаться великое таинство. Из тумана, из ночи, из небытия постепенно, незаметно проступили кусты, обозначилась река, тот берег, и еще что-то неясное за ним. И все пока еще — слабо различимо, расплывчато, неопределенно, как бы готовое принять и такую и такую форму, готовое окраситься и в тот, и в другой цвет. Будто мир вокруг нас сотворялся заново, в самый первый раз. Сотворялся вот сейчас, на наших глазах, и нам предстояла первая от века встреча, первое свидание с ним.

КУЗЬМИНСКИЕ САДЫ

•

Моей матери

Я привык вставать рано и люблю перед уроками пройтись по школьному саду, подышать утренней росной свежестью.

Но нынче я сворачиваю со знакомой тропы в сторону и иду туда, где по отлогому взгорью, сбочь села, стоят недвижно, чуть не до земли уронив свои ветви, плакучие березы. Каждый раз в этот день я прихожу под те березы.

Могила успела затравенеть. И крест на ней уже ничем не отличается от соседних — потемнел, чуть-чуть покосился...

1

Немцев в нашем селе Кузьминском не было. Даже их самолеты сюда ни разу не долетали. И все-таки, когда поднялся на последнюю горку и увидел перед собой родное село — я его не узнал. Помнил его потонувшим в густых садах, таких густых, что за садами почти не видно было самого села, и дома издали походили на потемневшие от времени, самодельные игрушки, разбросанные — где рядами, где как попало — в темной зелени.

Сейчас передо мной, в знакомой с детства долине, лежало незнакомое, чужое село. Сады исчезли. Улицы, дома с дворами, погребами, банями — все было видно как на ладони. Село казалось раздетым донага; от некогда богатой нарядной одежды остались только жалкие лоскутья одиноких ветел да белоствольных берез. И они лишь подчеркивали летнюю нищету села.

Я отыскал глазами домик, в котором родился и провел все детство. Обнаженный сзади, он показался мне жалким, словно общипанным и каким-то сиротски-грустным. Грустно стало и у меня на душе.

Дома я не был пять лет. Еще до войны ушел служить, потом воевал. И за все эти пять лет не было дня, наверное, чтобы не вспомнилось мне родное село, чтобы мысленно не увидел я его, и каждый раз, неотделимо от села, виделись мне сады — его главная краса и богатство. И вот никакого богатства нет. И ведь, наверное, не только за эти сады любил я его, а сейчас думалось почему-то, что именно за них. Я чувствовал себя так, точно кто-то неожиданно обокрал меня.

Придя домой, я узнал от матери, что сады высохли летом сорок второго года. Высохли сразу, чуть не по всей округе. Она даже писала мне об этом, да письмо, видно, не дошло.

Я оглядел избу, постоял в сенях и вышел в сад, вернее, во двор, на то место, где когда-то он был. Сейчас здесь, от погреба до бани, тянулась пустынная лужайка с рядами неровно спиленных пней. В дальних углах лужайки, у самой бани, курчавились кусты смородины с одинокой тоненькой березкой посредине — все, что осталось от сада.

Я смотрел на пеньки и припоминал: вот здесь была скороспелка — желтые некрупные яблоки ее созревали всех раньше; рядом — налив, анис, а дальше влево — две огромные яблони апорта, который висел чуть ли не до самого ноября; а еще дальше — боровинка, с нее я еще совсем маленьким как-то упал и вывихнул ногу. Здесь росли вишни, там — сливы...

Я так ясно представил себе живым весь сад, что даже ощутил на какое-то время вкус и запах яблок каждой яблони, видел матово-красные, будто подернутые инеем, сливы и янтарные потеки клея на вишнях.

Трава была скошена и сложена в небольшую копну: зачем даром пропадать, нет сада, пусть будет хоть сенокос...

Я вернулся в избу. Сели обедать. Мать то и дело смахивала концом головного платка набегавшие слезы и все повторяла:

— Ах ты, радость-то какая! Живой, здоровый!.. А!.. Да ты ешь, ешь, заморился, чай, в дороге-то.

А когда я сказал, что приехал всего лишь на несколько дней, мать так и ахнула, чуть не выронив на пол чугунок с кашей.

— Ну вот, дождалась... Как же это ты, сынок? Разве так можно? Что же это ты?

Она стояла у печки, не двигаясь с места, и уже не вытирала снова подступивших слез. Одна — крупная, тяжелая упала на край чугунка и оставила за собой черный, блестящий след.

Мне тяжело стало смотреть на мать, на ее старческие, со вздувшимися венами, дрожащие руки, и я, сказав, что скоро вернусь, вышел. Мне захотелось пройтись по улице, посмотреть, какой она теперь стала.

Сходя с крыльца, я встретил племянника Мишку, не сразу признав в рослом, давно не стриженном — отчего он казался старше своих четырнадцати лет,— пареньке того самого Мишку, которого когда-то держал на руках и забавлял разными нехитрыми фокусами из спичек, мыльных пузырей и цветной бумаги.

Мишка, тоже, видимо не узнавший меня, сначала было посторонился, уступая дорогу, потом посмотрел исподлобья, рванулся навстречу, но на полпути остановился и, как взрослый, запросто протянул темную от загара и пыли руку. Пожатье у него было крепкое, мужское.

Пошли вдоль порядка вместе.

Улица — раньше вытоптанная, пыльная — густо поросла травой, но это почему-то совсем не радовало. Была она какая-то оголенная, сквозная. Посреди ее прежде стояли амбары, кладовые, обсаженные ветлами, высились штабеля бревен, а сейчас и амбаров стало меньше, и ветел осталось только две. На месте некоторых домов я видел пустыри, буйно заросшие высокой — в человеческий рост — крапивой и огромными зонтами лопухов.

— Дерновы. Сгорели позапрошлым летом,— пояснял мне Мишка,— живут у Юдиных — все равно изба пустует, с войны никто не пришел, одна тетка Пелагея с Ванькой осталась.

— Петровых двор. Дядю Петю убили, тетка Маша дом продала, уехала с дочерьми к брату, в Горький.

— А это Вашаня Рогачев окна заколотил. Жена у него умерла, сам пришел с фронта на одной ноге. Живет на том конце, у свояка.

Улица была пустынной; не только взрослых — ребятишек мало видно было. Встретили мы бабку Анисью, которая меня не узнала, да двух белобрысых девчонок, выгонявших из огорода теленка,— этих я не узнал.

— Сереги Буракова,— кивнул Мишка на девчонок,— сам пропал без вести...

От нежилого вида улицы, от Мишкиных пояснений мне опять стало грустно, как и на горке перед селом. А я-то, чудак, все думал: село от фронта далеко, война его не задела, приеду — все будет по-прежнему...

Мне захотелось спросить у Мишки, остался ли тут такой дом, где ничего не изменилось за войну, но, вспомнив, что и Мишкин отец — мой старший брат — тоже погиб еще в самом начале войны, я раздумал.

На конце улица загибала в сторону; ее потеснила река, подступавшая здесь прямо к огородам. Когда-то в этой реке я ловил огольцов, купался. Однажды даже чуть не утонул. А сейчас она пересохла, и только по самому дну ее еле сочилась узенькая полоска воды. Тальник по берегам был зелено-серый, как следует не промытый после полой воды, а илистые плесы и яры потрескались от жары так, что корка квадратиков и кружочков загнулась по краям, как береста.

В воздухе стоял тяжелый, удушливый зной. Мутно-голубая кромка леса на горизонте переливалась непрерывно бегущими куда-то, дрожащими волнами и будто таяла в жарком мареве.

Вышли за околицу. Здесь когда-то был луг. Назывался он Петровым долом, хотя никакого дола тут не было: место высокое, и трава, еле успев подняться, выгорала на солнце. В весенние праздники, когда в селе было еще сыро и грязно, здесь собиралась молодежь и играла в лапту, водила хороводы. Потом гулять стали в другом месте — посреди села, около церкви, и Петров дол распахали. Я сам его и распахивал. Теперь здесь росло просо, наполовину забитое лебедой и молочаем.

«Может, зря я поднимал этот луг,— думалось мне сейчас.— Все равно польза невелика от такого урожая. Хоть гулять было где...» Но тут же усмехнулся: гулять! Работать, поди, некому, не только гулять...

И действительно: когда-то бурлившее по ночам — даже в самое страдное время — балалайками, гармошками и девичьими припевками, село спало в этот вечер мертвым сном. Только собаки гавкали то в одном, то в другом конце его, да в положенное время устраивали перекличку петухи.

В избе было душно, и я лег в сенях. В знакомый еще с детства, выпавший сучок в доске был виден кружок ночного неба, с одиноким, тощим серпом месяца, зацепив-

шимся одним рогом за продолговатое облачко. Мать долго сидела около меня и, расспрашивая про мою жизнь на войне, ласково гладила нежной, шершавой от вечной работы рукой мои волосы. Я уже давно зачесывал их назад, а она, как в детстве, водила по ним рукой сверху вниз.

Потом мать ушла, а я все еще не мог заснуть. Мешала соседская собачонка; она размеренно, как заводная игрушка, лаяла тонким голосом, делала небольшую передышку и начинала снова. Гулкая тишина пустынной улицы возвращало эхо ее лая в виде одного и того же вопроса: кто такой? кто такой? Постепенно мой слух свыкся, и я стал засыпать, а собака все еще продолжала меня допрашивать: кто такой, кто такой?..

Дни я просиживал над учебниками — надо было готовиться к вступительным экзаменам. А по вечерам мать приходила ко мне в сени, и мы с ней подолгу разговаривали, вспоминали прежнюю жизнь,— теперь, после страшной войны, та жизнь виделась нам безоблачно счастливой, как сладкий сон.

Уже накануне моего отъезда мать, не удержавшись, опять тихо пожаловалась:

— Тот не пришел, и ты уходишь... Тяжело мне одной-то...

Мать вздохнула и умолкла.

Уж лучше бы она в чем укоряла меня, уговаривала остаться! Тоскливая безысходность ее слов сжала грудь, в горле сделалось горячо, словно там что-то закипело. «А не махнуть ли на все рукой и не остаться ли, в самом деле, дома?! Ну, не ты, со временем, приедешь учительствовать в Кузьминское, пришлют другого — велика ли беда?!» Но стоило мне сказать об этом матери — она же и стала меня отговаривать.

— Что ты! Что ты, сынок! Сам же говоришь, тебе, как фронтовику, льгота,— и такой момент упустить. Ты разве забыл, что отец перед смертью говорил?!

Отцу с матерью в свое время пришлось учиться очень мало: отец ходил в школу «две зимы», а мать и того меньше. И была у них давняя мечта: дать образование своим детям. Отцу хотелось, чтобы кто-то из нас обязательно учительствовал потом в Кузьминской школе. «И чтобы образование у тебя ли, Иван, у тебя ли, Симка,— добавлял при этом отец,— было полное. Не какой-то там пед-

техникум или училище, а полный университет! Пусть в нашем селе будет хоть один учитель с полным образованием, и пусть у этого учителя будет наша фамилия!..»

С появлением на селе тракторов и комбайнов Ивана потянуло к машинам, и он выучился на механика. А в сорок первом ушел на фронт и не вернулся. Так и по сей день нет в Кузьминском ни одного учителя с «полным образованием» и с нашей фамилией...

Разбудила меня мать рано: надо было успеть к поезду, который уходил утром.

Я не знаю, ложилась ли мать,— картошка уже дымилась на столе, когда я, умывшись, вошел в избу.

Стали прощаться. Я не люблю всяких прощаний, не знаю, что надо говорить при этом, и чувствую себя беспомощно и глупо.

У матери дрогнули и жалко запрыгали губы, застелились слезами глаза. Она обхватила меня за шею, припала к плечу и словно обмерла. Надо бы уже идти — ну что растравлять себя понапрасну,— но мать не отпускала рук. Она, наверное, чувствовала, понимала — матери ведь всегда и все понимают,— что пора идти, что надо разжать руки, и не могла, не в силах была этого сделать... Прямо перед моими глазами были ее седые растрепавшиеся волосы, маленький, в старческих морщинах лоб. И вся она была маленькая, сухонькая, беззащитная... Я понял, что еще минута, может быть, полминуты, и я не выдержу, сброшу заплечный мешок и останусь дома. Останусь насовсем. Я легонько взял ее горячие руки и так же легонько, почти незаметно разжал. Мать не противилась, она лишь еще раз судорожно изо всей силы прижалась ко мне, точно хотела вложить в это последнее объятие и всю свою материнскую нежность, и всю свою боль, а потом уже руки ее сами собой сползли с моих плеч. Так она мне и запомнилась: стоит, потерянно уронив вдоль тела темные жилистые руки, и скорбно, немо глядит, как я все дальше и дальше ухожу от родного порога...

Когда я вышел задами за село, светлая полоска на востоке — узкая, белесая полчаса назад — расступилась почти на полнеба, и ее залили снизу желто-багровые разводья. С каждой минутой они становились гуще и гуще, будто небо, соприкасаясь с горизонтом, постепенно пропитывалось, намокало темной кровью. Скоро должно было показаться солнце.

На взгорье я остановился передохнуть и оглянулся на село. Незнакомое, чужое село.

— Никак ты, Симка?— послышалось откуда-то слева.

Из вершины овражка на дорогу выходил старик в рваном полушубке, подпоясанном льняной веревкой, и в такой же ободранной высокой шапке. Не сразу признал я в нем деда Ганьку — знаменитого когда-то колхозного пасечника.

— Н-да-а... Неприглядное село наше стало, неуютное,— словно читая мои мысли, продолжал говорить дед. Он подошел ближе и остановился, опершись обеими руками на палку.— Как на порубке живем: был лес — остались одни пеньки... А какие сады красовались, какие сады!..

Должно быть, только сейчас Ганька заметил за моей спиной мешок, потому что, прищурив свои не по годам молодые глаза, спросил:

— А ты что же, милок, не успел прийти и уж скорей бежать из села? Ай не понравилось? А?

Меня больно задели слова старика. Я почувствовал себя вроде дезертира или солдата, который уходит из своей части, попавшей в тяжелое положение, во второй эшелон.

Я сказал, почему и куда ухожу, но хитрый дед Ганька сделал вид, что не расслышал,— а может, и в самом деле не расслышал меня, потому что, глядя куда-то в поля, проговорил безучастно:

— Что ж, счастливой дороги. А на лето приезжай. Как ни что, а места-то родные...

2

Меня приняли в институт, дали общежитие. И я, обрадованный и довольный, по вечерам, перед сном сочинял матери пространные, хорошие письма.

Все, мол, у меня идет как надо, так что ей не о чем беспокоиться. И пусть она не думает, что я забыл про нее: нет у меня человека на свете ближе и роднее. Если никогда не говорил ей нежных слов — значит ли, что я не люблю ее?! Люблю, очень люблю. И не надо горевать — мы скоро увидимся. Кончится полугодие, у нас будут каникулы, и я приеду, а летом, как сдам экзамены, приеду опять. На целых два месяца! Мы обо всем успеем тогда

наговориться. И у нее будет отпуск на эти два месяца — первый в жизни. Я ничего не дам ей делать — все, решительно все стану делать сам. А она будет отдыхать, отдыхать, и все...

Такие или примерно такие письма мысленно сочинял я в постели, перед сном, и каждый раз давал зарок на другой же день написать. Но и месяц прошел, и второй пролетел незаметно, а письмо все еще оставалось ненаписанным. Все как-то было недосуг.

Нормально учиться мне пришлось только семь лет. Старших классов в нашем Кузьминском нет, а село, где они есть,— за девять километров, каждый день не находишься. Можно бы, конечно, к кому-нибудь на квартиру стать, но это значит уйти из дому насовсем. А надо было помогать матери по хозяйству. Брат работал в МТС, отца к тому времени мы уже похоронили. Учился я долгими зимними вечерами дома и сдавал экстерном. За три класса сдал в два года. Меня хвалили: молодец, здорово, и я тоже тогда казался себе молодцом, а только от того скоростного ученья в голове осталось немного. За войну же и то немногое изрядно подзабылось, кроме разве тригонометрии, с помощью которой я вычислял углы прицела и траектории падения снарядов. Так что теперь надо было наверстывать.

Конечно, если говорить откровенно, полчаса или час выкроить, наверное бы, можно. Ведь нашел же я время, чтобы написать двум друзьям-однополчанам, написал и знакомой, тоже еще по фронту, девушке. А письмо матери все откладывал и откладывал. То ли потому, что никакой срочности в нем не было, то ли потому, что вообще-то коротенькое, в пять строчек письмо я послал в Кузьминское еще в тот же день, как увидел себя в списке принятых в институт.

Потом пришло письмо от матери, в котором она писала, что картошка в этом году уродилась добрая и что они с Мишкой, слава богу, посуху, до дождей выкопали ее и убрали в погреб, что топлива на зиму хоть и маловато, да бог даст как-нибудь протянут. «И это хорошо, что ты поступил на ученье, я понимаю, тебе это надо. Только больно уж я соскучиваюсь. И знаю, что все, как надо и как тебе хотелось, и рада я за тебя, а сердце все равно болит, ничего с ним поделать не могу...»

В тот же день, прямо на лекциях, я написал ответ. На-

писал те же пять дежурных строчек, но быстрота ответа как бы оправдывала его краткость. Словом, перед собой я оправдался вполне, а большое письмо опять так и осталось ненаписанным.

И хорошо, что осталось ненаписанным!

Студентов, отлично сдавших зимнюю сессию,— а я оказался в их числе,— институт отправлял бесплатно в Ленинград. Конечно, можно было и не ездить туда, а поехать в Кузьминское. Но уж очень хотелось поглядеть на Смольный, побывать в Эрмитаже, в Русском музее. Когда еще представится такая счастливая возможность!

Я написал об этой поездке матери. Она ответила, что в последнее время что-то начала прихварывать, но это, наверное, пройдет. А ехать мне или не ехать — «что я тебе на это скажу? Делай как тебе надо...».

Мне стало стыдно за свой глупый вопрос. Ведь если честно признаться, задавая его, я заранее был уверен в ответе: насколько я себя помнил, мать всегда делала так, как мне, а не ей было надо... Скверно было еще и потому, что я всю осень собирался написать письмо, для которого приготовил так много хороших, душевных слов. А вот дошло до дела, и ничего не стоящими оказались те хорошие слова.

Я озлился на себя и пошел к директору. Пусть меня вычеркнут из списка и поставят кого-нибудь другого: я не поеду в Ленинград. Директора я не застал, была суббота, и он ушел из института рано. Декан сказал, что вычеркнуть меня может, но билет, чтобы не пропал, придется сдать в кассу, потому что нового студента в этот список он дописать не властен, а уезжать надо завтра вечером.

— А вообще-то не советую,— сказал декан в заключение разговора.— В родном селе еще набываешься, а в Ленинград наш институт едет в первый раз и неизвестно, когда второй выпадет. Мать? Ну, что ж, у меня у самого мать живет в деревне. Навещаю каждое лето. И ты сдашь весеннюю сессию — и кати на все лето в родные палестины.

Я опять заколебался. После разумных и убедительных (мне так хотелось думать) доводов стороннего человека я уже не казался себе таким черствым и эгоистичным. Сжимая в кармане картонный прямоугольник билета, я боялся признаться, что сдавать его очень не хочется.

И я не стал сдавать билет.

Так же скоро и незаметно пролетела и вторая половина учебного года.

В Кузьминское, однако, мне пришлось ехать раньше, чем я собирался.

Я готовился к сдаче последнего экзамена, когда принесли телеграмму, смысл которой дошел до меня, кажется, раньше, чем я ее прочитал. Буквы телеграфного бланка поплыли перед глазами, и вдруг отчетливо, будто при ударе молнии, я увидел мать: стоит, потерянно уронив темные сухонькие руки вдоль тела и, словно бы чуя сердцем, что видит меня в последний раз — с тоской глядит мне вслед. А еще вспомнилось в ту секунду, как снимал я со своих плеч ее руки — горячие и покорные... И мне стало страшно. Страшно от мысли, что уже ничего нельзя ни переделать, ни поправить.

Непостижимо, непонятно устроен человек! То он хорошо видит и точно соотносит в своем уме большое и малое, важное и несущественное, то вдруг эти понятия смещаются, и он даже и не замечает...

То ли потому, что несчастье оглушило меня и я еще не мог, не в силах был постичь всей его глубины, то ли потому, что это давно сидело занозой в сердце, но когда хоронили мать — больше всего мучился я тем, что так и не написал ей того большого письма, что так и не успел сказать ей ни одного слова переполнявшей теперь меня горячей любви и нежности. Будто это имело какое-то значение и могло что-то изменить!

Ударились первые комья о крышку гроба, и я вздрогнул, будто ударились они о мое сердце, будто вся эта черными ручьями потекшая со всех сторон в могилу земля начала придавливать, засыпать и меня самого. Я почувствовал, что мне не хватает воздуха, что вот-вот задохнусь, и сошел с края могилы.

Чистое, без единого облачка небо сияло над миром. Солнечный свет, процеживаясь сквозь листву плакучих берез, густыми желтыми пятнами лежал на темной кладбищенской зелени — на траве, на кустах крыжовника. Так же щедро испятнаны были солнцем почерневшие от времени могильные кресты. И тишина кругом стояла, такая тишина, что от нее звенело в ушах. Живой свет солнца и могильная тишина...

Кроме непосредственной, что ли, прямой связи человека с жизнью, связан, соединен он с ней, наверное, еще

и через близких ему людей, и когда умирает один из них — вместе с ним умирает и какая-то часть самого человека, та сторона, та грань жизни, с какой он через умершего соприкасался.

Я родился после революции, но во мне словно бы изначально жила романтика гражданской войны, романтика беззаветного мужества и бескорыстного служения революции — живым воплощением ее был мой отец. С его смертью все это постепенно уходило из моей жизни, оставаясь лишь в учебниках, в книгах.

Я не знал точно, что уходило теперь с матерью, знал только, что-то большое и очень для меня нужное. Мать всегда с тех самых пор, как я себя помню, была как бы частью меня самого. Все детство — это не только я, это и мать. Вспомню ли зимние метельные вечера и себя на теплой печи — тут же увижу и мать: она нам в эти долгие вечера рассказывала чудесные сказки. Вспомню ли жаркое лето, себя увижу в саду — обязательно и мать увижу рядом: вон она срывает мне самые спелые, аж черные вишни, самые сладкие яблоки. Первый свой шаг по земле сделал — мать за руку вела; в школу пошел — мать провожала; в ночное поехал — мать одевала, никогда не забывая сунуть за пазуху круто посоленную и завернутую в тряпицу краюху хлеба. Радость какая — к матери бежишь, с ней первой делишься, палец порезал, ногу на гвоздь напорол — к кому ж, как не к матери идешь, хоть тебе давно и не пять, и не десять, и даже не пятнадцать лет...

Вместе с матерью уходила из жизни и часть меня самого — часть моего детства и моей юности.

3

Мне бы лучше было, наверное, уехать в Москву, а не оставаться дома, где все на каждом шагу напоминало о матери, где каждый новый день заново бередил еще не утихшую боль.

И все-таки я остался в Кузьминском.

Как-то утром, умываясь у крыльца, я увидел в конце улицы людей с косами. Подымавшееся солнце тускло поблескивало на отсветленных лезвиях и издали делало похожими косцов на отделение солдат, несущих на плечах винтовки с примкнутыми к ним плоскими штыками. Но

когда косари подошли поближе, я понял, что сравнение не годится: это шли бабы, и ни в их походке, ни в одежде ничего воинственного, ничего солдатского не было.

И хотя я слышал раньше, знал по письмам, что во время войны нужда научила женщин делать нашу мужскую работу,— мне было непривычно видеть такую картину. Я вырос в деревне, но ни разу не видел с косой в руке женщину. И тяжела эта работа, и просто так у нас не было принято.

Перед полднями, выйдя за двор, я снова увидел косцов. Они косили на ближнем поле зеленую вику с овсом, и я залюбовался их работой.

Бабы широко, по-мужски взмахивали косами и привычно легко, с густым шумом подрезали сочную зелень.

Вот одна из них остановилась точить косу. Я сам когда-то косил и знаю в этом толк: на точке можно проверить любого косца. Баба с размаха воткнула косье в землю, взяла его под мышку и, вытащив из-за пояса брусок, начала лихо, с перезвоном — под стать самому заправскому косцу — шаркать им с той и другой стороны лезвия, даже не глядя на него.

Я вернулся во двор, снял с переводины косу, примерил насадку и прямо огородами подошел к колхозницам. Они как раз начинали новый заход и молча пропустили меня вперед.

Поначалу дело шло плохо: коса моя то забирала слишком широко, то пролетала почти вхолостую, и тогда я едва сохранял равновесие. А может, еще и потому так получалось, что косил я со злостью, с каким-то мрачным ожесточением, словно шел на врага с винтовкой наперевес.

Прошел одно окосево, другое и постепенно приноровился, шаг мой стал ровным и твердым. Я почувствовал, как ожесточение уходит, уходит куда-то, будто растворяется вот в этих мерных взмахах руки, в сочном шелесте подрезанных стеблей, в синем, объемлющем меня со всех сторон полевом просторе. Мысли перестали ходить по замкнутому кругу. Здесь, в поле, все было просто и ясно. Вот коса, вот трава, а вот твои руки. Наточи косу, замахнись пошире и, наваливаясь всей тяжестью плеча, резко и ровно проведи по зеленой стене. Переступи, сделай шаг вперед, снова замахнись и снова ударь со всего замаха. Раз, два! Шу-у — вжу!

А потом и об этом перестаешь думать: руки сами делают то, что нужно, ноги сами несут тебя все вперед и вперед, ты только видишь расступающуюся перед тобой зеленую стену и слышишь, как ритмично поет коса: шу-у — вжу! Работа завладела твоими мускулами, твоим телом, и оно живет как бы само по себе, по своим издревле мудрым законам.

Ноет спина, тяжелеет плечо, по всем жилам разливается усталость, но это та здоровая усталость, которая приносит с собой счастливое удовлетворение не зря прожитым днем — а что есть на свете выше и дороже этого?!

Ты придешь потом домой, уснешь крепким сном, и никакие кошмары, никакие видения не будут мучить тебя. Если что и увидишь или услышишь во сне — это будет все та же, медленно расступающаяся перед тобой зеленая стена и короткая, энергичная песня косы: шу-у — вжу! Шу-у — вжу!

Я и на другой день вышел в поле с косой, и на третий...

Тяжелая красивая работа!

И будто не было никакой войны, не учился я год в институте — не было ничего: я все тот же молодой зеленый парень, иду себе лугами и, играючи, помахиваю да помахиваю тяжелой косой. Влажно блещет коса, горит роса на цветах, жаворонки хрустальными колокольчиками звенят в высоком небе, и словно бы капельками радости падает тот хрустальный звон с небесной вышины в мое сердце, и оно раскрывается навстречу красоте этого солнечного зеленого мира.

Вот только вечером, когда я возвращаюсь домой, мне не с кем поделиться своей радостью...

Подошло время жатвы.

Год выдался урожайный: зерно было крупным, наливным, тяжелым.

— Золото!— говорили колхозницы, вышелушивая из колосьев и любовно пересыпая в ладонях хлебные зерна.

И это старое, уже потускневшее от частого употребления слово приобретало как бы новый смысл.

Чтобы не дать хлебам осыпаться, их убирали и комбайном, и жатками, и косами. Снопы возили на ток и молотили.

Когда-то я считался неплохим задавальщиком и вот опять, разыскав на чердаке тяжелые, обшитые кожей очки, стал к барабану молотилки.

От скирды до моего столика выстроилась цепочка людей, и по этой живой цепочке непрерывно текут, текут в барабан тяжелые снопы. Кто-то отвозит солому, кто-то оттаскивает на веялки и в вороха намолоченное зерно. И все — и машины, и люди, и лошади — все живет и движется в одном ровном точном ритме, который невольно захватывает и подчиняет себе каждого.

Утробно ревет барабан, жестко и часто стучат решета очисток, гулко плещут передаточные ремни. В воздухе вместе с пылью висит сладковатый сытный запах молодого жита. Вкусно пахнет молодой хлеб!

И опять, как и на косьбе, все недавнее будто отодвинулось в сторону. Смешным и далеким казалось теперь волнение перед экзаменами, шумная суета городской жизни. Я опять будто вернулся в юность и, незаметно для себя, начал выкрикивать уже забытые, но такие привычные слова:

— Дава-ай!.. Давай-давай!..

Как-то пришлось мне быть на току еще перед началом уборки.

Добрую половину людей, работавших на расчистке тока и около полуразобранных веялок,— а тут была, в основном, молодежь,—я узнавал с трудом. Я лишь догадывался: это вон, наверно, сын Федора Дорохина, тот — Матрены Кудрявцевой, а рослая, с выгоревшими волосами девчонка — дочка Филиппа Юдина. Но я их всех помнил десяти- или двенадцатилетними. А сейчас передо мной были взрослые, сильные ребята, легко перетаскивающие веялки с места на место, и узнать в них босоногих сорванцов было не так просто. Чувствовал я себя от этого несвободно, даже как бы отчужденно, и старался держаться около людей пожилых, которые за эти шесть лет мало изменились.

Сейчас вокруг меня опять работали люди, больше половины которых я не узнавал, однако же никакой неловкости не испытывал. Так ли уж важно, что кого-то я здесь знаю по имени и отчеству, а кого-то нет. Не важнее ли то, что вместе с теми и другими делаю одно общее дело и в этих ворохах крестьянского золота есть доля и моего труда. И это хорошо, что так людно на току!

Село уже не казалось теперь таким тихим и безжизненным, как год назад. Прибавилось в Кузьминском фронтовиков, кое-кто приехал из городов на побывку.

Молодежь по воскресеньям, как и до войны, устраивала посередь села, у церкви, гулянья, пела под гармошку, танцевала. Раза два или три из района привозили кино и показывали прямо на улице, повесив экран на стену колхозного клуба. Тогда здесь собирались и стар и мал, и видеть это многолюдье было особенно радостно.

Сколько миллионов человеческих жизней унесла война! Редкий двор в селе обошла смерть, а в некоторых семьях погибли на фронте вместе с отцами и сыновья. Но наперекор всему вечное древо жизни по-прежнему зеленеет.

Как-то, возвращаясь от церкви, я проходил по мосту через нашу речку Кузьминку. Вдруг мне показалось, что в прохладном, ночном воздухе запахло черемухой. Я остановился, и сразу вспомнилось время, когда по отлогим склонам берегов цвели сады, а у самого моста, как невесты в подвенечных платьях, белели две высокие черемухи. Возвращаясь домой, я любил останавливаться здесь, подолгу дышал густым воздухом майской ночи, настоянном на нежном, чуть горьковатом запахе черемухи, и слушал сонное бормотание спящего села. Сады посохли, но черемухи уцелели. Даже обросли за это время молодыми кустами. Только сейчас был август, а в августе черемуха ничем не пахнет. Мне, наверное, просто почудилось.

Внизу тихо, осторожно, точно боясь нарушить тишину, журчала вода, а выше по течению, в небольшой заводи, купался месяц, оставив за собой узенькую серебряную дорожку, по которой он сошел сюда сверху. Вода отливала синим таинственным светом и казалась такой стеклянно-неподвижной, что непонятно было, течет река или застыла в своих берегах.

— Природу наблюдаешь?— услышал я за спиной голос и обернулся.

Рядом стоял опять словно из-под земли выросший дед Ганька.

— Да вот, гляжу на Кузьминку. Прошлым летом — все дно было наружи, а нынче — опять река как река,— сказал я первое, что пришло в голову.

Старик прислонил к перилам свою вязовую палку, достал кисет и неспешно начал сворачивать «козью ножку».

— Для нас тут диковинного ничего нет. Это вон проезжие дивятся. Пересохнет в жару — они ее и рекой пере-

стают считать, а поедут на другое лето — глянь, а вода с берегами опять. Проезжие не знают, что родники-то, от которых Кузьминка идет, даже в самую что ни на есть сушь не сякнут, а год от году бьют сильнее. Такая уж она у нас... Крути.

Ганька протянул мне кисет и начал высекать огонь, медленно и высоко замахиваясь рукой, точно топором рубил. Закурили.

— Бессонница,— пожаловался Ганька.— Из избы в сени ушел, и там все вроде душно кажется. На свой питомник в шалашик иду зоревать. Бывай...

Старик ушел, а я еще долго стоял на мосту, слушал, как спит село, как тихо журчит внизу Кузьминка.

Незаметно подошло время уезжать.

Собрав накануне свои книги и тетрадки, я, как и год назад, с восходом солнца был за околицей. Только на этот раз меня уже никто не провожал.

На заре прошел дождь, пыль стала грязью, и я решил, сделав небольшой крюк, выйти на большак оврагами — теми самыми оврагами, в вершинах которых били ключи, питавшие Кузьминку.

Я опять встретил здесь деда Ганьку. Старик копался недалеко от шалаша в мелком частом кустарнике.

Пологие овражные склоны были засажены ровными рядами маленьких яблонь. А то, что издали похоже было на кустарник, вблизи оказалось садовым питомником.

— Это — яблоньки,— объяснял дед Ганька,— это — вишенник, а это — сливки. То будет колхозный сад,— Ганька повел рукой по овражным склонам,— а это осенью раздадим по дворам. Сажай и выращивай на здоровье, закрывай село белым цветом да зеленым листом. И не знаю я, доживу ли, а сады в нашем селе будут. Такие сады...— дед помедлил, подыскивая нужное выражение,— словом, прежние кузьминские сады!

4

Школа стоит сбоку села и несколько на отлете. Тихое, все в зелени место. Особенно хорошо здесь в утреннюю рань, когда солнце еще только поднялось и тени от него сумеречно густы и четки, когда тишина объемлет окрестные луга и поля.

Я привык вставать рано и перед уроками люблю пройтись по школьному саду, подышать утренней свежестью.

Но нынче я сворачиваю со знакомой тропы и иду туда, где по отлогому взгорью, тоже сбочь села, стоят в печальной неподвижности вековые березы. Каждый раз в этот день я прихожу под те березы.

Могила успела затравенеть. И крест на ней уже ничем не отличается от соседних — потемнел, чуть покосился.

Мать до конца своей жизни верила в бога и просила похоронить ее «как следует», «по всем правилам», придавая этому исключительно важное значение.

Отношения с богом у нее были своеобразные и вполне определенные. Жизнь не баловала мать, но я ни разу не слышал, чтобы она в своих молитвах хоть раз пожаловалась богу или что-нибудь попросила у него для себя. Просила она или за больного отца, чтобы дал ему здоровья, или за нас, за детей, хотя знала, что мы неверующие. Смерть Ивана она считала божьим наказанием — для себя же: видно, где-то и что-то не так она делала, если бог разгневался на нее. Так же твердо мать была уверена, что уцелел я на войне только потому, что ее горячая молитва дошла до всевышнего.

Я не знаю, о чем думала, о чем просила мать бога в свои последние минуты. Но вряд ли о том, чтобы он защитил ее. Всего скорее, она просила, чтобы бог не оставил своим попечением ее неверующего сына. Ведь это была последняя молитва. А просить сразу за двоих — слишком много: жизнь убедила ее, что милосердный боже, в общем-то, не такой уж и щедрый на милосердие. Самое большее, о чем она могла бы попросить у него для себя,— это разве недельной отсрочки — чтобы еще раз увидеть сына.

Мало, очень мало пришлось нам с ней пробыть вместе после такой долгой и тревожной разлуки! И вот я «сделал, как мне надо», достиг того, к чему стремился, чего хотели отец с матерью. Но каждый раз, когда прихожу на эту могилу, спрашиваю себя: а так ли, а правильно ли я поступил, когда уехал от матери, когда оставил ее одну?! И до сих пор не могу, не знаю, что ответить. Знаю только, что после бывает очень тоскливо на сердце...

Школьный сад занимает просторную луговину, спускающуюся уступами к реке.

Недавно только по листьям можно было гадать, какие плоды со временем появятся на той или другой яблоньке. Теперь я вижу эти плоды. Я вижу круглый полосатый апорт, темно-красный, почти вишневый и твердый, как камень, анис, зелено-желтую, чуть просвечивающую антоновку, круглую боровинку. И когда я надкусываю апорт и захлебываюсь туго брызнувшим ароматным соком — мне сразу вспоминается детство, наш глухой старый сад: мать стоит простоволосая под яблоней, а я сверху кидаю ей в платок самые спелые, самые красные яблоки...

Я иду длинным школьным коридором, и мои шаги гулко отдаются в тишине. Светло сияют промытые окна, празднично блестят покрашенные и еще никем не засложенные полы.

Захожу в классы. В том, куда придут сегодня самые маленькие и сядут за парту первый раз в жизни, я задерживаюсь подольше. Сам сажусь за парту. Трудно вспомнить, но кажется, именно за эту парту когда-то я сел в самый первый раз. Сколько лет тому назад это было?! Многое я узнал с тех пор, о многом прочитал, многому меня научили, а тот день помню, помню, как самый главный.

Кто нынче сядет за эту парту? Может, те два стриженых, как новобранцы, паренька, которых я вчера видел в школьном саду? Или те две чинные девочки с бантиками в косичках, которые спрашивали меня про учебники? Запомнится ли им нынешний день? Какие слова я должен сказать, чтобы они врезались в их память на долгие и долгие годы?

И этих ребятишек, и этих девчушек я буду учить грамоте. Но только ли одной грамоте я должен их учить? Что ждет их в будущем? Легче или труднее нашей будет их жизнь? Нам хочется надеяться, что легче.

Мне хочется, чтобы мои ученики прожили жизнь интересно и красиво. Чтобы была у них одна забота — любить родную землю и своим трудом умножать ее красу. А еще, чтобы каждый из них любил и всегда помнил свою мать, и если он соберется в дальнюю дорогу, то пусть не торопится снимать со своих плеч материнские руки — как знать, может, эти руки обнимают его в последний, в самый остатний раз...

Звенит колокольчик. Пора начинать урок.

ВЫСШИЙ КЛАСС

•

1

Во всех селениях, что вошли в Ильинский колхоз после укрупнения, обходятся своими доморощенными комбайнерами. И только в залесную деревушку Березайку, что ни лето, приходится посылать кого-нибудь на подмогу.

Нынче ехал туда на уборку Иван Луков из села Ильинского.

С комбайна далеко видны были уходящие в ту и другую сторону от дороги зреющие хлеба. Широко, просторно, до самого горизонта расхлестнулось хлебное море, и не было ему ни конца, ни краю.

Недавно поднявшееся солнце шло низко по-над полями, высвечивая большие и малые взгорья и оставляя в густой тени овражки и долины. Временами набегали тонкослойные, почти прозрачные облака, и тогда по полям легко скользили, догоняя друг друга, огромные волнистые пятна.

Сзади что-то забренькало.

Луков остановил комбайн, спустился на землю, пригляделся.

Бренчала, должно быть, соскочившая со звездчатки цепь. Луков поправил цепь и повернул назад, но тут же замер на месте: в каких-нибудь двух шагах от него стояла девушка. И ладно бы просто девушка — красивая девушка! Это он решил даже прежде, чем успел разглядеть черты ее лица. Да это, наверное, и всегда так: если видишь, что человек красив, тебе и в голову не приходит разбирать, насколько хороши у него глаза, губы, нос. Заметил Луков только, что глаза у девчонки очень живые, веселые, а на груди приколот василек. На васильки у Лукова была вполне определенная точка зрения: сорняк! Но на сей раз он легко поступился своими воззрениями и даже нашел, что василек как-то очень здорово

идет и к легкому светлому платьицу дивчины, и к ее синим глазам.

А девушка между тем приветливо улыбнулась и спросила:

— Вы из Ильинского?

Луков слегка приосанился и, поднеся руку к верхней губе, едва притрагиваясь, крутнул ус:

— Да.

— А не видели, инженер сейчас на месте?

Луков покрутил усы более основательно:

— Да, он сейчас на усадьбе.

Девушка опять улыбнулась, но уже по-другому: с трудом сдерживая смех.

Причина внезапно напавшей на нее веселости была непонятна Лукову. Это сбило его с толку, и, чтобы хоть как-то продолжить разговор, он добавил:

— Вы имеете полный шанс застать его.

Понял, что сказал глупость, рассердился на себя и, видя, что девушка по-прежнему продолжает беззвучно смеяться, сказал уж совсем несуразное:

— Вот так.

Девушка поблагодарила и ушла своей дорогой. А Луков как стоял, так и остался на месте, все еще глядя ей вслед и машинально покручивая усы. «В чем дело? На какую такую тему она могла смеяться? Уж не...»

Лицо Лукова разом вытянулось. Он перестал крутить пальцами под носом и больно ущипнул себя за верхнюю губу: «Ну да, конечно! Все эта дурацкая привычка крутить усы, которые еще когда-то вырастут!..»

Тут надо заметить, что усы у Лукова были действительно такими, что их и усами-то называть было еще рано, они только-только начинали пробиваться, хотя он, чтобы ускорить рост, и брил их чуть не ежедневно. А привычку крутить — пока еще воображаемые — усы он перенял у одного бригадира, бывшего гвардейца. Перенял в шутку, а потом незаметно этот жест стал что-то вроде потребности: в трудные минуты он помогал лучше сосредоточиваться. И вот эта привычка обернулась такой неожиданно глупой стороной.

Луков постоял еще некоторое время без движения, а потом резко нахлобучил на самые глаза фуражку и полез на комбайн.

Откуда-то взявшийся парень — то ли следом за дев-

чонкой шел, то ли из овражка вывернулся — неопределенно поприветствовал Лукова, широко и ехидно улыбаясь при этом. Луков посмотрел на него сурово и осуждающе. «И чего только человек ухмыляется?! Ведь ничего же не знает, а вот надо обязательно ухмыляться, рот до самых ушей растягивать...»

Мысли его опять вернулись к девушке. Интересно, зачем бы это ей инженер мог понадобиться? Если просто для разговора какого — так еще ладно, а если что просить идет — бесполезно. Ни в зуб ногой. Ведь это такой сквалыга — за обыкновенную шестеренку свободно даст себя повесить...

Луков еще раз посмотрел в ту сторону, куда ушла девушка, но кроме обступивших дорогу и постепенно сходящихся к горизонту хлебов ничего не увидел.

2

На полях Березайки ранее Лукову работать не приходилось, и потому осматривал он их с присущим ему тщанием.

На все его вопросы березайкинский бригадир поначалу отвечал охотно и пространно. Но вопросы у каждого нового поля, изменяясь лишь в своей последовательности, повторялись и повторялись. К середине дня бригадир заскучал, потом в его глазах появилось какое-то рыбье выражение. К вечеру он уже был на грани не то мрачного отчаяния, не то тихого помешательства. Луков видел это, видел и очень жалел, что на первых же порах так неловко складываются у него отношения с человеком, к которому ему постоянно придется обращаться. Он даже вздыхал сочувственно, искоса поглядывая на поскучневшее лицо своего спутника. Но что он мог поделать?! Он в Березайке впервые, и ему — нравится это тебе или нет, товарищ бригадир,— все надо знать, решительно все. Ведь ему по этим полям не с девушкой гулять, а на комбайне работать. И он у нового поля с прежней беспощадностью засыпал бригадира своими «рельеф», «длина гона», «ожидаемая урожайность»... Бригадир отвечал односложно, дыша глубоко и редко.

— Да, жарко,— как-то сказал Луков, делая вид, что за истинную причину упавшего настроения спутника считает жаркую погоду.

— Что? — не понял бригадир.

— Жарко, говорю,— повторил Луков и отерся, как бы иллюстрируя свои слова.

— Да, жарко...— рассеянно согласился бригадир, видимо так и не поняв наивной хитрости Лукова.— Слава богу, еще только одно поле осталось...

На другой день Луков решил опробовать молотилку комбайна на рабочем ходу. Для этого к комбайну был подвезен воз прошлогодней соломы.

Началось все хорошо. В приемную камеру брошена первая охапка соломы, вторая... Барабан гудел все глуше и глуше. Захотелось посмотреть на работу узлов молотилки, обойти ее кругом. Но кто бы тем временем кидал солому!

Мимо кузни, недалеко от которой стоял комбайн, шла какая-то девушка. Луков секунду поколебался,— но не останавливать же машину! — и махнул рукой девушке, приглашая подойти. Сам он продолжал задавать солому.

— Молотилку вот проверяю, а одному неспособно,— не оборачиваясь, крикнул Луков девушке, как бы извиняясь за свое слишком смелое приглашение и стараясь придать голосу возможно больше вежливости.— Покидайте вот сюда немно...

Он не договорил. Перед ним стояла та самая девушка, которую он встретил по дороге в колхоз. Кажется, девушка чуть улыбалась, но разве до того тут было, чтобы уточнять такие подробности,— молотилка гремела на холостом ходу. Луков проворно кинул несколько охапок и, стараясь быть вежливым до предела, попросил еще раз:

— Пожалуйста, покидайте, пока я машину посмотрю.

Девушка, не говоря ни слова, подошла к комбайну и начала задавать солому.

Молотилка шла хорошо. Но особенно понравилась Лукову работа девушки: она задавала ровно, не торопясь и не опаздывая,— прямо-таки загляденье! Отключив молотилку от мотора и спускаясь с мостика, он спешно придумывал, в каких бы это наиболее деликатных выражениях отблагодарить девушку. Однако, едва успел открыть рот и пробормотать начало сложно-сочиненной благодарственной фразы, как девушка перебила его и как-то уж очень просто сказала:

— А, ничего. Не стоит. Я ведь к вам практикантом.

От растерянности Луков потянулся было к своим буду-

щим усам, но тут же отдернул руку, рывком заглушил мотор и тяжело опустился на раму.

В голову разом набежало столько мыслей, что разобраться в них было не просто. Потом так же разом все мысли улетучились, и осталась только одна: как ему вести себя с новоявленным помощником? Не расшаркиваться же перед ней, не рассыпаться в любезностях, как он только что собирался. Практикант есть практикант, и ничего больше, а отношения надо устанавливать ясные и определенные с первого же раза. С этой милой девушкой предстоит серьезная работа, а отнюдь не прогулки при луне. И важно, чтобы она сразу же почувствовала дистанцию: поняла свое место и поняла, кто есть кто.

— Ну, что же, давайте знакомиться,— запоздало предложил Луков после продолжительного молчания и даже зажмурился, представив себе, как это глупо, должно быть, выйдет: они подадут друг другу руки и скажут: «Ваня».— «Таня».— «Очень приятно»... Бр-р!..

Но опять все вышло гораздо проще. Девушка тряхнула волосами и, улыбаясь, ответила:

— А мы уже и знакомы. Вас Иваном Тимофеичем, если не ошибаюсь, а меня — Валей. Я, между прочим, здешняя... Учусь в училище механизации. А опоздала немного — к тетке в город ездила.

Лукову понравилась в девушке эта простота в обращении. И имя хорошее. Простое и вообще... А впрочем — ничего особенного, имя как имя. И если присмотреться — никакой особенной красоты: нос как нос, глаза как глаза. Очень обыкновенные глаза. А руки — руки так и совсем неинтересные. Ведь этими тонкими пальчиками не воздушные поцелуи изображать, а держать ключи, подшипники, штурвал комбайна в конце концов, а на штурвале, как известно, должна лежать сильная и твердая рука...

Оглядывая хлеба по дороге в Березайку, Луков любовался ими. По-иному виделись ему поля, когда он обходил их вместе с бригадиром: вон там промоина — а куда она идет, вдоль или поперек гона; в той лощине полег хлеб — интересно, полеглость будет приходиться «встречу» комбайна или «по ходу» его... Другими глазами глядел он теперь и на Валю. Там, на дороге, он встретил милую девушку, сейчас перед ним стоял помощник, с которым предстоит проработать целый уборочный сезон.

Потому даже такого пустяка, как поездку к тетке, сейчас Луков не простил своему помощнику: «Несерьезно. Не нынче-завтра в поле, а она по теткам разъезжает».

— Вот что,— Луков решительно поднялся с рамы.— Для начала давай-ка проверим крепление решёт второй очистки, а то что-то они тарахтят громче положенного. Ты их сними, а я пока мотор приведу в порядок.

Насчет решёт Луков, конечно, соврал. Просто нельзя же было без конца сидеть, ничего не делая, и разглядывать друг друга. А в работе и всякая неловкость пройдет, и сразу видно будет, что за птица эта самая практикантка.

Работа закипела. Собственно, работала одна Валя, а Луков лишь для вида обмахивал карбюратор и наблюдал.

Движения девушки были быстрыми, сноровистыми, хотя и не всегда тóчными. Луков удовлетворенно гмыкнул. На какую-то секунду он даже пожалел, что так вот, ни с того ни с сего, устроил этот экзамен: сколько Валя ни береглась, а два пятна все же посадила на свое светлое платьице. Однако вслух безжалостно проговорил:

— Жидковаты у тебя руки-то. Видишь, почти любую гайку я после тебя еще пол-оборота легко дотягиваю. Что же мне, за тобой ходить да гайки довинчивать?..

Валя беззащитно взглянула на Лукова и виновато потупилась, забыв про свое измазанное платье, которое только что оглядывала. Эта беззащитность сразила Лукова, он почувствовал, что переборщил. Хотелось погладить девушку по голове и сказать что-нибудь ласковое, ободряющее. И он сказал:

— Ладно... В общем, ничего... Ты не... не это самое, одним словом... Кронштейн закрепила? Вот и хорошо. Опробовать сейчас не будем, в следующий раз. Прибери инструмент, и на этом кончим.

Валя живо раскрыла инструментальный ящик и начала складывать туда ключи, предварительно протерев их. А Луков — хотел он этого или нет — опять строго следил за ее действиями.

«Протирает — значит, любит порядок. И кладет все на свои места... Взяла цепь Галля. Положила. И — хоть бы что. Словно это пучок ржавой проволоки, а не та самая цепь, за которой я два дня к инженеру на поклон ходил. Вот что значит прийти на готовое, ничто не ценится!..»

— А что у вас здесь, Иван Тимофеич? Нужное или...

— Да оно как сказать... и нужное и...

Уже не первый год идет у Лукова этакое негласное соревнование с лучшим комбайнером колхоза Федором Глущенковым. И Федор все как-то ухитряется обгонять его. Хоть не намного, хоть на самую малость, а обставит. В этом году Луков дал себе клятву во что бы то ни стало утереть нос сопернику. Но хоть поклялся он вроде бы самому себе, а каким-то образом это стало известно редактору колхозной стенгазеты, и тот упросил его «сочинить по всей форме договор на соревнование». Луков сочинил, а сразу отдать редактору свое сочинение как-то не удосужился и, чтобы не измять да не замазать листок по карманам, сунул его в угловую ячейку инструментального ящика. Его сейчас и нашла Валя.

— Оно, может, и не так уж нужное,— повторил в нерешительности Луков,— а все же... Да ты почитай. Тебя это теперь тоже вроде бы каким-то боком касается.

Валя внимательно прочитала договор.

— Ну и как? — спросил Луков.

— Хороший договор,— не совсем понимая, чего от нее хотят, ответила Валя.

— Хороший!— криво усмехнулся Луков, подумав про себя: будто о стихотворении Пушкина идет речь.— Я про суть. Рука не дрогнет под таким договором подписаться?

— Нет. Я бы подписалась,— с готовностью и, как показалось Лукову, с излишней поспешностью откликнулась Валя.

— Ну, смотри! Потом чтобы не пищать,— Луков сказал это почти с угрозой.— Вот карандаш — подписывайся... да не здесь, здесь начальник агрегата, то есть я буду подписываться, а ты немножко пониже бери. Вот так.

Валя подняла на Лукова свои синие, чуть обиженные глаза и тут же опустила, глубоко вздохнув.

«Боже ты мой! Серьезного слова сказать нельзя».

— А у тебя небось и комбинезона-то нет? — вдруг спросил он, взглянув на плечо Вали, где красовалось масляное пятно.

— Не-ет,— несколько растерянно призналась Валя.

— Вот видишь,— осуждающе проговорил Луков, будто отсутствие комбинезона у Вали было чем-то вроде физического или какого другого недостатка и имело прямое отношение к подписанию договора.

Луков отошел к хедеру, развязал лежавший у ветрового щита вещевой мешок, достал новенький, с иголочки комбинезон.

— На вот. Не для тебя, конечно, берег... Нет, я в смысле размера: великоват тебе немного, но ничего, ушьешь — будет как раз.

— Спасибо, Иван Тимофеич,— просто и как-то очень хорошо сказала Валя. Так хорошо, что если бы у Лукова был второй комбинезон, наверное, он бы и его не пожалел.

— Не на чем. Задача у нас с тобой такая, чтобы спасибо от колхозников заработать.

— Я понимаю задачу, Иван Тимофеич.

— Хорошо, коли понимаешь.

В первый раз за этот день Луков скупо улыбнулся и спокойно, без помехи, покрутил свои будущие усы. Во всяком случае, Валя не подала виду, что заметила этот мальчишеский жест своего строгого начальника.

3

Наступило время жатвы.

Разливной простор золотисто-желтых полей распался на огромные квадраты и прямоугольники: вчера еще дремотно-безмолвные поля наполнились гулом человеческих голосов, стрекотом, фырканьем, грохотом машин. Зеленые ленты молодых лесополос, похожие раньше на еле заметную оторочку, теперь после первых обкосов комбайнами стали отчетливо заметны, будто подросли на глазах. На стыках участков появились тока, к ним и от них засновали люди, подводы, автомашины. В жарком и пыльном воздухе полевых дорог родился новый запах — запах молодого жита.

Комбайн шел первый круг.

Орудуя штурвалом, Луков жадно вдыхал чуть тепловатый запах свеженамолоченного хлеба. На душе у него было по-праздничному торжественно. Он и штурвал держал истово, как древко знамени.

Первому заезду Луков придавал очень большое, прямо-таки решающее значение. Он как бы задавал тон всему рабочему дню. Что же остается после этого говорить о первом заезде уборочного сезона!

Сейчас комбайн доходил первый круг без единой

остановки. Бункер был уже почти полным. И хотя старенькая полуторка и подводы-бестарки шли следом, Луков на вопросительный взгляд Вали: не пора ли выгружаться? — ничего не ответил. Хотелось дойти первый круг до конца.

Последний поворот. Луков просигналил остановку, а по окончании выгрузки не только не повел машину дальше, чего с нетерпением ждала Валя, а заглушил мотор и пошел к шоферу закуривать. Валя проводила его таким недоуменно-осуждающим взглядом, что он даже спиной чувствовал этот взгляд, пока сходил с мостика.

Курили не спеша, смакуя каждую затяжку.

— А теперь проверь, как чувствуют себя планки главного полотна, заново отрегулируй натяжку,— сказал Луков Вале, аккуратно заплевал окурок и полез в приемную камеру молотилки.

Уже оттуда, осматривая зубья барабана, как бы между прочим сказал:

— Оно, конечно, самое дорогое на уборке — это время. И экономить мы его должны безо всякой к себе пощады, каждую минуту на учет брать. Но только экономия бывает разная. Ты вот чуть не плачешь, что целых полчаса потеряли, мол, ни за что ни про что. А зря. Машина-то после ремонта, части еще не приработались, греются. Дай им остыть, подрегулируй лишний раз. И не надо этого часа жалеть — он тебе потом добрых десять сэкономит... Теперь иди проверь подшипники соломенного транспортера, а валик я сам поправлю... Это ведь только плохой комбайнер останавливает машину, когда она уже сама вот-вот встанет. Запомни: только самый никудышный комбайнер так делает. Настоящий комбайнер, комбайнер высокого класса не должен позволять технике командовать над собой. Он останавливает машину по своему собственному усмотрению, когда это ему требуется. Он не ждет остановок машины, а предупреждает их. Федор Глущенков, например, работает так. Мы с тобой должны работать не хуже... Ну, а теперь подтяни еще вот эту цепь, и поехали! Становись сюда... да, да, к штурвалу. Думала, я не раньше как через неделю его доверю. Не угадала.

Валя подошла к штурвалу и, затаив дыхание, опустила руки на горячее колесо.

— Этот круг будешь только держаться за штурвал,

а управлять им буду я. Смотри во все глаза. Нет, не на штурвал, а на нож. Штурвал надо чувствовать руками, глядеть на него нечего. На третьем кругу я буду только стоять рядом, а управлять будешь сама, на пятом совсем уйду с мостика. Ясно? Включай. Включай медленно, плавно, а не рывком. Вот так. Волноваться не надо.

Луков положил свою широкую ладонь на дрожащую от волнения руку Вали. От прикосновения его рука тоже вздрогнула, но девушка, конечно, не заметила этого. Так, вдвоем, они подключили комбайн к мотору. Агрегат тронулся.

И второй и третий круг Валя проехала как в тумане. Голова горела, дыхание было неровно, точно не хватало воздуха. По временам ей казалось, что нож косилки зарылся в хлеб так глубоко, что вот-вот уткнется в землю, или, наоборот, поднялся настолько, что срезает лишь одни колосья. В таких случаях надо резко и быстро орудовать штурвалом: резкий поворот влево, вправо. Но каждый раз получалось так, что руки ее вместо резкого и большого поворота делали медленный, ровный и очень маленький, и каждый раз оказывалось, что этого незначительного поворота штурвала для зарывшегося ножа вполне достаточно. Ее сила натыкалась на силу железных рук Лукова и подчинялась ей. Мало-помалу эта спокойная сила стала как бы переливаться в ее собственные руки и становиться ее силой.

А у Лукова к праздничному настроению первого дня прибавилось еще что-то новое. Раньше ему и в голову не приходило, что обучение молодого неопытного штурвального может доставлять прямо-таки истинное удовольствие...

Когда агрегат перешел уже на вторую скорость, треснула и оборвалась планка питательного транспортера.

При серьезных поломках Луков обычно делал так. Заглушив мотор, он, казалось, с удовольствием крякал, садился на раму и не спеша закуривал. Сделав несколько затяжек, так же неторопливо начинал осматривать, ощупывать рабочие узлы, затем опять садился на раму и тогда только принимал решение. Категорическое и для всех своих помощников — будь то возчики или, как вот сейчас, практикант — окончательное: ты сними это, ты беги туда-то и принеси то-то. За медлительность в исполнении его приказаний Луков беспощадно взыскивал.

Сегодня пока ни одной серьезной поломки не произошло. Обрыв планки — это такие пустяки, что тут даже и покурить толком нельзя.

Менять планку Луков заставил Валю.

— Засекаю время,— предупредил он ее в начале работы.

А когда планка была поставлена, опять посмотрел на часы и подытожил:

— Плохо. Спешить — это еще не значит делать быстро. Как раз наоборот. На такую работу у тебя должно уходить времени вдвое меньше. Ну и, конечно, не при таком качестве. Что это? Заклепка же полетит через десять метров. Надо вот как... Это называется заклепать наглухо, намертво. Ясно?.. Поехали!

Однако агрегат не прошел и десяти метров, как его пришлось останавливать. В барабане подозрительно звякнуло что-то железное. Оказалось, туда попал длинный гвоздь.

— Откуда гвоздь? — грозно нахмурившись, спросил Луков.

— Это я... наверное, я в приемной камере забыла, когда...— Валя так и не договорила, виновато наклонив голову.

Ее оплошность могла обойтись довольно дорого. Гвоздь мог погнуть зубья барабана, попасть в очистки, шнеки, из-за него, в конце концов, могла оборваться цепь Галля... У Лукова даже мурашки по вспотевшей спине побежали. Нет, таких вещей допускать никак нельзя! Этак, черт возьми, она завтра плоскогубцы забудет, а послезавтра... Вот уж воистину: девичья память! Да ясно ли она представляет, что мог наделать с машиной этот проклятый гвоздь?!

И Луков уже хотел перечислить все возможные последствия такой непростительной забывчивости, как вдруг встретился глазами с Валей и понял, что все это она представляет так же ясно, как и он сам. И словно на ровной дороге споткнулся.

— Бывает...— невнятно пробормотал он только одно слово.

Валя что-то хотела сказать, но не сказала, а лишь вздохнула с облегчением, и глаза у нее, еще секунду назад угрюмые и настороженные, засияли и стали влажными.

К счастью, гвоздь серьезного ущерба не нанес. Комбайн снова двинулся и уже не останавливался почти до самого вечера.

Беда пришла с другой стороны, и как раз с той, откуда Луков меньше всего ее ожидал.

Для отвозки зерна колхоз выделил полуторку и четыре бестарки. С утра весь этот транспорт не только успевал за комбайном, но даже еще и простаивал. Когда хлеб хорошо просох и агрегат перешел на вторую скорость,— простои прекратились, все вошло в норму. После обеда Луков еще прибавил скорости, и для выгрузки зерна остановок уже не делал. Ребятишки-возчики подхлестнули лошадей, шофер прибавил газу, и опять все шло, как надо. Но вот — на тебе! — не то на пятом, не то на шестом заезде возле комбайна с переполненным бункером не оказалось ни одной лошади. Появились они лишь через добрых полчаса.

Луков с ожесточением длинно сплюнул.

— Да,— тихо сказала Валя, будто в чем соглашаясь с Луковым.— Тут надо иначе, тут надо перестраи...

«Ах, уж лучше бы молчала! — Луков так посмотрел на помощницу, что та осеклась на полуслове.— Перестраивать! Прежде чем перестраивать, надо хоть что-то построить...»

Обычно даже в самые урожайные годы колхоз давал под комбайн, кроме автомашины, не больше трех бестарок. Луков настоял, чтобы в этом году прибавили еще одну. По его расчетам, четвертая подвода должна была полностью гарантировать отвозку зерна. И вот она, эта гарантия!..

С заходом солнца хлеб начал влажнеть, и Луков с третьей скорости перешел снова на вторую, и до самой темноты, если не считать короткой остановки из-за разладившегося копнителя, опять все шло хорошо. Однако праздничное настроение было испорчено. «В чем дело? В чем просчет? И вообще — как будет дальше с этой, будь она неладна, отвозкой?» Все эти вопросы не выходили у Лукова из головы.

Начало темнеть.

Сразу же после остановки комбайна Луков отправился на ток, чтобы лично проверить дневной выход зерна из бункера. Оказалось, что, определяя урожайность, они с бригадиром просчитались. Просчет был значитель-

ным: каждый гектар давал на два с половиной центнера больше, чем они предполагали. А если учесть, что за сегодня было скошено десять гектаров, то общее количество «сверхпланового» зерна равнялось пяти-шести возам.

«А что, если я завтра скошу пятнадцать, а послезавтра двадцать гектаров, тогда как? — спрашивал себя на обратной дороге Луков.— И ладно бы возчики плохо работали. Нет! Ребята шустрые, и затариваются умело, и порожняком оборачиваются быстро...»

Ночь опускалась медленно, плавно, словно боялась спугнуть тишину завечеревшей степи. Воздух густел, как бы пропитываясь темнотой. И накатанные колеи дороги, по которой шел Луков, и линия, отграничивающая скошенное поле от нетронутого, и кучи соломы на жнивье — все предметы и их очертания, постепенно смягчаясь вблизи, окончательно расплывались, таяли в сумеречной дали. Звуки, днем идущие низко по земле, перемешиваясь, нагромождаясь друг на друга, сейчас были настолько четкими, отделенными один от другого, что казались взвешенными в воздухе. Где-то далеко поуркивал трактор, с тока долетал стук веялок и усталые мужские голоса, а над всем этим плыла задумчивая и тихая, как дыхание самого вечера, девичья песня:

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко,
Что ты девушкам спать не даешь...

Небо все ярче и ярче разгоралось звездами. И так хорошо, так красиво кругом было, что Лукову казалось: невидимая девушка идет где-то недалеко, рядом и поет про него, поет ему:

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко...

Стемнело совсем, когда Луков вернулся к комбайну.

Еще издали он заметил под копной соломы рядом с комбайном два красноватых огонька. Огоньки коротко чертили темноту, то потухая, то снова разгораясь — будто кто дул на них. Должно быть, под копной сидели ребята, работавшие на копнителе, или возчики зерна. Луков хотел было крикнуть, чтобы осторожнее обращались с огнем, но вдруг услышал в доносившемся от копны разговоре свое имя. Приглушив шаги, он подошел с другой стороны и, стараясь не шуршать соломой, сел.

— ...это только по доброте своей Иван Тимофеич уши вам не надрал,— говорила Валя.— Будь я на его месте... Вас куда поставили? На механизм... Да, да, копнитель тоже механизм, и за ним надо глядеть. Солома аж под самый транспортер набилась, а они, вместо того чтобы отвалить ее, ворон считают. Это же смешно, чтобы из-за соломокопнителя, из-за вашего ротозейства весь агрегат простаивал...

Луков был просто поражен и тем, что говорила Валя, и особенно ее строгим, сердитым тоном. Это было так непохоже на его помощницу!

— Теперь дальше,— продолжала Валя.— Вашей работой, возчики-извозчики, Иван Тимофеич тоже недоволен. Ну, что это за работа? А ведь ты, Петро и ты, Илья, уже не первый год работаете.

— Не первый,— хмуро откликнулся не то Петро, не то Илья.

— Вот и я говорю. Но только не забывайте, что работали вы у комбайнеров, которые... ну, сказать по-другому: у вас чуть неуправка, а тут как раз и комбайн остановился, есть возможность нагнать. Проработал два-три часа — глядишь, опять остановка, опять лишнюю ездку можно сгонять. А Иван Тимофеич — это хоть у самого инженера спросите,— Иван Тимофеич комбайнер высшего класса, никаких остановок, кроме тех, что графиком предусмотрены, он делать не будет, так себе и зарубите... Вы помните, чтобы в первый же день, да еще при таком сильном хлебе по стольку скашивали?.. А-а, то-то и оно, что не приходилось. А ведь это еще так, это еще мы на полную мощность не развернулись. А ну-ка, завтра-послезавтра полным ходом пойдем, по ночам работать будем...

— Так что ж нам теперь, лошадей запалить, что ли? — опять недовольно проворчал кто-то из возчиков.

— Ты, Илюшка, дурачком не прикидывайся и других дурней себя не ставь,— резко ответила Валя.— Ты думаешь, я не знаю, из-за чего мы сегодня простояли с полным бункером? Думаешь, я не заметила, что ты свою очередь пропустил, проболтался где-то, а вместо тебя приехал уже Петро?

«Вот так шустрые ребята! — усмехнулся Луков.— И как только все это я сам проглядел?»

— Я не виноват, что Зинка-весовщица куда-то отлучалась. Вот и задержался,— хриповатым ломким баском оправдывался Илья.

— Насчет Зинки мне известно, и послезавтра на комсомольском собрании за эту отлучку ей будет. Но то разговор особый. А вот что вы ездите как попало, что у вас самой простой очередности нет — это уже безобразие. А что, если с автомашиной что-нибудь случится, остановка какая-нибудь непредвиденная на полчаса, тогда как? Думали вы об этом?

Возчики пробормотали в ответ что-то невнятное.

— А зачем, спрашивается, у вас голова, если вы ни над чем не думаете? Совсем лишняя вещь — вот что получается. А я вам еще раз повторяю: с таким комбайнером, как Иван Тимофеич, бездумно работать нельзя. Он вас завтра же отстранит от агрегата. Какой ни добрый, а простаивать по вашей милости не будет. Потому что самое дорогое на уборке — время.

Лукову хотелось видеть Валю, видеть ее лицо, ему прямо-таки не верилось, что все это говорила она.

— И последний вопрос, а потом уж и спать. В часы ухода за машиной мы с Иваном Тимофеичем рвемся, в трое рук работаем, а вы со своих тележек смотрите, и хоть бы что.

— Так мы ж ничего не понимаем в технике,— укоризненно, почти с обидой ответил кто-то.

— Ну и что? Чай, вас никто и не заставляет регулировку комбайну делать. А вы так: агрегат остановился — вы скоренько по пучку соломы в руки и всю пыль с цепей, с шестеренок обмахните. Тогда Ивану Тимофеичу сразу и видно, где что сделать надо: где смазать, где подрегулировать. А будете интерес к машине проявлять — он вам и смазку может доверить, он вас и научить многому может...

Все огорченья истекшего дня куда-то отодвинулись, ушли, к Лукову опять вернулись радость и спокойствие. Опять думалось, что уборка началась хорошо и все идет как надо, все идет правильно.

Разговор по ту сторону копны постепенно затихал. Теперь уже слышались только отдельные фразы. Вот что-то спросил один из возчиков, и Валя ответила:

— Да нет, уж вы точно, без никаких. А то Иван Тимофеич так не любит. У него чтобы все было точка в точку.

Вот еще кому-то сказала Валя:

— Иван Тимофеич не согласится...

И было немножко смешно, что она так вот, запросто говорит от его имени. И еще было ново и радостно слышать в этой темной ночи ее чуть торопливый, ни на чей не похожий, волнующий голос...

Утро занималось свежее, насквозь розовое и чистое, без единого облачка.

Сонные поля, лесополосы по их краям, пустые, еще безлюдные дороги — все было ярким, как не успевшая высохнуть акварель, все блестело от росы. Было тихо, но это была не вечерняя, прозрачная, а густая, устоявшаяся тишина, и она скрадывала, глушила звуки.

Солнце еще не показывалось. Лишь край неба, где оно должно взойти, все больше и больше желтел, потом начал розоветь, опять зажелтел, только теперь уже другой, более яркой и густой желтизной: к этим двум краскам прибавилась еще одна — сиреневая, еще, еще... И все жарче и жарче становилось в том месте, все резче обозначался горизонт.

Луков потянулся до хруста в суставах, длинно всласть зевнул и подошел к спящим по другую сторону копны.

Ребятишек-возчиков уже не было, они, должно быть, еще ночью ушли в деревню. Валя спала почти в обнимку с девчонкой, работавшей на копнителе.

Проснулась Валя, как только Луков подошел к комбайну и загремел инструментом. Проснулась, тряхнула головой и, увидев Лукова у машины, сразу же вскочила.

— Ну заспалась совсем,— смущенно улыбаясь, проговорила она, будто извиняясь за свою слабость.

— Ничего, успеется,— добродушно откликнулся Луков.— Ночь нынче росная, все равно раньше как через час не начнешь.

После тщательного осмотра комбайна начали работу. Солнце уже взошло и все кругом пробудило своим светом. Еще час назад сонные поля ожили. Пропылила автомашина, пешком и на подводах, группами и в одиночку задвигались по дороге люди.

Луков искоса, незаметно поглядывал на Валю и удивлялся, что ничего нового не находил в ней, все было так, как вчера и позавчера. После того что он вечером слы-

шал, все-таки это было удивительным. И чтобы хоть как-то увидеть новое в Вале, он в конце концов решился сам намекнуть на вчерашнее.

— Вчера я спать ложился, у тебя тут с ребятами вроде какой-то разговор был?

— А-а, да,— ничуть не смутившись, ответила Валя.— Про работу нашу разговор был,— и кивнула на хедер.— Вот же, упал хлеб на полотно, с полотна пошел в барабан, оттуда на очистки, с очисток по шнекам в бункер. И все — одним сплошным ручьем, одним потоком.— Валя передохнула, так как приходилось кричать, чтобы быть услышанной.— Ну вот, я им и говорила, чтобы и дальше таким же потоком хлеб шел: из бункера на весы, с весов на досушку, оттуда на элеватор.

Луков молчал. Впервые речь Вали была такой многословной. А Валя, надо думать, по-своему истолковав его молчание, добавила:

— Вы, Иван Тимофеич, не сомневайтесь. У нас ребята понимающие и к вам большое уважение имеют. Справятся.

Затем доверительно сообщила:

— А Глущенков-то вчера, говорят, пятнадцать гектаров выжал. Правда, намолот у него намного ниже нашего...

«И откуда только все ей известно!»

— Как думаете, Иван Тимофеич, нагоним его? А?

— Я думаю, что нагоним.

«И чего это далось ей: Иван Тимофеич да Иван Тимофеич. Чай, можно бы и попроще, Ваней бы хоть, что ли, или еще как на это похоже. Небось и старше-то ее на каких-нибудь три-четыре года».

Солнце поднималось все выше. Хлеб окончательно просох. Чутьем опытного комбайнера Луков определял это, не слезая с комбайна, по одному звуку барабана.

— А ну-ка, прибавим скорость!

Комбайн тронулся дальше по хлебному морю, чуть покачиваясь, как на волнах. Молодое жито текло в бункер беспрерывным потоком.

ШУРА

•

1

Алексей хмурился и молчал, глядя то на край светло-сизой тучи, выплывавшей из-за леска, то на дорогу, по которой быстро уходила Шура.

Вася Смолкин, сидевший на колесе полевого вагончика, сделал неспешную затяжку, так же неспешно, с придыхом выпустил дым и сказал осуждающе:

— А зря ты, Алеша, вот так-то на нее. Шура не такая уж и плохая девка.

Алексей еще раз внимательно, словно проверяя правильность сказанного, посмотрел вслед Шуре и ничего не ответил.

— Правда, не больно красива,— продолжал Вася,— но деловая, принципиальная...

— Даже лишку,— сердито бросил Алексей.— Лезет не в свое дело.

...В июне у трактористов что-то вроде передышки. Горячая пора сева кончилась, а столь же горячая уборочная страда еще не наступила. В июне главная забота — готовить под озимый сев паровое поле (недаром это время трактористы зовут междупарьем).

И вот, чтобы работа на парах не подступила впритык к уборке, чтобы был какой-то запас, Алексей решил не оттягивать с культивацией и вывел машины на поле. Но едва они сделали по первому гону, как на стан скорым своим шагом пришла Шура. По одному виду ее Алексей понял, что пришла она неспроста. Шура сказала, что с культивацией не мешало бы денек-другой повременить.

— Из каких же это соображений? — спросил Алексей.

— Из агрономических, конечно,— ответила Шура.— И сорняков на пару́ проросло еще мало, и погода стоит сухая, культивацией только почву распылим.

«Опять она со своей агрономией! — Алексей нахмурился.— А что до уборки остается какая-нибудь неделя

и одна работа на другую может наехать — это ее мало беспокоит».

И в самом деле, на этот его довод Шура спокойно ответила:

— Но ведь предыдущую культивацию вы за шесть дней провели.

— Мало ли что за шесть дней,— резко сказал Алексей.— Может, эту мы и за пять проведем. Да только — как я понимаю — твое ли дело учитывать работу трактористов? На это у них есть бригадир.

И тут произошло нечто необычное и не совсем понятное. Шура не стала спорить, а неожиданно для Алексея вдруг тихо и почти сквозь слезы проговорила:

— Ах, какой ты тяжелый человек, Алеша! — рывком повернулась и ушла.

Алексей растерялся. «Что с ней? С чего бы это она вдруг со мной так заговорила?..»

Между тем Шура уже с дороги обернулась и крикнула:

— Нынче вечером комсомольское. Не забыл?

— Не забыл!

Алексей понял, что хотела сказать этим Шура, и прежнее раздражение снова овладело им. В сердцах он запустил под вагончик старый поршень, который крутил в руках во время разговора, и начал приглядываться к туче, медленно выползавшей из-за леска.

На стан приехал возчик горючего, он же, по совместительству, и ночной сторож Еремеевич. Вася пошел помочь ему скатить бочки.

Еремеевич отпряг лошадь, пустил ее на траву и, потирая колени, присел около вагончика. Старик давно страдал ревматизмом и, несмотря на июньскую жару, обут был в высокие валяные опорки.

— Не иначе, как дождь будет,— вытаскивая кисет, проговорил Еремеевич.— И тут, и поясницу дюже ломит.

Алексей еще раз оглянулся на тучу. Она уже вся вышла из-за леска, но совсем непохоже было, что из нее может пролиться дождь. Она теперь даже и не сизая была, а просто немного голубая, кое-где просвеченная солнцем.

— Какой там дождь! — сказал Алексей.— Из таких туч дождя не бывает. Барахлит твой барометр, дед.

— А я тебе говорю — быть дождю,— упрямо проворчал Еремеевич.

Алексей зашел в вагончик, связался по рации с диспетчером и, узнав, что соседние бригады культивацию еще не начинали, направился к тракторам.

В одном месте дорога шла мимо участка яровой пшеницы.

Это был памятный для Алексея участок. Когда его готовили под посев, произошла не совсем приятная история. По халатности тракториста Виктора Одинцова участок по одному краю был вспахан с огрехами. Шура, конечно, потребовала переделать работу. Обидно было из-за перепашки терять первенство, но — ничего не попишешь! — пришлось подчиниться.

В глубине души Алексей и сейчас признавал правоту «агрономических соображений» Шуры. Но его задевало, что она, не понимая в машинах, в технике, самонадеянно берется судить и рядить работу тракторной бригады. «За шесть дней!» Будто это так просто! А если у меня вдруг машина вышла из строя, поломка какая случилась — разве это такая уж редкость в нашем деле? И разве я не должен иметь в запасе хотя бы день на тот случай?..

«Тяжелый человек!» Ты больно легка... Без году неделя, как окончила свой техникум, а уже мнит себя академиком...

На ближней к стану машине работал Виктор Одинцов.

Алексей подождал Виктора на конце участка, а когда тот подъехал, дал знак остановиться. Агрегат стал, проступая, как на негативе, из облака медленно оседавшей пыли.

— Ну, как оно? — зачем-то спросил Алексей.

Виктор в ответ лишь поскрипел зубами и длинно сплюнул. Темно-синий комбинезон его был серым, лицо выглядело чужим, бутафорским.

Алексей подошел к мотору и поднял капот. Все кругом покрывал толстый пушистый слой пыли. Она залепила карбюратор и магнето, одела непроницаемой шапкой стеклянный отстойник.

— Н-да, работка,— проворчал Виктор.— Как говорится, и не пыльная и денежная.

Он достал из нагрудного кармана пачку «Севера» и прямо зубами, чтобы не грязнить мундштук, выдернул папиросу.

— Да! Все забываю.— Виктор помахал вытащенным вместе с папиросами синим конвертом.— От Галинки письмо. Скоро обещается приехать сестренка. Тебе, конечно, привет.

Алексей, как бы пропуская мимо ушей последние слова Виктора, сказал:

— А и верно, пожалуй: работать в такую пылищу — не дело. И машине плохо, и... вообще не мешает денек-другой обождать. Глуши!

2

Когда вечером за ужином Шура начинала обдумывать свое выступление на комсомольском собрании, все получалось очень хорошо и складно. «Производственные показатели,— скажет она,— это еще не все. Да, мы судим о человеке по его работе, но если этот человек игнорирует агротехнику, если он...» — и так далее, в таком же серьезном духе. Это вступление. А дальше она расскажет о сегодняшней стычке с Алексеем, и все согласятся с ней и осудят его. Все правильно, все ясно. Но как только Шура в мыслях доходила до конца разговора с Алексеем, до того момента, когда она чуть не расплакалась, все начинало мешаться, и даже прекрасное вступление становилось глупым и никчемным. «Производственные показатели!» При чем тут производственные показатели, когда человек разговаривает с тобой и никого-ничего, кроме новоиспеченного агронома, в тебе не видит. Что там не видит! Он и не смотрит совсем, ему, видишь ли, ржавый поршень разглядывать интереснее...

Так Шура и не смогла определенно решить, будет ли выступать на собрании, а если будет — о чем именно ей следует говорить.

По дороге в клуб она встретила учетчика Смолкина. Тот сказал, что культивацию Алексей приостановил.

Это Шуру окончательно сбило с толку. Теперь она уже и совсем не знала, что думать об Алексее, как доказывать его «игнорирование агротехники».

Села Шура в уголок, нарочно позади Алексея, чтобы он не видел ее. Но получилось так, что она сама все время смотрела на Алексея и от этого никак не могла собраться с мыслями, сосредоточиться. А один раз Алексей оглянулся, и она, не успев отвести взгляда, в упор

встретилась с ним глазами. После этого впору было хоть совсем уходить с собрания, но оно, к счастью, скоро кончилось. Шура первой выбежала из клуба и некоторое время постояла у палисада, поджидая.

Нет, следом за ней никто не вышел. Алексей стоял у окна и, озабоченно хмурясь, разговаривал о чем-то с Васей Смолкиным. Наверное, о керосине, автоле, запчастях — ничего важнее этого для него не существовало на свете...

Шуре стало так горько, что слезы разом брызнули из глаз, и Алексей с Васей потонули, словно в тумане.

В коридоре послышались голоса. Глотая слезы и смахивая их прямо рукавом, Шура быстро пошла, почти побежала домой.

3

Придя из клуба, Алексей долго не мог заснуть.

Было жарко, душно. Воздух за вечер хоть и успел немного запрохладнеть, но дышалось тяжело, как перед грозой.

А может, и потому не спалось, что нет-нет да и вставала вдруг перед глазами Шура. Исчезала Шура — письмо от Галинки на память приходило...

Странное дело! До седьмого класса вместе с Галинкой учился Алексей, не раз за одной партой сидеть случалось, а вот как-то не замечал он эту самую Галинку. Заметил только прошлым летом, когда вместе из райцентра домой шли. Галина возвращалась из Горького, куда ездила сдавать вступительные экзамены в институт. Она рассказала, как здорово отвечала на всякие каверзные вопросы, как один экзамен сдала «с шиком», а на другом чуть не провалилась, но все же «выплыла».

Алексей слушал ее и думал: «А ведь она уже совсем взрослая стала, совсем невеста. И когда только успела вырасти. Красивая к тому же...»

На другой день они встретились в клубе. Как обычно, пели, танцевали, а потом, не уговариваясь, пошли на околицу, к речке, что пряталась в косматых ветлах. Остановились у старой разлапой ветлы и долго глядели на таинственно-красивую, посеребренную лунным светом реку.

Галина была в белом платье, с широким белым бан-

том в косах. Она стояла, прислонившись к ветле и чуть склонив набок голову. Руки ее были закинуты назад, и круглые, как яблоки, груди резко обозначились под тонким платьем.

Пахло речной сыростью, палым листом, огуречниками с огородов. По временам где-то ниже по течению сонно вскрикивала ночная птица. Лунный свет пробивался сквозь ветви и синеватыми бликами ложился на платье Галины, на ее лицо.

Алексею хотелось сказать что-то большое, значительное. Но ничего подходящего в голову не приходило. Да и разговор шел все как-то больше о прошлом или о будущем и совсем не касался настоящего.

Как знать, может, он и не придал бы особого значения ни этой, ни еще двум-трем встречам с Галиной, если бы та вскоре не уехала. В воспоминаниях же эти вечера чем больше отдалялись, тем приобретали все бо́льшую значимость. И вот скоро они увидятся. Как-то все это будет!..

Не спалось. На сердце было так беспокойно, как еще, кажется, никогда не бывало.

Алексей решительно поднялся и пошел в степь.

Было тихо, беззвучно, как бывает только ночью в степи. Глухая тишина обнимала и дорогу, и поля, и все кругом. Волнами наплывали запахи трав и спеющих хлебов, то смешиваясь друг с другом, то отделяясь.

Хорошо ночью в степи! Будто один на один остаешься вот с этим огромным звездным небом, со всем миром. И дышится легко, и мысли приходят большие, широкие, и текут они плавно, спокойно.

На стане бригады, видный еще издалека, мерно разгорался и притухал красный огонек.

— Ты, Алеха? — раздался голос Еремеевича.

Алексей вздрогнул. Он знал, что старик обладал даром безошибочно угадывать людей в темноте, и все равно каждый раз это получалось неожиданно.

— Не спится? Это бывает...— Еремеевич затушил о стенку вагончика самокрутку и начал собирать постель, на которой сидел.— Пока не поздно, надо убираться.

— Куда? Зачем? — не понял Алексей.

— Известно куда — в вагон, в первый класс,— невозмутимо ответил дед.— Что за интерес на дождю мокнуть.

— Какой дождь? Где?

— Сейчас, поди, над Крюковом идет, а вскорости и до

нас достанет.— Еремеевич с кряхтеньем поднялся по ступенькам и вошел в вагончик.

Теперь только Алексей заметил, что в воздухе стало свежо и шумно. Рванул неизвестно откуда взявшийся ветер, свалил с керосиновой бочки воронку, погромыхал ведрами, пошуршал брезентом и снова умчался в степь. Через минуту вернулся, похозяйничал на бригадном стане более основательно, словно разведывая и очищая дорогу дождю, затем коротко и пронзительно свистнул антенной на крыше вагончика, и почти вслед за этим свистом пришел дождь — сначала редкий, но с каждой секундой нарастающий, проливной.

Алексей вошел в вагончик, лег и под мерный шум воды тут же заснул.

4

После дождя снова ударило солнце, и вдосталь налившиеся хлеба теперь дозревали быстро, прямо на глазах. Не сегодня-завтра можно было начинать косовицу.

Алексей вместе с Шурой и комбайнером осматривали хлеба. Каждого интересовало свое: комбайнера — рельеф поля, Шуру — урожайность, Алексея — сроки созревания полей, очередность их уборки.

Впрочем, сегодня Алексей все как-то забывал про свой деловой интерес. Подойдя к какому-нибудь полю, он просто стоял и любовался высокими хлебами или вспоминал, как на севе вот на этом конце участка он разговаривал с Шурой — кажется, о том, чтобы не опаздывали с подвозкой семян... А вот на том поле, в еле видном отсюда овражке, они пили листом мать-мачехи родниковую воду — такую студеную, что от нее ломило зубы. Алексей тогда еще под веселую руку плеснул Шуре за воротник кофточки целые пригоршни. Она вскрикнула от неожиданности, но ничуть не обиделась: глаза у нее были смеющиеся, счастливые...

Получалось так, что каждое поле было обязательно чем-то связано с Шурой, и это было в общем-то естественно и понятно и в то же время удивительно. Каждый памятный случай виделся теперь Алексею словно бы в новом свете, какой-то новой своей стороной.

Шура с комбайнером, шедшие немного впереди, по-

равнялись с участком, который в свое время пришлось перепахивать.

«Вспомнит или не вспомнит про перепашку?»

Шура вспомнила.

— На этом поле надо держать ухо востро,— сказала она комбайнеру,— не то...

— Что «не то»?

Шура охотно объяснила: участок был вспахан с огрехами, после перепашки получились гребни — на них, того и гляди, нож полетит.

Алексею хотелось одернуть ее, сказать, чтобы она не очень-то распространялась насчет того, полетит или не полетит нож,— это им, механизаторам, знать лучше,— но он сдержался.

Шура, если уж говорить начистоту, была права: убирать такой участок комбайном — дело каверзное. Чтобы не оставлять колосьев в ложбинах, надо держать хедер на низком срезе, но тогда ножик в два счета может зарыться в землю.

— Вот что: не будем горячиться и гадать,— примирительно сказал Алексей.— Насчет этого участка надо подумать. Я беру это на себя.

— Что ж, ладно,— ответила Шура.— Но только чтобы никаких потерь! Потерять хлеб — самое легкое, трудно его вырастить...

Это был последний участок. Комбайнер ушел в село. Алексей с Шурой остались одни. Им еще надо было оформить акты на культивацию.

Дорога к бригадному стану шла вдоль лесной полосы. Невысокие, но уже крепкие деревца стояли ровными рядками и о чем-то тихо перешептывались друг с другом. Солнце было уже высоко, а от полосы все еще веяло утренней свежестью. Слабый ветерок забегал то с одной, то с другой стороны, уносился в хлеба и, поволновав их, возвращался на лесную полосу и снова затевал игру с листвой молодых дубков и ясеней. А вот он так разошелся и осмелел, что сдернул с плеч Шуры легкую косынку и накинул ее на молоденькую березку: а ну-ка, мол, пойдет она тебе или не пойдет. Алексей подобрал косынку, некоторое время подержал ее в руках, а потом протянул Шуре. Та косвенно, мельком взглянула на него и так же, как тогда на собрании, густо покраснела. Смущение Шуры передалось и Алексею, и он поспешил вы-

тащить папиросу. Когда куришь, как-никак находишься при деле и от этого чувствуешь себя свободнее, увереннее.

Сколько раз приходилось Алексею бывать с Шурой вот так, один на один, это даже и сосчитать невозможно. И никогда он не чувствовал никакой неловкости. Сейчас происходило нечто непонятное. И самое удивительное было в том, что ему нравилось обоюдное замешательство. Даже хотелось, чтобы Шура опять ненароком взглянула в его сторону, опять встретилась с ним глазами.

«Зачем тебе это? — сам себя спрашивал Алексей.— Не сегодня-завтра Галинка приедет... А это все — ни к чему. Конечно же, ни к чему».

Шура шла на полшага впереди и с подчеркнутым вниманием глядела на дорогу и себе под ноги, будто боялась оступиться.

— А не много ли он просит бестарок под выгрузку? — спросила она, по-прежнему не глядя на Алексея, а только скашивая в его сторону полуопущенные глаза.— Не будут ли задаром простаивать? Ведь пора горячая, и каждый человек и каждая упряжка на счету.

Алексей заметил, что ресницы у Шуры чуть вздрагивают, будто хотят сдержать темный жаркий блеск глаз и не могут. А оттого, что Шура и хотела и не решалась посмотреть на Алексея прямо, лицо у нее было смущенно-робкое и вместе с тем немного лукавое. «Не больно красива»,— вспомнилось смолкинское.— Много ты понимаешь в женской красоте!..»

— Ну, уж это ты сама смотри, тебе виднее,— отвечал Алексей, продолжая думать о том, что вот он что-то знал и видел в Шуре, а чего-то совсем не замечал. И, может, не видел, не замечал самого главного.

5

На небе — ни облачка, солнце жгло во всю свою июльскую мощь. Костер, на котором кухарка варила обед, не давал ни малейшего дыма. Лишь вверху над огнем дрожал, точно плавился, раскаленный воздух.

Алексей с Васей Смолкиным спасались от жары в куцей тени вагончика. Алексей возился с приспособлением для уборки гребнистого участка, Вася за самодельным

столиком подсчитывал заработок трактористов на культивации.

Вася работал, тихонько напевая, временами переходя на музыкальный, по его определению, свист или не менее музыкальное мычание.

— Майская культивация у Одинцова — сто сорок. Так... «Прощай любовь в начале мая, а в сентябре...» — Смолкин остановился, поднял одну бровь и, некоторое время подержав ее в таком положении, начал шумно черкать что-то.— Как раз совсем наоборот. «Прощай вино в начале мая, а в октябре прощай любовь...» Июньская у того же Одинцова — уже сто семьдесят. Ого! Явный рост...

«Болтун все-таки этот Смолкин,— беззлобно ругнул про себя учетчика Алексей.— Да еще эта дурацкая привычка подымать бровь. Подумаешь, артист!»

— Берем Сасова. В мае у него... Так. В июне — сто пятьдесят. Тоже растущий товарищ. Хорошо!.. Бригадиру соответственно начисляем... М-м-м-м... «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь...» Да, совсем не ждешь... А ты заметил, Алеша: Шурку-то словно подменили. Я ее прямо не узнаю. Раньше — не подступишься, а теперь шутит, смеется, любую работу без всяких проволочек принимает. Прямо метаморфоза какая-то с человеком произошла.

Алексей промахнулся и вместо шляпки болта больно ударил по пальцу.

— Ты бы, чем языком трепать, работал побыстрее. Второй день мычишь тут над каким-то пустяковым отчетом и никак отелиться не можешь. Метаморфоза!

Смолкин на этот раз сразу поднял и ту и другую бровь и даже слегка раскрыл рот. Брови у него были светлые, с отливом, словно позолоченные, и выделялись на загорелом лбу четко, рельефно. Они были и самой подвижной и, пожалуй, самой выразительной частью круглого, как луна, лица Смолкина. Сейчас брови выражали недоумение и незаслуженную обиду.

— Это не пустяковина, товарищ бригадир,— с достоинством ответил Смолкин.— Это документ. И причем...— Дальше последовало обстоятельное объяснение важности и документа и той работы, которую выполнял учетчик тракторной бригады Василий Смолкин.

Из вагончика вышел спасавшийся там от солнцепека

Еремеевич. То ли жара доняла его и в вагончике, то ли он счел необходимым ввязаться в разговор и поставить на место лишку расходившегося Смолкина.

— Я лично так думаю,— подсаживаясь к Алексею и свертывая обязательную для всякого разговора «козью ножку», сказал Еремеевич.— Если человек дело свое делает хорошо, то ему не надо много говорить — сама работа за него говорит и вес ему придает. Если же человек легковат — ему только и остается, как языком себе цену подымать...

— Это ты с чего, дед, вдруг в философию ударился? — подозрительно спросил Смолкин.

— Да нет, Васек, это я не про тебя,— хитровато щурясь, будто дым ему в глаза попал, ответил Еремеевич.— Это я просто свое впечатление высказываю.

— А ты бы и высказывал его где-нибудь в другом месте.

— Запрягай, Еремеевич,— поднимаясь с брезента, на котором сидел, сказал Алексей и кивнул на готовые полозки: — Повезем к комбайну на пробу.

Полозки в работе показали себя хорошо.

6

Алексей проканителился с бритьем и новым галстуком и пришел в клуб, когда народу там было уже так много, что он не сразу отыскал глазами Шуру. Она сидела у стены, опустив глаза, вся розовая то ли от жары, то ли от смущения.

Алексей, конечно, не подошел к Шуре. Он довольно долгое время толкался среди танцующих, заглянул через плечо Васи Смолкина на шахматную доску, обругал его за то, что не за понюх табаку отдал противнику ладью, и только после этого, как бы между прочим, прошел в угол, где сидела Шура, и опустился на скамейку рядом.

Разговор не клеился. Шура сидела как-то несмело, бочком к Алексею и точно собиралась вот-вот встать и уйти.

Алексей тоже чувствовал себя связанно, ему казалось, что все смотрят сюда, в этот угол.

— Жарко здесь,— сказала Шура.

Как бы в знак полной солидарности с ней Алексей вынул густо наодеколоненный платок и отерся.

— Я тоже думаю, лучше выйти на воздух,— сказал он при этом, но сказал так неопределенно, что сразу нельзя было понять, приглашает ли он вместе с собой Шуру или собирается выйти один.

Алексей был уверен, что Шура поймет его как надо. Он не подумал только, что если прямо пригласить с собой девушку казалось вроде бы не совсем удобным, то во сто раз неудобнее было без такого приглашения уходить Шуре.

И все же Шура пересилила свою девичью робость. Сказав что-то подруге, должно быть какую-нибудь невинную ложь, объясняющую ее уход, она поднялась со скамейки и, стараясь ни на кого не глядеть, пошла вслед за Алексеем, сквозь густую толпу молодежи.

Алексей подождал Шуру у палисадника, а когда она вышла, облегченно вздохнул (вышла-таки!) и, сорвав листок сирени, по-мальчишески гулко хлопнул им. Здесь Алексей чувствовал себя куда увереннней, чем в клубе, на людях. Здесь можно было просто стоять, дышать свежим воздухом и не думать, глядят на тебя или не глядят.

Вечер был безветренным, и кроны деревьев рисовались на небе незыблемо, как литые. Вдоль улицы горели нечастые электрические лампочки. Луна, как бы сознавая свою ненужность, пряталась в высоких приречных ветлах и лишь изредка показывалась своим наполовину светлым, наполовину мутным, будто недопроявленным кругом. Пахло теплой пылью и парным молоком.

Они медленно шли улицей, по тропинке, что вилась под окнами домов, шли, то касаясь локтями друг друга, то расходясь. Перешагивая небольшую промоину, Алексей взял Шуру под руку, да так больше и не отпускал. Рука была мягкая и горячая, и держать ее доставляло Алексею незнакомое доселе, волнующее удовольствие.

Разговор шел самый пустой: о том, что ночи уж очень короткие — заря с зарей сходится, что лето нынче, пожалуй, будет грибное,— помочило, а теперь ведро установилось. Разговор такой тем хорош, что его легко поддерживать, даже если ты думаешь в это время о чем-то другом. Ну, о том, например, что вот хорошо идти вдвоем и держать в своей руке мягкую, податливую руку, хорошо...

— Здравствуйте! — раздался вдруг совсем рядом

знакомый голос.— Здравствуй, Алеша! А это ты, Шура? Здравствуй, здравствуй.

Подавая руку, Алексей зачем-то оглянулся, словно хотел убедиться, что Галина не из-под земли выросла, а всего-навсего столкнулась с ними у палисадника своего дома. Он стоял как оглушенный и не мог выжать из себя ни слова. «Как же это так? — спрашивал он себя.— Как же это так получилось?.. Ну да, нынче пятнадцатое, нынче она и должна приехать. Как же я запамятовал?..»

Еще когда Галина только подошла к ним, Шура медленно, тяжело опустила руку, которую держал Алексей, как бы говоря этим: ты свободен, Алеша. И он переводил глаза с одной девушки на другую и не знал, что делать, как себя вести.

По одну сторону от него стояла такая же, как и год назад, красивая, с высокой прической, которая ей очень шла, Галина, по другую — можеть быть, и не такая видная, но уже успевшая стать близкой и дорогой Шура. С Галинкой было связано что-то неосознанно туманное и чистое, как детство, что навсегда таким и останется в его сердце и с чем больно расставаться, но к чему уже — это сейчас ясно понял Алексей — нет возврата, как не бывает возврата детству.

И Алексей взял опущенную руку Шуры и, полусогнув ее в локте, надежно прижал к своей руке. Не стесняясь Галины, Шура посмотрела на него открытым, долгим взглядом, и даже в полусумраке ночи видно было, как блестят ее глаза. Должно быть, Галина поняла и жест Алексея и этот взгляд. Словно тень пробежала по ее лицу, и оно как-то сразу стало замкнутым и взрослым.

— Да что же мы стоим-то?! — первой нарушила она ставшее уже неловким молчание.— Пойдемте. До смерти соскучилась по селу. Год не была, а будто десять. Пошли для начала в клуб.

— Ну, конечно! — радостно подхватили Алексей с Шурой, так радостно, что можно было подумать, что они и сами только что туда собирались.

Пошли той же самой тропинкой, но втроем на ней было тесно: они толкались, сбивая друг друга с ноги. Пришлось выбраться на дорогу, что шла серединой улицы.

Дорога была широкой, просторной, и по ней можно было идти свободно, не мешая друг другу.

ТАМ, ЗА НЕБОСКЛОНОМ...

•

1

Проснулся Иванеев рано. Через полуотворенные окна в комнату сочилась мгла. По деревне горланили петухи. Всего-то скорее эти рассветные петухи его и разбудили.

Он встал, оделся, взял приготовленный еще с вечера мольберт и тихонько, чтобы не потревожить спавшую в сенях сестру, вышел из дома.

Нет, было не так уж и рано. Это, наверное, подступавшие к самым окнам сирень и малина плохо пропускали в комнату свет. А на воле высокое чистое небо источало голубое сияние, и это сияние, нисходя на землю, обливало все на ней необычайной чистотой и свежестью. На траве, на яблонях, мимо которых он проходил, лежала тяжелая, тоже чуть голубоватая, роса.

Садом Иванеев вышел прямо в поле.

Нет, совсем не рано! В полях было еще светлее. Небо на востоке, недавно горевшее тихим лазоревым огнем, постепенно краснело, словно бы накалялось. Вот-вот покажется солнце.

Дорога шла хлебами, упираясь на горизонте как раз в то место, где все больше раскалялся невидимый за пригорком небесный горн. В полях стояла глубокая и прозрачная, пока еще незамутненная никакими сторонними звуками, тишина. А если временами и слышался дальний звон жаворонка или «поть-полоть» перепелки, это не только не нарушало рассветную тишину полей, а, как-то очень естественно сливаясь с ней, делало ее еще более полной, почти осязаемой.

Не самый ли лучший в суточной череде — вот этот ранний час?!

Иванеев был твердо убежден, что люди чувствовали бы себя куда счастливей, если бы каждый новый день встречали вот так, на самом восходе солнца, в полях и лугах, в лесу или на реке. Даже не то что счастливыми, счастья им от этого, может, и не прибавилось бы. Но они,

по крайней мере, хотя бы знали, как прекрасен мир, который их окружает, как прекрасна земля, на которой они живут. Дневные заботы и хлопоты не оставляют человеку времени на то, чтобы оглянуться вокруг. Да днем и земля совсем не та, что сейчас. Днем она и видится по-другому.

Сейчас все окрест — хлеба и травы, долины и овраги — словно бы еще хранит таинство только что ушедшей ночи; все готово проснуться, но еще окончательно не проснулось и нежится, потягивается, доглядывает последние сны. Все кругом — хлеба и травы, жаворонки и перепелки, эта дорога и вон та поблескивающая в отдалении река — все ждет солнца, все словно бы затаилось в этом ожидании.

А вот и оно, только что выкованное в небесной кузнице, яркое и лучистое, показалось из-за ржаного взгорья и начало расти, прибавляться прямо на глазах. Выкатилось все целиком, уселось на пригорок, немного помедлило, словно бы оглядывая заблестевшие под его лучами поля, а уж потом только сдвинулось, оторвалось от земли и пошло небесной дорогой.

Иванеева охватило детское желание добежать до того пригорка — ведь это так недалеко и так просто! Он даже и шагу было прибавил. Но тут же, грустно усмехнувшись, одернул себя: в детстве действительно все кажется очень простым. Особенно в раннем детстве, когда вот этим видимым для глаза горизонтом и ограничивается для тебя весь мир, вся Вселенная. Вон там небо сходится с землей и, значит, земля кончается. И если солнце показалось из-за того пригорка — добеги поскорее до него, встань на гребне, и можешь достать солнышко рукой. Ну, разве что на цыпочках придется подтянуться...

На дороге, на самом гребне взгорья, обозначились две совсем черные против света фигуры. Похоже, мужская и женская. Солнце оказалось как раз между ними, и так получилось, что словно бы легло им на плечи.

Иванеев не смог бы сказать, секунду или долю секунды несли на своих плечах солнце идущие ему навстречу люди, да и разве это имело какое-то значение. Пораженный необычайным видением, он остановился и, еще не успев ни о чем подумать, машинально снял этюдник с плеча и прямо на дороге начал раскладывать его. И только когда увидел в своих руках кисть, опять груст-

но усмехнулся: куда торопишься, фотограф-моменталист?! Остановись, мгновенье, ты прекрасно,— вон уже сколько веков кричат люди. И, однако же, мгновения, увы, не останавливаются...

Он опять сложил этюдник и все тем же размеренным шагом пошел дальше.

Видно, долгонько глядел он на прекрасное мгновенье — обожженные солнечным блеском глаза теперь плохо видели; на что бы он ни обращал взгляд, на всем: на хлебах, на дороге, на небе — ему виделись радужные темные пятна.

Гулкий сдвоенный залп пастушьего кнута, а следом за ним длинная пулеметная очередь тракторного пускача расстреляли, уничтожили утреннюю тишину. Замычали коровы, заблеяли овцы, бабы на колодцах зазвенели ведрами; деревня окончательно проснулась и начинала новый день.

Дальше все пойдет, как и обычно, как и вчера и позавчера: бабы проводят свою скотину в стадо, затем наскоро приготовят завтрак мужьям и вместе с ними разойдутся по работам. Ну, а уж за работой где там заметить всю вот эту красоту, которую не всегда и не сразу замечает даже человек, ничем не озабоченный и никуда не торопящийся.

В шедших навстречу мужчине и женщине Иванеев еще издали признал своего шабра, тракториста Павла Филипповича, или, как все его звали, Филипыча, и доярку Алевтину Гурину. Алевтина шла, должно быть, с отгонного пастбища, что на опушке Елхового леса; после ночного дежурства пораньше подоила своих коров — и в деревню. А вот как оказался вместе с ней Филипп — непонятно. И, словно бы отвечая Иванееву на его недоуменный вопрос, сосед, едва успев поздороваться, сказал:

— Совсем немного и оставалось-то — ну, самое большое часа на два, так нет, стал посередь борозды...— тут Филипыч витиевато, хотя и беззлобно, надо думать, просто для красоты слога, ввернул несколько крепких слов в адрес своего «ДТ-54» и уж потом только закончил: — А день-то, день-то какой занимается! Это же горькие слезы — терять такой день...

На вид Филипыч — мужичонка невзрачный: и ростом не вышел, и лицом не скажешь что удался. На лице

больше всего заметны скулы да утиный нос. Глаза глубоко запали, а еще и густыми мохнатыми от пыли бровями завешены — попробуй разгляди, какие у него глаза. Тонкие губы свеже-розовой полоской по запыленному лицу чуть не от уха до уха тянутся, а зубов во рту — хоть он и большой — маловато, и по этой причине Филипыч заметно шепелявит.

— Ну, ладно, у нас дело, работа, а тебе-то что за выгонка? — Филипыч сдернул с головы замасленную кепчонку, и торчащие в разные стороны живописные вихры как бы придали полную законченность его портрету.— Тебя-то какая нужда в такую рань с постели подняла? — Казалось, что вместе с хозяином недоумевает и стоящий вопросительным знаком клок рыжеватых волос на самой макушке.

Упомянув о постели, Филипыч сладко с потягом и подвыванием зевнул и, надевая кепчонку, повернулся к молчавшей все это время спутнице:

— Ну, пошли, что ли, Алевтинка, а то тебя небось ребятишки ждут, а мне надо инженера на месте захватить...

Тракторист с дояркой уходят своей дорогой, а Иванеев еще долго глядит им вслед. Он пытается и никак не может соединить в одно, в один образ тех двоих, что несли на своих плечах солнце, и вот этих, что минуту назад разговаривали с ним, а сейчас тяжелой крестьянской походкой вышагивают полевой дорогой. Неказистый, взъерошенный Филипыч, несущий на своем плече утреннее солнце,— нет, такое не представлялось его художническому глазу. Разве что Алевтина... Эх, Алевтина, Алевтина! Все время стояла с опущенными глазами, подняла лишь как уходить, и то не встретилась взглядом, отвела в сторону. Будничного, выгоревшего на солнце платьишка своего, что ли, стеснялась? Но в платье ли дело?.. Эх, Алевтина, Алевтина!..

2

Вот она, та тропинка, а вон и овражек, в котором был колодчик.

Овражек тянется вдоль опушки, а в одном месте круто поворачивает и устремляется к лесу. Там, на повороте, и бил родничок.

Тропа утоптанная, не заглохшая,— значит, не заглох, не замер и родник.

Иванеев дошел до оврага, пологим травянистым склоном спустился вниз.

Да, родник живет! Такой же светлый, до дна прозрачный, и вода в нем как и в былые времена — Иванеев взял висевший на кусте берестяной ковшик и зачерпнул им хрустальной влаги,— да, вода в нем такая же студеная и ни с чем не сравнимо вкусная.

Давным-давно какой-то добрый человек, утоливший жажду из этого родника, нашел время и не пожалел труда обнести его невысоким, но надежным срубом. Дубовый сруб этот защитил источник от весенних намывов, не дал обрушиться на него овражному склону и заилиться. И вот уже сколько—сто, двести, а может, и больше— лет родник прилежно поит каждого, кто к нему приходит.

Сруб почернел, покрылся зеленым мохом и за долгие годы словно бы сросся с родником, стал с ним заодно. Человек, руками которого сработан этот сруб, тоже давно стал заодно с землей, по которой когда-то ходил... Человека нет, а его родник живет и поит. В благодарность за содеянные добрые дела людям ставят памятники. А тот безымянный человек, сотворив доброе дело, его же и оставил, как живую — и не самую ли надежную?! — память о себе...

Иванеев долго искал точку, с которой бы лучше всего смотрелся родник. А еще ему хотелось, чтобы и кусты орешника, окружавшие колодчик, и росшая недалеко от него и как бы осенявшая своей кроной березка обязательно вписались в картину. Но заходил он с одной стороны — родник оказывался закрытым орешником; заходил с другой — уж очень картинной, ну прямо как на дешевой открытке — выглядела березка. В конце концов он остановился на том, что решил написать несколько этюдов с разных точек.

Сколько-то времени ушло, по обыкновению, на «разогрев», на то, чтобы войти в работу. Но вот глаз достаточно пригляделся к «материалу», и кисть перестала быть сама по себе, а «соединилась», спаялась с рукой, словно бы став ее продолжением, и дело пошло быстро и так захватило Иванеева, что он временами испытывал нервную дрожь в пальцах — верный признак того, что работалось с вдохновением. Мазки ложились широко, свобод-

но, и хотя выглядели пока еще вроде бы разрозненными и бесформенными, но уже и сквозь эту видимую разрозненность все явственней начинал проступать общий замысел картины, ее световое и колористическое решение.

Тень от березы стала короче и переместилась на другую сторону родника. Поднимаясь в зенит, солнце припекало все сильнее. Но увлеченный работой Иванеев, казалось, не замечал этого. Лишь устанавливая на мольберте новую картонку, он как бы возвращался к действительности, и тогда пил воду из родника или остужал ею разгоряченное лицо, глядел на высокое солнце и прикидывал, который час. А потом опять словно бы впадал в забытье, опять видел только как бы саму по себе работающую кисть и то, что этой кистью переносилось на картон.

Закончен еще один этюд.

Иванеев отошел от мольберта, взял с куста берестяной ковшик, занес его над родником и... замер, как замирают при виде чуда. Он увидел, как в затененном уголке колодца, прямо из-под сруба тихо, едва заметно била тоненькая водяная жилка. У нее и силы-то хватало только на то, чтобы, источая воду, все же быть заметной в такой же воде, все же как-то обозначить себя. Жилка тут же, через какой-нибудь сантиметр и кончалась, бесследно растворяясь. Но за растворившейся каплей из земли выталкивались новые и новые, и та, хоть и совсем малая, протяженность родниковой струи оставалась живой и постоянной. Капля за каплей. Капля по капле — и эту минуту, и час, и день, и год, и сто, а может, и тысячу лет. Капля по капле, а потом приходят люди, пьют, а в колодчике и не убывает...

— Ну, что ж,— после долгого раздумья вслух произнес Иванеев.— Будем считать, что житие этого родничка мы написали, теперь надо за главное приниматься.

Старые русские мастера любили украшать иконы клеймами: в центре картины — крупно лик святого, а по бокам, по верху и по низу доски — миниатюры, на которых изображались главнейшие события его жития от рождения до успения. И нередко миниатюры эти сами по себе были замечательными картинами. Но как бы хороши они ни были — главным оставался все же лик, портрет. Житийные клейма как бы служили художнику

своеобразными ступенями постижения образа, были своего рода подступами к главному.

Потому-то, когда Иванеев увидел родниковую струю, ему и подумалось, что все его этюды — не более как клейма, подступы к картине. Прекрасным клеймом может быть и этот живописный, весь в цветах косогор, и эта зеленокосая березка, даже остролистая осока, растущая по краям вытекающего из сруба ручейка. Однако же основным, главным в картине должен быть «лик» самого родника.

Сколько картин карандашом и тушью, акварелью и маслом уже написано и пишется поныне на родниковую «тему»! Она воистину неиссякаема, как и сами родники. В сотнях картин старательно выписаны в первую очередь и больше всего вот эти, ставшие уже обязательными, атрибуты — их по-другому не назовешь — источников: березы и рябины над ними, цветы, чаще всего ромашки, в высокой траве вокруг них. Ну и, конечно, замшелый, полусгнивший, а то и вовсе сгнивший сруб, темный блеск воды в том срубе... А где сам живой родник? Где вот эта пульсирующая струя, которая и делает родник не просто водоемом, а именно источником, родящим воду?.. Не потому ли подобные картины чаще всего и называются: «У родника», «В полдень», «На лесной опушке» или что-нибудь в этом роде. Попробуй припомни картину, которая бы называлась просто «Родник»...

Иванеев убрал в тень березы мольберт и сам вытянулся рядом с ним на сухом, прогретом склоне овражка. Солнечный свет, просеиваясь сквозь негустую крону, рябил в глазах, заставляя их прижмуриваться. Такое нежгучее, ласковое прикосновение солнца было благостным, и губы сами растягивались в улыбку.

Хороший денек сегодня! Чувство подъема, которое Иванеев испытал во время работы, сменилось еще более радостным чувством только что сделанного открытия. По опыту он уже знал, что теперь не сразу, не скоро возьмется за кисть, а будет сначала искать наиболее точное решение будущей картины. И всего-то скорее поиски эти будут мучительными. А все равно ощущение радости не проходило: теперь он знает, *что* надо делать, и не беда, если не сразу найдет, *как* лучше сделать. Когда мучаешься над этим *как* — это же сладкие мучения. А вот когда для тебя совсем неведомо пока еще не родившееся

что — ты хоть и живешь спокойно, не зная никаких мучений, а только что толку в этой спокойной жизни...

Солнце шло на полдни, воздух даже здесь, на лесной опушке, все больше накалялся, и Иванеева начало размаривать. Он то приоткрывал глаза, то снова прижмуривал. Вспомнилось, как в раннем детстве он вот так же любил, лежа на берегу речки, прижмуренными глазами глядеть на солнце. И когда какое-то время поглядишь, то после и плотно закроешь глаза — все равно нет ощущения темноты, все равно солнечный свет, словно бы набившись под веки, все еще слепит тебя.

Раннее детство... Не самая ли светлая пора?! Огромный неизведанный мир начинается прямо за порогом родного дома и лежит во все стороны далеко-далеко, до самого того места, где земля смыкается с небом. И все, что бы человек ни увидел в этом полнозвучном и красочном мире,— он видит в первый раз. Не потому ли впечатления детства остаются самыми яркими на всю жизнь, какой бы долгой она ни была?!

Человек в ту рассветную пору своей жизни еще очень мало знает. Но детство прекрасно даже и этим неведением, потому что оно не только не мешает, а даже помогает целостному восприятию мира. Человек подрастет, пойдет в школу и узнает, что цветы состоят из пестиков и тычинок. И что, разве от этого знания цветок для него станет более прекрасным? Видя, как солнце выкатывается из-за горизонта, человек с самых ранних лет начинает спрашивать себя: а что же это за штука горизонт, земля там кончается или не кончается? Потом он узнает, что никакого такого горизонта нет, даже неба как такового не существует — просто земной шар летит в безбрежном пустынном космосе, и все. Человеку станет неуютно от такого знания, ему захочется поскорее вернуться к тому представлению о земле и небе, какое им было усвоено еще в самом раннем детстве. И до седых волос он будет с волнением глядеть в ту таинственную синюю даль, где небо склоняется к земле, и будет спрашивать себя: а что же там, за небосклоном?..

Рассветная пора...

Мысли Иванеева неожиданно перескочили, и он вдруг ясно, отчетливо увидел такой же вот, как нынче, ранний рассвет и себя, уже взрослого, идущего тем ранним часом по берегу реки. По-над рекой колышется молочная

пелена тумана, белым отливает и трава, покрытая густой росой. Одна за другой гаснут последние звезды, небо все больше и больше, прямо на глазах светлеет. Он знает, что от матери будет нахлобучка за такое позднее (разбери тут, позднее или раннее) возвращение, и, однако же, не торопится, идет ровным тихим шагом. Временами он видит реку, тропу в траве, думает, как бы незаметнее пробраться на сеновал, где он спит, а временами все это начисто уходит куда-то, и он видит только Алю, ее полураскрытые, немного припухшие от поцелуев губы и ясные робкие глаза. «Иди, уже утро... пора»,— говорит Аля, и он словно бы опять слышит ее голос. Ему кажется, что он даже ощущает запах ее волос...

Забывшись, он неожиданно наткнулся на мосту на пастуха дядю Васю.

— Эге! А я-то думал, что всех раньше встаю... Ай да Костя! Молодец! Говорят, кто рано встает, много успевает...

Хитрый дядя Вася сделал вид, что не понимает, почему так рано очутился Костя на мосту, откуда и куда он идет. И Костя, конечно же, оценил эту дяди Васину деликатность. От полноты чувств ему даже захотелось обнять его или сказать что-нибудь хорошее. Но никаких хороших слов на ум не пришло, а ни с того ни с сего лезть к пастуху с объятиями было и вовсе неудобно.

— Ну, иди, иди, да прибавь шагу-то,— поторопил дядя Вася.— А то ударю кнутом — мать проснется... Иди, я погожу...

Что бы значило, ка́к запомнилась эта картина на мосту — вон через сколько лет он все-все так хорошо видит. Видит и хитрый прищур дяди Васиных глаз, и его цигарку в обкуренных пальцах, и сдвинутую на затылок рыжую телячью шапку, и даже полуоторванное ухо у той шапки...

Рассвет... Рассвет сменяет утро и переходит в день. День... Полдень...

На впавшего в полузабытье Иванеева надвинулось новое видение, он некоторое время как бы всматривался в него, и вот...

И вот он увидел такой же жаркий полдень, родник, у которого сейчас лежал, и себя у родника среди парней и девчонок. Они пришли сюда из ближних овражков, где сенокосничали — парни прямо с косами, девушки с

граблями. Пришли полдничать. Изрядно устали, а все оживлены, веселы. Нелегкая — да еще какая нелегкая-то! — работа и косой махать и с граблями день-деньской ходить, а все равно из всех крестьянских работ сенокос — самая веселая, самая праздничная.

Ребята первыми завладели ковшиком (он был тогда поболе нонешнего), пьют, брызгают студеной водой на девчонок, норовят за ворот плеснуть. Девчонки визжат, хохочут. А вот Але удалось перехватить ковшик, она с маху зачерпывает воду из родника, подает подругам.

— Алевтинка, дала бы испить Константину,— ехидно кидает кто-то из ребят.— А то у парня все пересохло.

И пошло-поехало:

— Аж губы вон потрескались.

— Ну, это еще неизвестно, от чего они потрескались.

— Может, вчера долго провожался-целовался...

Ребята гогочут, девчонки им подхихикивают. Разговор вроде бы совсем безобидный, шутливый, но кому же непонятно, что шутки эти имеют подоплеку.

Робкая Аля наклоняется над родником и неожиданно для Константина протягивает ему полный, всклень берестяной ковшик:

— Пей, Костя!

Да, только так и можно погасить разгорающееся веселье, все эти смешки и шуточки. Молодец, Аля! Робкая, робкая, а смотри-ка, когда надо, нашлась.

Он берет из ее рук ковшик, на крупные глотки выпивает его.

— Спасибо!

— Может, еще?

Аля, как видно, хочет доконать ребят: вот, мол, вам! И Костя, поддерживая игру, тоже с вызовом говорит:

— Давай!

Аля опять склоняется к роднику. Теперь Константин стоит близко от нее, и когда она черпает воду — в расстегнутый на верхние пуговицы ворот кофточки ему видны ее сильные, стянутые лифчиком одна к другой, груди. Девушка словно почувствовала его взгляд, еще не распрямившись, подняла глаза, хотела улыбнуться, но, должно быть, что-то поняла, смутилась и начала медленно краснеть...

Почему-то смутно, расплывчато помнит Иванеев, как потом Аля выпрямилась и подала ему ковшик и как он

опять пил. А вот наклонившуюся над родником Алю видит так ярко, резко — ну будто не много лет назад это было, а какой-нибудь день или час. Вся картина отпечаталась в памяти до самых мельчайших деталей: он даже помнит бисеринки пота на лбу Али и на верхней, чуть вздернутой губе, видит открытые в полуулыбке зубы и загорелый клинышек на белой-белой груди. А еще он хорошо помнит, как на темной поверхности колодчика трепетал пробившийся сквозь ветки солнечный луч, и когда Аля черпала воду, то черпала именно в этом месте, словно хотела зачерпнуть ему вместе с водой и капельку солнца...

«Ну, вот и еще одно клеймо к картине можно писать»,— усмехнулся Иванеев, и только сейчас понял, почему ему стало так жарко: тень от березы ушла в сторону, и солнце припекало ничем не прикрытый затылок.

Иванеев встал, подошел к колодчику, попил. На секунду он опять закрыл глаза, чтобы легче было снова вызвать из далекого далека только что стоявшее перед ним видение. Открыл, огляделся, словно бы примеряя ту давнюю картину ко всему, что его сейчас окружало, и по привычке сам себе сказал:

— А ведь она может быть и клеймом, и главной картиной...

И уж коль нашел нынче на него вспоминательный стих и он так ясно увидел тот сенокосный день — не «записать» ли его для большей верности, не набросать ли хотя бы в самых общих чертах ту картину: косы и грабли на кустах, парни и девушки вокруг родника, развернутые узелки с обеденной снедью в траве, Аля, черпающая для него солнце из колодчика.

И Иванеев снова встал за мольберт.

3

На другой день приехал Бурковников.

— А-а, вот ты где окопался, рак-отшельник! — загремел он, еще не успев войти в дом.— Что ж, недурственно. Тишина, благолепие. И места, как я поглядел, прямо-таки левитановские.

— Подымай выше: шишкинско-поленовские,— в тон товарищу ответил Иванеев.

— Уже одно сознание, что ты находишься не где-то

на подмосковной даче, а во глубине России,— звучит-то как, Константин: во глубине России! — уже должно настраивать на... на...

Тут Бурковников на секунду умолк, должно быть, подыскивал наиболее точные слова, и Иванеев, воспользовавшись паузой, закончил за него:

— На сермяжно-кондовый исконно-посконный лад.

— Тебе смешки, а я-то, может, первый раз попал в такую глушь. А где же еще-то истинную Россию и увидишь, как не в таких вот глубинных деревнях?!

Всем бы хорош парень, но уж очень суесловен, а в последнее время еще и появилась вот эта привычка даже с товарищами говорить, как с трибуны. Уж не то ли стало причиной, что выбрали Бурковникова в творческое бюро. Разобраться-то, не такой и великий чин, но это он, Иванеев, или кто другой так думает, а ведь, наверное, еще имеет значение, как сам Бурковников себя понимает.

— Вырвался я к тебе ненадолго, сам знаешь, всякие дела в бюро,— Бурковников многозначительно покрутил в воздухе рукой.— Так что не хотелось бы терять время даром. Завтра же без раскачки за работу. Ты уж расстарайся, найди мне мужичков поколоритнее. Не так чтобы тракторист пришел с поля, причесался на пробор да еще галстук нацепил. Мне чтобы без прикрас, чтобы потом с картины глядела сама правда-матка...

При последних словах Бурковникова на память Иванееву пришел сосед Павел Филиппович, каким он видел его вчера в поле: какой уж там пробор — пыльные космы живописно торчали во все стороны. Такая уж правда-матка, что дальше и ехать некуда!.. Но Павел Филиппович человек занятой («Горькие слезы терять — такой день...»), позировать он вряд ли станет. Кого-нибудь бы посвободнее...

Иванеев начал перебирать в уме своих деревенских: этот колоритен, да бездельник, тот — хороший работник, да на вид уж больно ординарен. А может, Николая Гурина, Алевтининого мужа? Правда, колоритным его тоже не назовешь, но все же мужик видный, да и работает на ферме, так что куда свободнее Павла Филипповича.

А еще и вот какая мысль пришла Иванееву в голову, когда он остановил свой выбор на Николае Гурине. Знать он его толком не знает, так, видел несколько раз, в разговоре слышал, и все. И когда он видел Гурина, было

ему каждый раз непонятно, что нашла в нем Алевтина, когда выходила за него замуж. Так вот: может, он недобрыми, предвзятыми глазами глядел на Гурина, и интересно было, как *увидит* его Бурковников?

Он сказал товарищу об этих двух «кандидатурах».

— Так давай их и того и другого! — загорелся Бурковников.— А что твой Филипыч делом занятый — это даже хорошо, я его прямо на поле, в борозде и увековечу. Решено!

Потом они пили чай из самовара, и Бурковников громко восторгался:

— Ах, какая прелесть! Какой необыкновенно вкусный чай, оказывается, из этого пузатого чуда!

А после чая, перед сном прошлись деревней, постояли на мосту через речку. И село Бурковникову понравилось, и речка, которая через него текла, тоже показалась ему «красоты неописуемой».

Наутро они вместе вышли в поле.

Иванеев отвел гостя на участок, где работал Филипыч, а сам знакомым овражком спустился к роднику. Уговорились работать до обеда, а потом сойтись у родника, чтобы вместе возвращаться в деревню.

Время пролетело незаметно. И погруженный в работу Иванеев даже вздрогнул, когда за своей спиной услышал рокочущий баритон Бурковникова:

— Вон ты где устроился, аристократ! Недурственно! Я там в пыли, в земле, поджариваюсь на солнцепеке, а он прохлаждается себе в тенечке, как какой-нибудь магараджа... А вот теперь и мы наконец-то утолим жажду.

Бурковников подошел к колодчику, зачерпнул полный ковш воды и долго, шумно пил.

— Всякие напитки приходилось пивать, а такого — еще ни разу. Это же не вода, а эликсир жизни!..

Напившись, подошел к мольберту и еще раз, теперь уже внимательно, критически вгляделся в стоявшую на нем картину.

— В общем-то неплохо,— великодушно-снисходительно произнес он,— но...— сделал паузу,— но как-то уж очень, как бы это сказать, олеографично. Не сердись, старик, за прямоту, но пишешь ты не по-современному. Ты же талантлив, у тебя есть истинно художническое видение мира, но стилистика твоего письма, согласись, не-

сколько архаична. Ты вроде бы остаешься глухим и слепым ко всем новым веяниям...

Иванееву хотелось спросить товарища: а что это за штука «стилистика письма» и какие новые веяния он имеет в виду — уж не абстракционизм ли? Или поп-арт? Но ввязываться в ученый спор сейчас ему почему-то не хотелось, и он почел за лучшее промолчать. Однако Бурковников по-своему понял его молчание и продолжал развивать «тему».

— Доморощенные национальные рамки хороши были в минувшие времена. Сейчас настоящего, по-современному мыслящего художника они уже стесняют. Там,— он показал на запад,— ведь тоже что-то умеют. И если раньше, в силу многих обстоятельств, художники вынуждены были вариться в собственном национальном соку, то теперь если и не все, то многое, достигнутое зарубежными мастерами, мы можем — а почему бы и нет?! — брать на свое вооружение. Современное искусство должно говорить на интернациональном языке...

«Ну, поехал, теперь не остановишь...»

Бурковников и сам, наверное, понимал, что чем дальше, тем больше вязнет в собственных же словах, но, видимо, не находил в себе силы остановиться.

— А я-то, грешным делом, думал,— все же не сдержался Иванеев,— что чем национальнее художник, тем он интернациональнее, то есть тем более интересен другим нациям... Ну, ладно, я не авторитет. Но один очень большой русский живописец говорил, что он стоит за национальное искусство, и даже еще добавлял при этом, что никаким другим, кроме как национальным, оно и быть не может. Иван Николаевич Крамской. Устарело? Стесняет? Жмет в подмышках?

— Ты совсем напрасно гаерничаешь,— невозмутимо ответил Бурковников.— Разговор серьезный, и тут не место шуточкам... И уж если хочешь знать, то... то в известной мере и устарело.

Как это понимать: в известной мере? Что это за мера?.. И опять Иванеев не стал задавать этих вопросов, потому что заранее знал, что Бурковников обязательно найдет что ответить, а ответ этот вряд ли будет интересным.

Иванеев собрал краски и кисти, Бурковников еще раз напился, и они пошли в деревню.

Солнце поднялось в зенит, весь воздух, казалось, налился зноем. Горизонт потерял свои определенные очертания. На том месте, где кончалась земля и начиналось небо, дрожало и переливалось текучее марево.

На поле, одним концом упиравшемся в лесную опушку, работал трактор, оттуда доносилось его монотонное, приглушенное расстоянием урчание.

Бурковников начал рассказывать о том, как он «увековечивал» Филипыча, о чем тот его спрашивал и что он ему отвечал.

— Ну, мужик! Ну, колорит! — сам себя распаляя, восторгался Бурковников.— Репин бы его среди своих «Запорожцев» обязательно усадил. Уж нашел бы местечко!

Была у Бурковникова хорошая в товариществе черта: поспорит ли с кем, и, может, даже что-то резкое ему в том споре будет сказано — никаких обид, никаких выяснений отношений. Вот и сейчас он восторгался Филипычем, словно и не было у них с Иванеевым стычки у колодчика.

— Неказист на вид, не Илья Муромец и не Микула Селянинович, а ведь вдуматься — на таких вот Филипычах земля держится и все на ней. И мы, художники, если брать по большому счету...

«Темы Филипыча» хватило Бурковникову почти до самой деревни.

Сестра приготовила на обед окрошку. Так себе окрошка: квас, лук да яйца, ну еще мелко нарезанные кусочки привезенной Бурковниковым колбасы плавали в том квасу. Но уже после первой ложки Бурковников громогласно заявил, что ничего похожего, даже отдаленно напоминающего это роскошное блюдо, он за всю свою сознательную жизнь еще ни разу не отведывал.

4

Еще перед тем как садиться за стол, Иванеев послал семилетнего сына Филипыча Витьку к Гуриным: время — обед, Николай должен быть дома, пусть придет.

Они сидели с Бурковниковым на крыльце и курили, когда от моста показалась Алевтина.

Чем ближе Алевтина подходила к дому, тем походка у нее становилась скованней и напряженней. Она будто

не по ровной дороге, а по зыбкой жердочке через стремительный поток шла.

Поздоровалась и, не зная куда девать себя под сторонними взглядами, присела на приступок рядом с Иванеевым.

— Витька сказал Николаю прийти?

— Да, небольшое дело тут есть...

— С утра в район на какое-то совещание вызвали. Теперь небось до самого вечера.

— Ни раньше, ни позже.

Иванеев разговаривал с Алевтиной, а про себя думал: могла бы все это и с Витькой передать, однако же вот сама пришла. И приоделась зачем-то. Нет, не разрядилась, не расфуфырилась — все же не на праздник и не в званые гости шла. Но и не то, что тогда в поле. И кофтенку, видать, свежую надела, и волосы аккуратно причесала, даже вон уголок носового платка из-под тугого рукава кофточки виднеется.

— А может, мы... может, я...— Бурковников покрутил в воздухе растопыренной рукой и одними глазами показал Иванееву на Алевтину.— Понимаешь, чтобы рабочий запал зазря не пропадал. А у меня буквально руки чешутся...

— Что ж, валяй,— ответил Иванеев.

Но когда Алевтина узнала, что ее этот молодой бородач хочет «писать на картину», то, как и ожидал Иванеев, решительно воспротивилась, засмущалась, замахала руками:

— Ну да, только этого и не хватало!

— А чего тут такого? — начал уговаривать ее Бурковников.— Ведь ничего специально делать не надо. Вот сидите вы, разговариваете — ну так и посидите часок.

— Да нет, чего же на солнце-то жариться — пойдемте в сад, в тенек,— предложил Иванеев.— А чтобы вам не мешать, я пока своим делом займусь.

Алевтина поотнекивалась еще какое-то время, но в конце концов дала себя уговорить.

И вот она сидит под кустом сирени, недалеко от окна. Сидит неестественно прямо, как аршин проглотила, и, не моргая, глядит на Бурковникова.

Иванеев устроился в избе, в своей горенке, и через окно ему хорошо виден и немного торжественный, свя-

щеннодействующий Бурковников, и сидящая боком к окну Алевтина.

— На меня глядеть не обязательно,— выдавливая на палитру краски, говорит Бурковников.— И сидите свободнее, не напрягаясь... ну, как вы, скажем, сидите, отдыхая.

Алевтина долго не может найти места своим сильным крестьянским рукам. Наконец-то выкладывает их на колени, и вся поза ее от этого становится неожиданно свободной и естественной. Она только теперь как бы отрешилась от угнетавшей мысли, что ее «пишут на картину», сидит просто, вот именно отдыхая.

Какое-то время Иванеев пытался работать: достал свои наброски родника, поставил рядом этюд с той же Алевтиной и Павлом Филипповичем, несущими на своих плечах солнце. Но мысли его от той Алевтины, что глядела на него с листа картона, постоянно перескакивали вот к этой, живой, сидящей здесь, в саду, и в конце концов он отложил свои зарисовки в сторону, уселся поудобней в уголке старенького дивана и стал смотреть в окно.

Он пристально, изучающе глядел на Алевтину и никак не мог в этой еще молодой, но уже вкусившей мед и горечь замужества женщине узнать ту легкую, робкую Алю, от которой шел на рассвете, которую помнит у родника. Где она, та Аля, куда подевалась? И куда все, что он чувствовал тогда,— куда все это ушло? Неужто *это* уходит бесследно? И вообще как *это* приходит вдруг к людям, и если и не вдруг, не сразу, но — уходит?

Иванеев множил вопросы, и ни на один из них не находилось ответа. Не зря, видно, в одной мудрой книге сказано: тайна сия велика есть.

А что, если и Аля — сейчас Иванееву в мыслях хотелось называть ее этим девичьем именем,— что, если и Аля думает в эту минуту о том же? Ну не то чтобы обязательно точка в точку, пусть другое, пусть и сенокосный полдень ей запомнился не так ярко, как ему,— мало ли что могло остаться в памяти: другие встречи, другие картины. Ведь их было много, этих встреч,— есть что вспомнить! Вот только вспоминает ли их она сейчас или думает, какое лучше принять выражение лица и куда девать опять ставшие «лишними» полные, загорелые до черноты руки...

Нет, конечно же, она тоже думает о нем, тоже вспоминает те, теперь уже далекие встречи.

А что, если... Иванеев еще не успел додумать свою мысль до конца, а уже почувствовал, как на сердце сразу стало пусто... А что, если и у Али тоже все ушло? Что, если и она теперь не видит в нем того Костю, который прощался с ней ранним утром много лет назад?

К горлу подкатила соленая горечь. Иванеев, не вставая с дивана, дотянулся до стакана с холодным чаем, выпил.

Когда он несколько дней назад встретил Алевтину в поле, то не сразу признал в ней ту Алю, которая в такую же утреннюю рань говорила ему: «Иди... пора!..» И он тогда же понял, что то большое и светлое чувство, которое он когда-то испытывал к Але, ушло, и, наверное, безвозвратно. Но странное дело — про самое Алевтину, про то, что ведь нечто похожее могло произойти и с ней,— про это ему как-то не подумалось. Он словно бы исходил из уверенности, что у Алевтины все осталось так же, как и было, и что он для нее остался тем же, каким она знала его много лет назад...

Иванеев и сам не мог понять, зачем он все это ворошит, зачем ему надо знать, забыла или все еще любит его Алевтина. Зачем, зачем ему все это надо? Ну, забыла — и что из того? Не забыла — тогда что? Так ли уж это теперь важно? Не важнее ли другое... Вот хоть и смутно проступает в нынешней Алевтине вчерашняя Аля, но ведь она не где-то у полуденного родника запропала, она — в этой, сидящей там, за окном, Алевтине. И как с ним, Иванеевым, то рассветное утро осталось — что бы там ни было — на всю жизнь, навсегда, — точно так же, наверное, осталось оно и с ней, с Алевтиной. Будут прибавляться года, они будут стареть, а то, что было в рассветную пору их жизни,— все это будет до века жить в них, и в своих воспоминаниях они всегда, до самой смерти, будут видеть и себя и друг друга молодыми.

Такой ход мыслей примирял, успокаивал. Иванеев поднялся с дивана, еще раз поглядел на быстро орудовавшего кистью Бурковникова, на сидящую в прежней позе Алевтину и вышел из избы.

Какое-то время он посидел на крылечке, но куцый навес над ним почти не давал тени, а полуденное солнце припекало так сильно, что даже деревянные ступени ка-

зались раскаленными. Волей-неволей пришлось идти в сад.

Проходя мимо Алевтины и Бурковникова, Иванеев мельком взглянул на мольберт: интересно, сумел ли его собрат разглядеть в Алевтине какие-то черты или хотя бы черточки прежней Али? Еще в институте за Бурковниковым ходила слава «хваткого» художника: он умел схватить в натуре что-то характерное, что-то «свое», умел выделить и подчеркнуть какие-то пусть и незначительные, но опять же характерные, запоминающиеся частности.

Что ж, надо отдать должное, он и тут сумел схватить и ярко, колоритно передать на холсте образ молодой крестьянки. Притом не крестьянки вообще — с полотна глядела именно живая, «натуральная» Алевтина. Но подчеркнул он, как показалось Иванееву, совсем не то, что надо бы. Уж очень заземленной, если не сказать огрубленной, выглядела Алевтина. Нет, художник «не убавил» ей красоты. Может, даже прибавил. Но, подчеркнув ее телесное здоровье, ее «деревенскую» красоту, живописец словно бы забыл, что у этого прекрасного тела есть — должна быть! — еще и душа. Что эта молодая женщина не только умеет доить коров, но — почему бы не представить себе, почему бы не допустить и такое?! — умеет так же чувствовать и мыслить. По-своему, может быть, «по-крестьянски»,— где ей до интеллектуала Бурковникова! — но если даже и так, это еще вовсе не значит, что и чувства у нее мелкие и мысли ползут только по самой земле...

Появление Иванеева Алевтина, должно быть, восприняла как знак окончания сеанса и засобиралась уходить.

— Ведь шла сюда — не знала, что оно так обернется. Меня, поди-ка, обыскались...

Бурковников начал было упрашивать посидеть еще хотя бы полчасика, чтобы «кое-что прописать как следует», но Алевтина уже встала со своего места.

— Нет, нет, побегу. Уж если больно надо — лучше в другой раз приду.

Но прежде чем уйти, она, конечно, тоже посмотрела на свой портрет. Посмотрела как-то косвенно, смущенно, как бы все еще стесняясь того, что ее написали на холсте масляными красками.

Похоже портрет и ей не очень-то понравился: лицо

у нее сделалось каким-то растерянным. А может, причина была в другом. Там, где Иванеев видел точно схваченный, но еще недостаточно «прописанный», скажем, нос или рот,— ему, как художнику, не стоило большого труда представить их в законченном, дорисованном виде и, значит, оценить работу как бы авансом. Человек, далекий от живописи, видит на холсте только то, что там есть, и любая недописанность сбивает его неискушенный глаз.

— Ну, побегу... Извиняйте. Дела...— Алевтина вытащила из-за рукава кофты платок, вытерла влажный лоб, смущенно потопталась на месте, поправила волосы, смутилась еще больше и, наконец-то решившись, неровным скорым шагом пошла, почти побежала из сада.

— Ты, Костя, тоже пока изыди.— Бурковников зажег сигарету и опять взялся за кисть.— Попробую по свежей памяти кое-какую доводку учинить.

Иванеев ушел в глубь сада и присел в тени черемухи на врытую в землю скамейку. Здесь было тихо, слышалось только ровное гудение пчел. А если не глядеть, а только слушать, то можно услышать и едва внятный лепет листвы. Тишина. Благодать.

Но стоило Иванееву закрыть глаза, как перед его мысленным взором встала Алевтина: сначала та, что не знала в смущении, как уйти и что сказать при этом, потом та, что осталась у Бурковникова на холсте. Была и еще одна Алевтина — написанная им самим... И вот сейчас, мысленно сопоставляя этюд Бурковникова со своим, Иванеев дивился полному их несходству. Даже трудно было поверить, что писались они с одной и той же модели. Разве что нынче Алевтина немного приоделась, а тогда, в поле, была в будничном платье. Но в платье ли дело? Ведь они писали не платье, а человека!..

Да, конечно, давно известно, что копиизм, буквальное следование натуре — это еще не искусство. Кажется, Гете говорил, что если художник очень точно, очень похоже нарисует мопса, то будут два мопса, а в искусстве ничего не прибавится... Каждый художник видит мир, и человека в том числе, по-своему — в этом и великая тайна, и залог вечной неисчерпаемости и неповторимости искусства. Все так. Непонятно другое...

Было время, когда художники, изображая ну хотя бы ту же деревню, редко писали крестьянский труд, куда

чаще — праздники: праздник первой борозды, праздник урожая... Писался портрет тракториста или доярки — тракторист при галстуке; доярка — при орденах и медалях.

В последнее время наши современники пишутся проще, человечней и, что ли, безыскусственней. Но не переходит ли наша простота в некую простецкость, в будничность?! Что это — своеобразная реакция на вчерашнюю парадность? Возможно. Но не ударяемся ли мы в другую крайность?! Пусть человек занят будничным трудом, но надо ли подчеркивать эту будничность, надо ли писать его по-будничному? Не та ли это простота, которая хуже воровства?! Не обворовываем ли мы, не обедняем ли мы нашего современника, который занят вроде бы и простым, будничным, но, если разобраться, великим, героическим трудом?!

А еще стало модным в последнее время изображать рабочего человека опять же не столько за работой, сколько на рабочем фоне и в рабочем комбинезоне. Пройдись по выставкам — и сколько увидишь картин, на которых на первом плане стоят этакие трудяги-работяги в грубых брезентовых робах с грубыми, часто квадратными лицами, а на втором плане — если подпись «Монтажники» — строительные леса, если «Такелажники» — соответственно порт или пристань. Как было бы хорошо и естественно, если бы каждый из них занимался своим делом, а не позировал перед художником! А то получается как в некоторых театрах, когда актеры обязательно толкутся на просцениуме, а то и вовсе в проходах среди зрителей, словно боятся, что из глубины сцены их не услышат. Раньше как-то слышали... Попробуй, представь себе венециановских крестьян, стоящими рядком на фоне хлебного поля, а перовских охотников на фоне своих трофеев. Чепуха какая-то, какие-то сапоги всмятку получаются...

— Умеешь ты, как я погляжу, устраиваться,— где-то за черемухой раздался голос Бурковникова.

А вот и он сам продрался сквозь заросли малины.

— Да нет, не подвигайся, хочется на траве-мураве посидеть.

Товарищ опустился рядом со скамейкой на землю, достал сигареты.

— На сегодня все. Шабаш! И так за один день сделал больше, чем в московской суете за месяц... Спасибо

за натуру: баба что надо, а про Филипыча и говорить не приходится...

Они посидели, покурили, лениво перекидываясь односложными фразами, потом вернулись в дом и уже не мельком, не походя, а обстоятельно стали разглядывать свои утренние этюды.

Филипыча Бурковников «схватил» именно так, как и ожидал Иванеев. Сидит на раме плуга в запыленном комбинезоне с дымящейся самокруткой в руке и промасленной кепчонкой на колене. Снять кепку художник заставил Филипыча, наверное, для того, что уж очень живописными ему показались торчащие в разные стороны вихры. Ну и, разумеется, взгляд у Филипыча — вперед, «на зрителя», а рабочим фоном картины служит попыхивающий дымком трактор. В самой композиции есть даже намек на некое единение человека с машиной: самокрутка в руках у тракториста дымится, и трактор, с ним в унисон, дымит потихоньку.

Увидев иванеевский набросок Филипыча с Алевтиной, Бурковников воскликнул, если не сказать возопил:

— Но это же плакат, старик! Я тебя не узнаю... Раннее утро — это прекрасно: и роса на траве, и эти просыпающиеся поля... Но — двое несут на своих плечах солнце — это отдает плакатом. Можно прямо посылать в издательство, и тебе обеспечен мильонный тираж...

«А ведь и верно, пожалуй,— согласился Иванеев.— Отдает... Но тогда Филипыч Бурковникова — антиплакат, и кто скажет, что хуже? Если у меня люди, допустим, слишком возвышенны, то у него — не слишком ли заземлены? Если у меня они — атланты, держащие на своих плечах небосвод, то у него — земляные кроты, не имеющие понятия о том небосводе...»

— А вот ты там, в поле, выступал,— сказал Иванеев Бурковникову,— что хоть и неказист, мол, на вид этот самый Филипыч, не Илья Муромец и не Микула Селянинович, а вдуматься — на таких Филипычах земля держится. То есть, в конечном-то счете, Филипыч наш — и Илья, и Микула, а конкретней — вчерашний воин, защитник своей земли, а ныне — лучший тракторист колхоза. А если так — надо ли столь усердно подчеркивать его неказистость, его не причесанные по последней моде вихры? А то ведь — чего хорошего — я могу и усомниться, что на таких земля держится.

— Ты говоришь умные речи, Костя. Но где линия, за которую нашему брату одинаково опасно переступать как в ту, так и в другую сторону? Покажи мне ее, эту линию... Ну вот и я не знаю. Однако же думаю, что если я и отошел от нее, то гораздо меньше, чем ты. Мой Филипыч, согласись, живой человек, у тебя же обобщение, метафора.

— Метафора — это не так уж и плохо,— усмехнулся Иванеев.— Наша русская иконопись вся насквозь метафорична. И не обобщением ли живопись и отличается от фотографии? А вот про линию ты сказал правильно: далеко отступать от нее опасно...

А про себя опять подумал: живописец, в сущности, тоже дает моментальный «снимок» человека, запечатлевая его в какой-то определенный момент. Но ему надо так показать человека, чтобы, глядя на него сиюминутного, можно было «догадаться» и о нем вчерашнем и можно было хоть как-то представить его завтрашнего... У Филипыча тоже ведь было когда-то и свое рассветное утро, и свои встречи и прощания. И, наверное, когда он ведет свой трактор бороздой, то не просто глядит в ту борозду, а еще и о чем-то думает при этом. На картине Бурковникова нет даже и намека ни на то, ни на другое. На его картине именно моментальный снимок чумазого, вихрастого тракториста, который сидит на раме плуга и курит...

Они еще не раз за вечер возвращались к этому разговору: и когда гуляли на закате по деревенской околице, и за ужином. И хотя каждый вроде бы остался при своем мнении — по опыту многолетнего знакомства с Бурковниковым Иванеев знал, что после такого разговора каждый из них «новым», более строгим глазом посмотрит на свои наброски и обязательно что-то исправит в них, что-то переделает, что-то «повернет» по-другому, а от чего-то и совсем откажется. Не это ли и связывало их и вот уже много лет держало друг подле друга, хотя были они, в сущности, очень разными людьми и не считались большими друзьями.

5

Иванеев и нынче поднялся рано, с рассветом. Вышел садом в поле, постоял, поглядел окрест: хлебное поле,

зеленая долина, дорога из той долины вытягивается в поле, а здесь узкая тропа бежит хлебами, то пропадая, то опять обозначая свой след.

«Куда ведет та тропа? А вот пойдем по ней и узнаем...»

Он шел неспешным шагом праздного, не имеющего определенной цели человека, шел просто так, куда глаза глядят и куда вела его полевая тропа.

Вчера он проводил на станцию Бурковникова, и теперь его деревенская жизнь вошла в свою прежнюю колею. Теперь он опять в благостном одиночестве будет бродить по полям и лугам, будет сидеть и писать, и никто и ничто ему не помешает.

Нынче он вышел налегке, без мольберта. Сначала надо окончательно продумать сюжет картины, а потом уж браться за кисть.

Филипыч и Алевтина, несущие на своих плечах утреннее солнце,— это, конечно, заманчиво. Но не будет ли это той второй «метафорической», а точнее — тут Бурковников прав — плакатной крайностью? Не лучше ли будет написать Алевтину и Филипыча, скажем, у того же родника... Солнечный луч высвечивает ту живую пульсирующую струйку, и они будут зачерпывать в роднике вместе с серебряной влагой и солнечный свет, они будут не нести на плечах солнце, а пить его берестяным ковшом. Пусть пьют родниковую силу земли, пусть пьют солнце — ведь им надо быть сильными, ведь на них все на земле держится...

Тропа вывела Иванеева на пологое взгорье, горизонт отступил, отодвинулся, и открылась новая даль: тоже хлебные поля, перевитые лентами дорог, тоже зеленые клинья оврагов, перелески, но все — другое, по-другому — в природе ведь ничто не повторяется...

И еще он напишет — напишет нынешним же летом — картину, которая будет называться «Там, за небосклоном...». И на ней будут вот эти зреющие хлеба, дороги, речка и дальний лесок. Но пусть в картине, условно говоря, присутствует и его знание того, что́ за горизонтом. И у тех, кто потом увидит эту картину, пусть возникнет ощущение, что небосклоном мир лишь ограничивается, но не кончается, что там, за этой трепетной линией,— его столь же прекрасное, сколь и разноликое продолжение. Но *что* именно там, за небосклоном,— это будет веч-

ной, волнующей человека тайной. Потому что ведь и вся наша жизнь не есть ли постоянное разгадывание этой тайны?! Что со мной будет завтра, через год, через двадцать лет? Чего добьюсь, что найду и что потеряю? Заплачу завтра или буду смеяться? Ответы — там, за горизонтом. Иди к тому месту, где небо склонилось к земле, и узнаешь, что будет с тобой завтра, но... Но перед тобой откроется новая даль и новый горизонт, и надо будет опять идти все вперед и вперед, чтобы увидеть свой новый день.

ПОВЕСТИ

ГДЕ НОЧУЕТ СОЛНЫШКО

•

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ

Началось все вот с чего.

Как-то в один из теплых дней ранней весны мы сидели с Любашкой в палисаднике нашего дома, на солнышке.

С высокого неба, с мокро блестевших крыш на нас низвергалась такая уйма света, что глаза с непривычки сами собой зажмуривались. Темный ноздреватый снег у забора истекал бесшумными ручьями, мокрый асфальт дымился, а отчаянно веселые, взъерошенные воробьи в драку купались в прогретых лужицах.

Незадолго перед этим мне довелось побывать на Дальнем Востоке, и я рассказывал дочке, как бродил с охотниками по Уссурийской тайге, как с рыбаками качался на крутых волнах Тихого океана. Рассказывал о знаменитом городе юности — Комсомольске и не менее знаменитой ныне, выросшей на берегу океана Находке, о дымящихся вулканах на Курильских островах и восходе солнца на Сахалине.

— А почему там день начинается раньше? — спросила Любашка.

— Потому, что солнце раньше встает.

— И оно прямо из моря поднимается?

— Прямо из моря.

— А где солнышко ночует?

Вопрос этот не то чтобы поставил меня в тупик, но все же изрядно озадачил. Не так-то просто объяснить четырехлетнему человеку, где ночует солнышко!

Я начал было рассказывать, как велика наша страна, как долго солнце идет над ней, но все это показалось Любашке не очень интересным.

— Я знаю: наша страна самая большая и самая победительная. Это нам Галина Ивановна говорила... А еще — красный цвет, он самый хороший. И синий то-

же — синее небо, водичка синяя... А красный цвет — потому что знамя красное...

Свежая голубизна неба зеркально-спокойно отражалась в лужах, и от этого они казались без дна. Разве что счастливо гомонящие воробьи нет-нет да и раскалывали эти голубые стеклышки.

— Па, асфальт бывает белый?

— Нет.

— А его можно белой краской выкрасить, и он будет белый?

— Можно, конечно. Но это удовольствие слишком дорогое и бессмысленное, пожалуй.

— Почему — бессмысленное?

— Потому что все равно затопчут.

— А-а...

В таком возрасте человека интересует решительно все: большое и малое, очень важное и самое пустяковое, ему еще и неведомо это деление на важное и неважное — все подряд важно, все необыкновенно интересно! И не только спрашивает маленький человек — ему не меньше нравится и объяснять, хотя объясняет он, конечно, не столь кому-то другому, сколь опять же самому себе.

Темно-голубые Любашкины глаза распахнуты настежь, и не сразу понять: то ли цвета они такого, то ли весеннее небо в них, как вон и в те лужи, смотрится. У нее и рот полуоткрыт от напряженного внимания и даже курносый, пуговицей, нос и то, кажется, принимает участие в этом интересном узнавании огромного и как бы обновленного весенним солнцем мира.

На веточку липы в углу двора села нарядная синичка и торопливо, взахлеб, зацвенькала. Должно быть, она хотела сообщить нам, что весна пришла не только сюда, в город, но и в леса, в поля, что весна идет по всей земле.

— А синичке, когда в гости идти, не надо переодеваться — она и так нарядная,— глядя на певунью, сказала Любашка.

— Да, пожалуй,— согласился я.

Синица поцвенькала еще немного и полетела сообщать свои радостные вести дальше.

Мимо прошла, должно быть с рынка, соседка. В авоське у нее картошка была перемешана с яблоками, а поверх лежали пышные, румяные булки.

Это навело Любашку на новые размышления.

— Яблоки растут на деревьях, картошка в земле. А булки?

— Что — булки? — не сразу понял я.

— Откуда привозят в булочную булки? Где они растут?

— Булки растут в поле,— ответил за меня густой сочный бас.

Мы оглянулись. Рядом с нами стоял высокий усатый дядя в сером полупальто и огромной мохнатой шапке.

— Дядя Коля!

Да, это был мой старый товарищ Николай Григорьевич. Когда-то мы с ним вместе служили на флоте, потом потеряли друг друга из виду, а недавно снова нашли. Жил Николай Григорьевич в одной из подмосковных деревень и хоть не часто, но заходил ко мне, когда случалось бывать в Москве. Не раз и я собирался наведаться к нему, да так за делами и не собрался.

— Может, хоть этим летом приедешь? — Николай Григорьевич глядел из-под мохнатой шапки почти сердито.— А то как-то даже неудобно получается: сам, можно сказать, хлебороб, еще вчера только от сохи, то бишь от трактора, а дочка не знает, где и как булки растут. Нехорошо!

— Конечно, нехорошо,— подхватила Любашка.

— А видела ли ты, как цветы в лугах цветут и роса на них горит?

— Нет, не видела.

— А как солнышко встает и той росой умывается? Как радуга-дуга воду из реки пьет?

Любашка в ответ только тяжело вздохнула.

— И как солнышко спать ложится? — подлил я масла в огонь.

— Ты и этого не видела? — У Николая Григорьевича даже усы встопорщились от горького сочувствия и недоумения.— Ай, нехорошо!

Напор был дружным, и я дал обещание обязательно приехать.

— Вот это дело! — Николай Григорьевич сбил шапку на затылок, и лицо его сразу стало добрым и веселым.— Жду на этой же неделе. Не понравится — что ж, понравится — хоть на все лето милости просим. Лес рядом, речка... Ну, я мимоходом, мне на поезд пора. До скорого!

Любашка провожала Николая Григорьевича, как ар-

тиста, показавшего интересный номер,— хлопаньем в ладоши.

— Поедем! Поедем!

— Поедем-то поедем,— сказал я.— Вот только тащить тебя по такой грязи...

— Не возьмешь? — Любашка была и огорчена и возмущена таким оборотом дела.— А дядя же говорил, чтобы вместе! И не надо тащить меня. Я уже большая.

И чтобы доказать, что она человек достаточно взрослый, не то что, к примеру, соседская Танечка, Любашка самодовольно похвастала:

— Таня говорит лисипед. Это неправильно. Я говорю правильно — вы-лы-сы-пед. И еще она говорит иродром, а надо — ародром. Иродром — это бы очень просто.

После таких веских доводов мне уже ничего не оставалось, как согласиться.

РЫЖИК

И вот мы едем к дяде Коле.

У окошка билетной кассы вышла заминка. Я помнил название деревни, в которой жил мой товарищ, название же станции, до которой следовало ехать, как-то вылетело из головы. Куда брать билет?

— Где речка и лес,— не задумываясь, подсказала Любашка.

Но, когда я то же самое сказал кассирше, та подчеркнуто вежливо, почти любезно ответила:

— Не морочьте голову, гражданин, а говорите толком: до какой речки и до какого леса? По дороге их много.

— До речки, на которой дядя Коля живет,— опять попыталась подсказать Любашка.

Но кассирша была непонятливой тетей и, услышав эту подсказку, уже совсем невежливо фыркнула в ответ:

— Дядя Коля, тетя Поля. На деревню дедушке...

— Не на Истре ли, случаем, живет ваш дядя Коля?— вмешался в разговор спортивного вида мужчина в охотничьих сапогах и с рюкзаком за плечами.

— Кажется, на ней. Деревня Полянка.

— Тогда все правильно. И ехать вам надо...

Дядя с рюкзаком подробно объяснил, где нам выйти и как идти от станции.

Я взял билет, и через пять минут мы уже садились в поезд. А через полтора часа были на месте.

Дорога от станции шла опушкой леса. Это была веселая, интересная дорога.

В одном месте мы увидели дружную пару красногрудых снегирей, в другом послушали веселое чоканье чечетки, на высоком дубу старательно работал дятел — мы и на его работу полюбовались. Потом сломили березовую веточку и, растерев в пальцах набухающие почки, долго, с наслаждением нюхали. А на склоне одного из овражков нам даже посчастливилось найти два нежных, хрупких подснежника. Любашка прыгала от восторга и кричала «ура».

Дорога сделала последний поворот, и уже стала видна прячущаяся в соснах и березах небольшая деревушка.

И вот на этом-то повороте, из-за кустов, вдруг как выскочит рыжий, огненный кот, а за ним, с лаем, две собаки.

Мы невольно остановились.

Кот удирал что есть духу, только хвост по снегу стлался, но собаки все же мало-помалу настигали его и вот-вот за пушистый хвост схватят! Еще минута, и конец коту — загрызут его собаки.

Любашка даже айкнула от страха и жалости и прижалась к моей руке:

— Бедный коша!

Между тем «бедный коша» проносился в это время мимо телеграфного столба, что стоял на обочине дороги. И вдруг как вскинется на тот столб — только его собаки и видели. Подлетели они к столбу, головы задрали, гавкают, а кот уже чуть ли не к самым чашечкам добирается — достань его!

— Молодец! Молодец! — захлопала в ладоши Любашка.

Но то ли кот на другую сторону столба перелез — а ночью изморозь была, и столбы с наветренной стороны слегка обледенели,— то ли еще что, а только вдруг как зашумит наш рыжий вниз по столбу и перед самым носом своих врагов — шмяк!

Собаки, видно, не ждали ничего подобного. А может, им показалось, что кот от бегства и обороны перешел в наступление. Во всяком случае, не успев еще ничего сообразить, они, как от бомбы, отпрянули в разные сто-

роны. А кот, не будь плох, быстро понял, что к чему, и снова ударился наутек. Теперь и собаки пришли в себя и опять кинулись в погоню. Разозлились пуще прежнего — лают, языки длинные этак устрашающе высунули. И опять мало-помалу начинают настигать свою жертву, опять огненный хвост перед самыми их мордами замаячил.

— Жалко Рыжика! — сквозь слезы пробасила Любашка.

По совести говоря, мне тоже было жаль кота, но чем мы могли ему помочь?

Тем временем из-за поворота грузовичок выкатился и, обогнав нас, через минуту-другую поравнялся с собаками и котом.

И что же, вы думаете, сделал кот? А кот сделал вот что. Он приладился к ходу машины — бежать по насту было легко,— а потом изо всех сил как сиганет на кузов и повис на лапах на заднем борту.

Тут уже не только Любашка — я, человек бывалый, и то подивился сметливости рыжего: надо же сообразить!

А кот — мало того! — чувствуя себя в полной безопасности, висит на лапах и то через одно, то через другое плечо этак озорно и насмешливо поглядывает на своих одураченных преследователей: что, мол, взяли?

Так на машине рыжий и въехал в деревню.

Вскоре пришли туда и мы.

Все здесь оказалось так, как и говорил нам дядя Коля: и лес был рядом, и Истра протекала совсем недалеко.

Главную улицу деревни составляли рубленые избы с добротными дворами, с огородами и садами на задах. На том краю, которым селение примыкало к лесу, виднелось несколько домиков с застекленными террасами.

На деревенской околице стояло новенькое под шифером длинное строение с силосными башнями по концам и колодцем у середины — должно быть, коровник. Чуть в стороне дымила кузница, обставленная разобранными тракторами, косилками, сеялками...

Проходя мимо кузницы, мы увидели Николая Григорьевича. В ватнике и все той же мохнатой шапке он копался в моторе трактора.

— Знаете, вчера скворцы прилетели,— обрадованно сообщил он нам, еще не успев поздороваться.

— А что с ним случилось? — участливо и этак деловито спросила Любашка, кивая на мотор.

— Да вот, понимаешь, простудился, что ли,— так же серьезно, выдерживая тон, ответил дядя Коля.— Кашляет, чихает...

Мотор и в самом деле закашлял-закашлял, потом громко чихнул и остановился.

— Вот и думаю: то ли компресс ему поставить, то ли...

— Компресс! — решительно посоветовала Любашка.— От простуженья он очень помогает.

— Пожалуй... Ну, вы идите до хаты, вон она.— Мой товарищ показал на один из крайних к лесу домиков.— Я за вами же следом. Вот только компрессию подрегулирую.

Дом с трех сторон окружал большой сад. У калитки нас встретила жена Николая Григорьевича, очень милая, очень добрая женщина. Она провела в дом и, еще не дав оглядеться, с ходу же начала угощать горячим, из печки, молоком. Я было стал отказываться: неудобно, будто мы специально молоко пить приехали! Но тетя Шура была настойчивой.

— Вы как хотите, а ребенку обязательно надо выпить с дороги что-то горячее.

Любашка без колебаний приняла чашку и, твердо уверенная в том, что угощать нас молоком доставляет хозяйке одно удовольствие, еще и меня попотчевала:

— Пей, папа! Тебе тоже надо что-то горячее.

В это время не прикрытая хозяйкой дверь тихонько скрипнула, и на пороге комнаты появился... да, наш знакомый рыжий кот.

— Ры-ижик! — не сказала, а как бы удивленно выдохнула Любашка, и веря и не веря своим глазам.— Милый Рыжик!

— Откуда ты знаешь его, малышка? — еще более удивленная, спросила хозяйка.

Любашка описала ей в страшных красках сцену, разыгравшуюся у въезда в деревню.

Сейчас кот был мало похож на того рыжего забияку, который висел на борту и озорно поглядывал через плечо. Должно быть накормленный хозяйкой, он теперь покойно сидел на пороге и блаженно жмурил свои зеленые глаза, облизываясь время от времени. Всем своим

видом кот как бы хотел сказать: да, было такое. Но ведь мало ли что случается в жизни и стоит ли все так подробно расписывать?

— Тетя Шура,— попросила Любашка,— а можно, я его немножко потрогаю?

— Ну конечно, милая. Рыжик, Рыжик, иди сюда.

Кот навострил уши, убедился, что зовут именно его, и неторопливо, обходя сторонкой меня, приблизился к хозяйке. Он разрешил Любашке погладить себя по огненной шерсти, а когда понял, что ничего плохого этот маленький человек против него не замышляет, развалился на полу и густо, басовито замурлыкал.

— Рыжик, Ры-ижик,— захлебываясь от счастья, приговаривала Любашка.— Хороший Рыжик. Пушистый Рыжик...

— Ну вот, видите, какой замечательный у нас кот,— сказал, входя в комнату, Николай Григорьевич.— А еще у нас есть Никита. Ну, заходи, заходи. Где так ты больно смелый, а здесь, скажи пожалуйста, застеснялся!

Сбычившись, глядя в пол и никуда больше, следом за Николаем Григорьевичем вошел худенький, очень похожий на отца, чумазый паренек Любашкиных лет.

— Ну, подойди поближе,— позвала его тетя Шура,— познакомься вон с девочкой.

Никита будто и не слышал мать. Постояв немного и, видимо, считая, что для первого знакомства этого вполне достаточно, он опрометью выбежал из комнаты.

Любашка, очень любившая всякие новые знакомства, была несколько обескуражена.

— Ничего, еще навидаетесь,— успокоил ее Николай Григорьевич.

О том, что на лето мы приедем к ним, и он и тетя Шура говорили, как о чем-то давно решенном. Нам уже и комната была определена, и в разговоре, во время обеда, можно было не раз слышать: «Ваша комната солнечная», «Выход из вашей комнаты через террасу...»

Я не спрашивал Любашку, понравилось ли ей здесь,— это и так было видно. И, когда ехали домой, всю обратную дорогу только и разговору было, что о нашем будущем деревенском житье.

— А Рыжик будет приходить в нашу комнату в гости?

— Мы его попросим, чтобы ходил.

— Я ему вкусных конфеток привезу. Вы мне купите

на день рождения, а я только две съем, а остальные ему оставлю.

— Он не любит конфеты.

— Почему???

Такой умный кот и чтобы не любил самое вкусное, что есть на свете,— вот уж непонятно!

— А давай заведем своего такого кошу!

Я ответил, что, наверное, трудно будет найти именно такого рыжего. Да и стоит ли, скоро переедем — этот будет с нами в одном доме.

— Тогда давай заведем маленькую собачку.

— Вот это, пожалуй, мысль. Надо подумать.

— Подумай. Обязательно подумай!

Когда приехали домой, о том же самом Любашка попросила и мать:

— Подумай, мама, насчет собачки. Нам очень нужна собачка.

— Даже очень?

— Очень-преочень!

— Ну, уж если так — тогда, конечно, надо подумать!

КУТЕША

Так в нашем доме появился месячный кутенок волчьей масти — кругленький, на коротких ножках, мягкий, пушистый.

Щенка вымыли с мылом и выискали. Сначала он вырывался, скулил, боялся захлебнуться и только потом понял, как это хорошо.

Распаренный и утомленный баней, он заснул прямо у меня на коленях и спал очень крепко. Любашка поднимала ему лапу, и лапа падала, как неживая, трясла за уши, щекотала — кутенок не подавал никаких признаков жизни. Он и спал не по-собачьи, а на спине, кверху лапами, очень милый своей беспомощностью.

Первые дни кутенок неутомимо бегал по комнатам, ко всему приглядывался, ко всему принюхивался. Залезет под стол, поглядит, что там и как, подбежит к этажерке с книгами — понюхает, увидит Любашкину игрушку — потрогает лапой, поиграет с ней. Все очень интересно и до всего ему дело!

Однако, все оглядев и обнюхав, кутенок пришел к выводу, что самое интересное не вещи, а люди. И как

только он это усвоил, уже не отходил от нас, особенно от Любашки. Стоит ей сесть на свой низенький стульчик — он уж лезет к ней черным носом целоваться. Ляжешь на диван — кутенок тут как тут и просится, чтобы его взяли к себе. Сядешь к письменному столу — обязательно устроится на твоих ногах, угреется и готов хоть час, хоть два так лежать. Особенно любил он лежать на опушенных собачьим мехом тапочках, первое время даже сосать их пытался — свою мать, видно, глупый, вспоминал. А как-то выставили их на солнце, так он побегал-побегал по двору, а потом улегся на тапочки и уснул.

Мы тоже попривыкли к кутенку, охотно играли с ним. Про Любашку и говорить нечего: она готова была и есть с кутенком из одной чашки, и спать на одной подушке. Особенно в большое восхищение приводила ее мягкая, пушистая шерсть щенка. Любашка без конца гладила его по спине и распевала при этом песенку собственного сочинения:

Серый песик,
Черный носик,
Ах какой пушистый пес!

Одно было не совсем ладно. Нам, взрослым, хотелось бы играть с пушистым псом лишь в свободное и удобное для нас время, он же решительно не признавал деления времени на свободное и несвободное. Кутенок хотел играть с нами двадцать четыре часа в сутки. И спать он хотел не один, а обязательно вместе с нами.

Постепенно любовь и привязанность пушистого пса начинала принимать прямо-таки угрожающие размеры.

Взять хотя бы то же спанье. До этого я спал на диване в одной комнате, Любашка с матерью на кровати — в другой. Щенку постелили в уголочке, недалеко от дивана. Однако стоило мне улечься — пес немедленно же устремлялся на диван: вот, мол, где ты! Я притворялся спящим, но кутенок не отступался: с какой стати он будет где-то в углу, когда можно совсем рядом?!

В конце концов с дивана пришлось перебраться на кровать, а дверной проем, соединяющий обе комнаты и завешенный лишь портьерой, на ночь баррикадировать.

Укладываясь спать, я выпроваживал кутенка и нагромождал под портьеру ящики с Любашкиными куклами, стульчик, игрушечную коляску, книжки-ширмочки. Побегав-побегав перед баррикадой, кутенок наконец сми-

рялся и тоже укладывался на своем матрасике в углу. Однако, просыпаясь чуть свет в одиночестве, он уже не мог выносить его далее ни минуты и напролом рвался к нашим кроватям и будил нас. Мы, еще не выспавшиеся и потому сердитые, ругали пса, а однажды, когда он разбудил нас особенно рано, я даже слегка побил его. Как он обиделся, как горько заскулил, потрясенный такой несправедливостью! Как же так: я рвался к вам, вон какую гору вещей разворотил, сил не жалел, а когда дорвался-таки — вы ругаете меня и даже бьете?! За что? Разве это плохо, что я вас люблю и мне скучно без вас?

А как-то в воскресенье просыпаемся уже довольно поздно и дивимся, что сами проснулись, а не кутенок разбудил. Пса вообще что-то не слышно. Впрочем, что-то шуршит под письменным столом и время от времени раздается непонятный треск. Интересно! Я встал и заглянул в свою комнату. Эге! На полу около стола валялся добрый десяток разбитых яиц, а кутенок со смаком высасывал их.

— Что ж ты делаешь? — строго спросил я.

Пес в ответ вильнул хвостом: мол, сам видишь,— и продолжал завтракать.

Бить его не имело смысла. Коробка с яйцами стояла под столом. И всего-то скорее, наверное, так получилось, что выкатил пес яичко поиграть, а оно, как в той детской сказке, возьми да и разбейся. Пес лизнул — вкусно! А если вкусно — давай и другое выкатывать.

Перемазался кутенок яйцами, шерсть на морде склеилась, пришлось мыть.

Утром мы выпускали его погулять, побегать по двору. Однако стоило отвернуться на минуту, заглядеться на что-то или с кем-то заговорить — кутенок уже оказывался на помойке. И кормили ведь хорошо, а вот, поди ж ты,— тянуло, как магнитом, на помойку, и все тут. Крикнешь сердито — бежит обратно виноватый, с поджатым хвостом: мол, понимаю, что нельзя, да что могу поделать, тянет — там такие смачные кости!..

«Скорее бы в деревню! — говорили мы.— Там ему будет привольно. Там и баррикад не надо будет никаких строить, и гулять есть где, а значит, и ругать его, глупого, будет не за что».

Наконец-то долгожданный день нашего отъезда в деревню наступил.

Погрузили на машину вещи, сами сели и кутенка с собой взяли. А чтобы он по глупости не выпрыгнул на ходу из кузова, повязали ему на шею Любашкин платок и за платок этот держали. Очень смешно и жалко выглядел пес в повязке. А к тому же и чувствовал он себя на летящей машине, среди неустойчивых, вдруг оживших и постоянно передвигающихся с места на место вещей, очень неуверенно, непривычно.

— А ведь мы до сих пор так и не придумали кутенку никакого имени,— пришло мне в голову.— Убежит он гулять — как домой зазывать будем?

— Так мы же зовем его Кутенком,— довольно логично на сей раз возразила Любашка.— Можно еще и так: Кутеша.

— Кутенком зовут любого щенка,— объяснила Любашке мать.

— Это так,— сказал я,— но только, чем какой-нибудь Дозор, Трезор или Рекс, и в самом деле не лучше ли — Кутеша?

Между тем во время разговора, когда произносилось слово «кутенок», пес настораживал уши и слегка помахивал хвостом: да, мол, я здесь, вы что, разве не видите?

Ну, можно ли было после этого называть его как-то иначе?! И было решено: Кутеша.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Вот мы и в деревне.

Воздух здесь совсем другой, чем в Москве,— чистый, вкусный. И небо ясное, высокое, и солнышко светит ярче. Куда ни глянешь — нежная, радующая глаз зелень, под ноги тебе молодая упругая травка стелется, а если где на огороде или на поле голую, ничем не прикрытую землю увидишь — и она здесь не то, что в городе: черная, рассыпчатая, духовитая.

Сад около нашего дома был разнородный: вишни, яблони, смородина росли вперемежку с рябинами и березами. По краям густо зеленел молодой черемушник, а над ним возвышались редкие сосны и елочки. Одно окно нашей комнаты выходило на самую глухую, самую тенистую сторону сада. Здесь, вдоль изгороди, в кустах стояло три улья, и от них доносилось веселое пчелиное жужжание.

У нас, взрослых, знакомство с новым местом не заняло много времени. Оглядывая сад, мы прикидывали: здесь, между елками, повесим гамак — тень, прохлада; на той березке пристроим умывальник, а этой тропинкой будем ходить на колодец за водой...

Любашка и Кутенок знакомились с участком куда основательнее. Сколько самых разных открытий сделали они для себя в первый день!

С небольшой полянки, где мы увидели одну лишь густую траву, Любашка прибежала с расширенными глазами.

— Па-апа! — длинно пропела она.— Что я сейчас видела! Бабочку! Нарядную-пренарядную. Села на цветок и крылышки вот так, чердачком, сложила... Нарядная-разнаря-адная!

Через некоторое время Любашка уже тянула меня в другое место:

— Пойдем, что я тебе покажу.

И показывала в кустах аккуратно спиленный пень, заставляла обязательно посидеть на нем.

— Хорошо? Лучше, чем на стуле. Когда я устану, буду здесь сидеть...

Под террасой Любашка нашла гнездо хозяйской курицы с теплым, только что снесенным яичком. Ах, какое это было чудесное, почти прозрачное на свет яичко!

А на одной из елок, под которыми мы облюбовали место для гамака, ей удалось выследить белочку. Жаль только, белка не поняла ее. Любашка позвала тихонько: «Белочка, белочка!»— а та, вместо того чтобы спуститься пониже, прыгнула под самую вершину и совсем исчезла. А ведь в сказке о Салтане белка грызла орешки у всех на виду и никого не боялась!..

А вот уже с какой-то новой вестью бежит сломя голову взбудораженный человек:

— Папа! Мама! Что я видела! Птицу! Большую! У нее такой пиджачок, здесь белая рубашка с красным галстуком, а на голове черная шапочка. А клювом она по дереву — тук-тук. Пойдемте, я покажу.

Мы шли — нельзя было не идти — и глядели, как тукает на сосне птица в черном пиджаке.

— Это ж дятел,— говорил я Любашке.— Ты разве забыла — мы видели его месяц назад по дороге сюда?!

— Да-да,— обрадованно вспоминает Любашка.— И это тот самый?

— По-моему, он. Правда, тогда было плохо видно, какая на нем рубашка, но пиджачок и шапочка — те самые...

Любашке шел пятый год. Возраст, прямо сказать, невеликий. И все же по сравнению со своим четвероногим дружком ее можно было считать почти взрослым человеком.

Что-то она видела в первый раз, а что-то уже и во второй и в третий.

Кутенок весь окружающий мир открывал для себя впервые. Вот он побежал, вернее, помчался вслед за Любашкой. Но что это? В траве прямо у него из-под лапы прыгнул вверх и, пролетев немного, опять опустился в траву зеленоватый комочек. Еще прыжок, еще. Наверное, этот комочек не так уж страшен, если побаивается его. Для Кутенка это очень важно. Он смелеет и пытается прихлопнуть лягушонка лапой. Наконец это удается. Принюхивается: пахнет невкусно, какой-то сыростью. Что ж, прыгай дальше...

Кутенок слышит незнакомое ему доселе гудение — ровное, монотонное,— и это его, конечно же, заинтересовывает. Он подкрадывается к маленьким аккуратненьким домикам на чурбаках и, подняв ухо, долго слушает, как гудит улей, смотрит с чисто детским любопытством, как влезают в леток и вылезают из него обратно желтые мохнатые существа.

За углом дома залаяла на кого-то хозяйская собака Джульба. Кутенок скорее несется туда, видит Джульбу и — то ли за мать ее принимает, то ли просто хочет познакомиться — с радостным визгом бросается к ней. Сердитая, сидящая целыми днями на цепи Джульба, не разобрав, в чем дело, ощетинивается.

«Р-р-р...» — рычит она и — тяп Кутенка за ухо.

Ах, как он заскулил-заплакал! И не столько от боли, надо думать, сколь от обиды и несправедливости. Ведь он бежал к ней с открытым сердцем — зачем же кусаться?!

Кутенок подбегает ко мне, жалуется. Я его глажу по мягкой шерстке, жалею, ругаю большую дуру Джульбу, и щенку становится вроде бы полегче, он радостно виляет хвостом.

— Мы ее, плохую Джульбу! — приговаривает в утешение псу и Любашка.— Обидела маленького Кутю. Мы ее!..

Кутенок слышит наши угрожающие голоса и в тон нам тоже начинает потихоньку урчать: хочет показать себя большим, самостоятельным, хочет тоже кому-то грозить, кого-то устрашать...

Любашка убежала в сад, спряталась за ствол сосны и позвала:

— Кутеша! Кутеша!

Кутенок кубарем скатился с моих колен и что есть силы, дважды перекувыркнувшись через голову, понесся на голос.

Любашка перепряталась за елку, за куст черемухи... Началась обычная детская игра в прятки.

Но вот в самый разгар этой игры, за одним из кустов, Кутенок вдруг наткнулся на какое-то белое страшилище. Похоже, птица, но какая она огромная! Какой большой клюв у нее, а на голове вдобавок ко всему еще и красная зубчатая шапка.

«Ко-ко-ко!» — поглядывая сверху вниз блестящим черным глазом, сказала птица, и нельзя было понять, что это значит: угроза или приветствие.

Кутенок замер. А из-за куста появляется еще одна, и страшнее первой: у нее и хвост огромный — длинные разноцветные перья аж кольцом завились, и красные зубцы на голове такой величины, что набок свесились. И вдруг это второе страшилище как захлопает своими огромными крыльями да как закричит:

«Ку-ка-ре-ку-у-у!»

Какой грозный голосище! Кутенок взвизгивает от ужаса и, поджав хвост, бросается наутек.

Ну и денек сегодня! Всякие неожиданности подстерегают бедного пса прямо-таки на каждом шагу. Все здесь, в этом незнакомом зеленом мире, ново, загадочно, непонятно.

Заявился с улицы Никита.

Завидев Кутенка, Никита, ни слова не говоря, протопал к нему, присел, а потом лег рядом на траву, нежно обнял пса. Растроганный Кутенок лизнул Никиту в нос, тот счастливо засмеялся и погладил пса по мягкой шерстке.

Любашка нахмурилась и этак значительно поглядела

на Никиту. Парнишка, должно быть, понял этот взгляд и убрал руку с Кутенка.

— Он цей? — Это были первые слова, какие мы услышали от Никиты.— Твой?

— Он наш,— ответила Любашка.

— А мозно я его потлогаю?

То же самое спрашивала Любашка у тети Шуры про Рыжика месяц назад.

— Конечно, можно,— раздобрилась Любашка.— Он теперь будет и наш и твой.

Никита по достоинству оценил такую щедрость, потому что, вдосталь наигравшись с Кутенком, сказал Любашке:

— Пойдем, я тебе еактивный самоёт показу.

Судя по доверительному тону Никиты, такой чести удостаивался далеко не каждый.

В дальнем углу сада, у небольшого сарайчика, валялись обрезки досок вместе с худым, без дна, ведром. Но то, что я принимал за кучку досок, оказалось боевой реактивной машиной, а ведро — передней бронированной частью этой грозной машины.

Вот Никита сел в самолет, и через какую-то минуту по саду уже гремело:

— Иду на таян!

Оказывается, отважный парень этот Никита! Шутка ли: идет на таран, и хоть бы глазом моргнул.

Любашка завистливо глядит на Никиту, глядит, как он лихо проносится мимо нее, разит налево и направо врагов острой саблей (все, даже рубить саблей, находясь в самолете, может настоящий герой!), затем идет на посадку. Тут Никита натурально отирает пот со лба — так делают все летчики, когда возвращаются на аэродром,— устало вылезает из кабины — еще бы не устать после такого боя! — и тогда только сажает на свое место Любашку.

Я иду в комнату.

Утомленный беготней и треволнениями, Кутенок бежит следом за мной. И так слишком много впечатлений за один день!

Домашний мир — это нечто уже обжитое, освоенное. Здесь уже не может быть никаких неожиданностей. Стол, стулья, кровать, Любашкины игрушки — все это сто раз виденное и обнюханное.

Однако и здесь нынче творится что-то неладное. Что это за огненный зверь идет из кухни в комнату? Какие усищи у этого зверя, какой большущий хвост и как уверенно, по-хозяйски ступает он своими мягкими лапами!

Кутенок оглядывается на дверь, но я нарочно прикрываю ее, и, значит, бежать некуда. А огненный зверь между тем, только сейчас заметив пса, вдруг выгибает спину дугой, топорщит шерсть и зловеще фыркает, страшно шевеля при этом своими огромными усами. Такое начало не предвещает ничего хорошего, и Кутенок, попятившись к моим ногам, сидит ни жив ни мертв.

— Рыжик! Киса! Поди сюда,— зову я.— Киса!

Кот глядит на меня мудрыми глазами — и ни с места. Богатый жизненный опыт научил его держаться от собачьего рода подальше. Собака, даже маленькая,— исконный враг. Правда, эта собака не гавкает на него и вообще ведет себя более чем мирно, но все же лучше ухо держать востро. Спину, пожалуй, можно распрямить и шерсть дыбом держать не обязательно — это так, но не больше того.

Кутенок тоже понемногу успокаивается: страшный зверь, похоже, не так уж и страшен, как показалось сначала.

Но как, как их познакомить поближе?

Я наливаю в блюдце молока и ставлю его на середину комнаты, поближе к Кутенку. Кутенок привык лакать из этого блюдца и с предосторожностью, правда, но все же подходит к нему: голод не тетка, а пес с утра ничего не ел. Да к тому же он твердо уверен, что если налили в его блюдце — значит, это именно для него.

Рыжик некоторое время глядит на щенка, на блюдце с молоком, облизывается, но подходить не торопится. И только когда Кутенок, войдя во вкус, начинает лакать особенно звучно и аппетитно, кот не выдерживает и делает шаг вперед. Еще шаг. Пес перестал лакать, поглядел на кота, и тот остановился.

Нет, так они никогда не сойдутся!

Я присаживаюсь на корточки рядом с блюдцем и, поглаживая, ободряя Кутенка, в то же время подзываю кота:

— Кис-кис!

Кот сделал еще шаг вперед. Теперь я уже могу достать его. Придерживая Кутенка одной рукой, другой беру Рыжика и разом подтаскиваю к блюдцу.

В первое мгновение повторяется то, что уже было: щенок хочет отпрянуть в сторону, а кот фырчит и дыбит свою рыжую шерсть. Каждый из них уверен, что сейчас, сию минуту произойдет что-то страшное: один будет растерзан другим.

Но ничего страшного не происходит. Щенок, конечно, все равно побаивается, его пробирает мелкая дрожь, а бывалый кот разгладил шерсть и успокоился. Ему уже окончательно ясно, что этого зверька — хоть он и собака — можно не бояться, он сам пятится.

Я тыкаю кота носом в блюдечко. Он лакнул раз-другой, остановился. Нет, по-прежнему все спокойно. Можно лакать дальше. Тогда я потихоньку подтаскиваю к блюдцу и упирающегося Кутенка.

— Он же сожрет у тебя все,— говорю я щенку.— А больше я могу и не дать. Понял?

Щенок уже почти достал до блюдца, но вдруг коснулся своим лбом лба и усов Рыжика.

«Фр-р-р!» — фыркнул опять кот, словно получилось короткое замыкание.

Кутенка тоже будто током шибануло.

Но и опять ничего ужасного не произошло. Никто никого не растерзал.

Прошла еще минута, и Рыжик с Кутенком лакали молоко, уже не отрываясь.

Так состоялось это трудное знакомство.

— Гляди-ка, Никита! — радостно и удивленно воскликнула Любашка, входя вместе со своим новым другом в комнату.— Кутеша и Рыжик вместе!

— А Дзульба не любит Рызыка.

— Джульба плохая, а они хорошие,— объяснила Любашка.— Они оба хорошие.

РАЗГОВОР С ЖАВОРОНКОМ

Постепенно деревенская жизнь наша вошла в свою колею.

Утро мы начинали физзарядкой на полянке, под соснами. Все мои движения Любашка повторяла старательно, истово, только часто путалась, так как стояла ко мне

лицом, и когда я, скажем, поднимал правую руку, у нее сама собой подымалась левая.

Умывание под березкой. Завтрак. После завтрака мать ехала в Москву, на работу, а мы с Любашкой или копались на огороде, или брали одеяло и лежали на нем под соснами, читали, разговаривали. После недавней болезни мне было строго наказано врачами находиться на воздухе как можно больше.

Под огород тетя Шура дала нам вскопать малюсенький клочок земли, рядом с черемушником. Мы сделали три грядки: на одной посадили лук, на другой — редиску, на третьей посеяли морковь.

— А нельзя ли раскорчевать вот тот дрянной кустарник и сделать еще грядку? — спросил я у хозяйки.

Тетя Шура охотно разрешила и была немало удивлена, когда увидела, что раскорчеванное место я засеваю пшеничными зернами.

— Это мне надо для одного опыта,— пояснил я.

Тетя Шура понимающе кивнула, будто я был доктором сельскохозяйственных наук и будто бы она и в самом деле поверила моему объяснению.

В работе на огороде постоянную и весьма ощутимую помощь оказывала мне Любашка с Кутенком.

Я копаю землю, и Любашка своей маленькой лопаткой копает. Хорошо копает, старается вовсю. Разве вот только лопатка плохо слушается и земля с нее почему-то чаще летит в мои тапочки, чем на грядку. А пес вслед за той землей кидается и то прямо под мою лопату кинется, то на мои тапочки. Очень здорово у нас работа спорилась.

Вскопали, разрыхлили граблями землю, я межи понаделал. Любашка берет свои маленькие грабли и те межи старательно заваливает.

— Это ты зачем?

— А так лучше,— убежденно отвечает Любашка.— Красивше! Смотри-ка, как ровно — как стол.

— Но мы же на этом столе обедать не собираемся. Мы тут редиску сеять хотим — забыла? А как между грядками ходить будем — поливать, полоть?

Межи восстановлены. Я беру семена редиски, кладу их в мелкие ямки и засыпаю. Кутенок видит, что я делаю, и тоже, хоть чем-то желая помочь мне, быстренько выкапывает те семена.

— Это ты зачем? — теперь спрашивает уже Любашка.— Зачем выкапываешь?

— А это он видит, что я неправильно посадил семечко — слишком глубоко, вот и выкопал,— объясняю я.— Посадим помельче — скорее прорастет.

— Какой умные пес! — восторгается Любашка.— Все понимает!

— Умнейший пес,— поддакиваю я.

Так, втроем, мы обработали свой огород.

Никита никакого участия в нашей работе не принимал. Он или со скучающим видом наблюдал со стороны за нашим копанием в земле, или попросту уходил на улицу к своим приятелям. То, что для нас, особенно для Любашки, было новым, необыкновенным и потому интересным, для Никиты было давно примелькавшимся и потому скучным.

Он мог подолгу, без роздыха, гонять мяч, мог целыми днями, забывая про еду, торчать в своем углу за сараем и крутить там за педаль колесо от разбитого велосипеда или что-то ладить, что-то строить. Строил Никита по большей части самолеты и ракеты. Он весь как бы устремлен был в небо, в космос.

Любил Никита и в поле бывать с отцом, но каждый раз возвращался оттуда таким пропыленным и промасленным, что задавал матери слишком много работы, и она старалась отпускать его пореже.

Мы с Любашкой тоже как-то два дня подряд провели на колхозном поле.

Еще раньше нам приходилось видеть, как готовился под посев большой, начинавшийся сразу же за деревенской околицей участок. Когда мы пришли на него, участок засевался. Гусеничный трактор с сеялками на прицепе ползал из края в край по загону, и земля там, где проходил агрегат, делалась темной и как бы причесанной ровным гребнем.

Николай Григорьевич разрешил нам с Любашкой встать на доску, сзади сеялок, и мы объехали один круг, второй, третий... Интересно было глядеть, как пшеничные зерна потихоньку вытекают из ящиков и ровной струйкой падают в мягкую, хорошо возделанную землю.

— А зернышки такие же, как и мы сеяли,— заметила Любашка, с удовольствием пересыпая в ящике текучее пшеничное золото.— А зачем их в землю прячут?

Об этом она уже спрашивала меня, когда мы засевали свою грядку.

— Из каждого такого зерна — я тебе уже объяснял — через две недели вырастет зеленый стебелек, а потом...

— Что — потом?

Любашка явно хитрит. Тогда я не досказал, что же будет с зелеными ростками «потом», а ей это, как видно, знать очень хочется.

— Что будет потом,— опять ухожу я от прямого ответа,— сама увидишь и узнаешь. Будем ходить на это поле почаще и следить за зелеными стебельками. Хорошо?

— А полей много?

— Очень много. Там, за лесом, опять будет поле, за рекой — тоже. Где-то еще стоит лес, а перейти через него — опять увидишь поле; где-то еще текут реки, стоят села и города, высятся горы, а за теми реками, за теми горами — опять поля и поля. И так по всей нашей земле вплоть до Дальнего Востока, о котором я тебе рассказывал и до которого если на скором поезде ехать, и то проедешь десять дней.

— И везде, на всех полях сейчас пашут и сеют?

— Да, везде. А на юге посеяли еще месяц назад — туда весна приходит раньше.

— И там зеленые стебельки уже появились?.. Как хочется стебелек увидеть!

Любашке так не терпелось увидеть таинственный — выросший из зерна! — зеленый стебелек, что она нет-нет да и спрыгивала с сеялки, останавливалась и подолгу внимательно глядела на бороздки, в которые укладывались семена: не появится ли где хоть один.

Нет, стебельки не появлялись. Только один раз она приняла за них зеленые перышки живучего, уцелевшего от борон и культиваторов пырея и очень огорчилась, узнав о своей ошибке.

А весь второй день мы пробыли на приречном поле, которое засевали кукурузой. Тут уж мы не только глядели на работу сеяльщиков, но и помогали им.

Кукуруза — не пшеница, ее сеют точными квадратами. И чтобы квадраты получались хорошие, из конца в конец поля протягивают мерную проволоку. Вот мы с Любашкой и следили за этой проволокой, когда надо, поправляли ее. Работа ответственная, и мы относились к ней очень

серьезно. Особенно Любашка. Она однажды даже прикрикнула на оплошавшего Николая Григорьевича.

— Куда же ты едешь, дядя Коля?! Разве не видишь — проволока!

Только вот никак не могла понять Любашка, зачем делаются эти квадраты.

— Из этих зерен тоже вырастут зеленые стебли,— объяснял я ей.— И пока они маленькие, слабенькие, их будет глушить всякая сорная трава. Как с ней быть, с этой травой?

— Выполоть ее! На огороде же мы полем.

— Огород маленький, а поле-то вон какое — попробуй выполи. И вот трактор будет ходить между рядками, так и этак, и культиватором резать траву.

— А что, если дядя Коля вместе с травой и кукурузу срежет? — обеспокоилась Любашка.— Надо ему сказать.

— Вообще-то он сам знает, но можно и сказать.

И на первой же остановке Любашка строго наказывала Николаю Григорьевичу не резать при прополке кукурузных стеблей, быть осторожным.

— Гляди, дядя Коля, лучше!

Николай Григорьевич вполне серьезно, без улыбки пообещал:

— Обязательно буду глядеть!

Впрочем, от улыбки он все же не удержался, но так хитро спрятал ее под усами, что Любашка не заметила. До таких ли тонкостей было ей в ту минуту! Шутка сказать: ее слушают усатые дяди!

Как раз во время остановки трактора, сверху, из небесной глуби, до нас донеслась радостная переливчатая песня жаворонка. Вот он опускается ниже, а вот опять кругами набирает высоту и снова снижается. Пение то удаляется, почти замирает в небесной голубизне, то становится громким до легкого звона в ушах. Мы стоим посреди поля, задрав головы, и нам хорошо видно, как серенькая, невзрачного оперения птичка часто-часто трепыхает, будто в ладошки бьет, своими крыльями и поет, поет, поет.

— Чему он так радуется? — тихонько, словно боясь спугнуть певуна, спросила Любашка.

— Радуется весне, солнышку... Знаешь, как мы встречали весну, когда я был маленьким? Как только начнутся первые оттепели, как только солнышко с зимы на весну

повернет — мать напечет нам из теста жаворонков, и мы бегаем по улице с ними и кричим: «Жаворонок, прилети, красно лето принеси...» Вот как мы его ждали! И уж если ему, жаворонку, все, и большие и маленькие, рады — он тоже всем рад. Он радуется, что люди вышли на поля и засевают их.

— И он видит меня и тоже радуется?

— Ну конечно, ему сверху все очень хорошо видно.

— А как бы сказать, что и я ему очень рада?

— Сейчас попробуем.— Я дождался, когда жаворонок спустился пониже, и тихонько, тоже с переливом, посвистел.

— Услышал, услышал! — Любашка даже подпрыгнула от восторга.— Еще громче запел!

Я не был уверен, что жаворонок действительно услышал и понял меня, но об этом лучше было промолчать.

— Хорошо в поле! — довольно заключила Любашка, когда под вечер мы возвращались домой.— Хорошо земелькой пахнет. И небо здесь большое. И жаворонки поют...

МАЛЬЧИШКИ НА ЗОЛОТЫХ ЛОШАДЯХ

Нынче у нас что-то вроде выходного дня. Бездельно валяемся на траве с Любашкой. Чуть в сторонке, под кустом черемухи, Никита мастерит какую-то хитроумную машину. Похоже, Никита стесняется своего не очень чистого выговора, потому что до сих пор, особенно при мне, держится несколько особняком. Вызываешь на разговор — «да», «нет» отвечает или совсем молчит.

Глупый Кутенок носится по саду; побегает-побегает, выбежит к нам, посмотрит вопросительно: мол, чего лежите, ведь так интересно там, в кустах, побежали вместе! Рыжий кот лежит у меня под боком и осуждающе смотрит на пса: то ли дело здесь на солнышке — тепло, благодать.

Кутенок убегает, а кот вытягивается на одеяле во всю длину и блаженно зажмуривает глаза.

Любашка рисует что-то цветными карандашами.

— А волосики я — желтым,— говорит она сама с собой.— Хотя взаправду таких не бывает, но в книжках бывают желтые.

Потом она показывает мне свое произведение.

— Красиво?

Я гляжу на малопонятную мне картинку: то ли человек стоит под деревом, то ли какой диковинный цветок — и не знаю, что ответить. Очень не хочется огорчать художницу, но и хвалить рискованно. Как-то похвалил нарисованный домик — Любашка нарисовала десять точно таких домиков. В другой раз сказал, эта елочка мне нравится, и было нарисовано пятнадцать — целый лес — одинаковых елок.

— Уж очень толстая ножка у цветка получилась,— осторожно говорю я.

— Это же девочка! — почти возмущенно восклицает Любашка.— А цветок — вот.

— А я думал, это дерево.

— Цветок! Она собирает. Целый букет наберет.

— Из такого букета можно, пожалуй, и дом построить...

Разговор пошел куда-то в сторону, похвал не слышно, и Любашка откладывает рисование и подходит к Никите. Она что-то тихонько говорит ему, показывая на дальний угол сада. Никита бросает молоток, и они уходят.

Мне видно сквозь кусты, как они копаются на нашем пшеничном «поле». Потом разом встают и несутся сломя голову ко мне.

— Нашли! — еще издали кричит Любашка.— Зеленый росток!

И у нее в пальцах, и у Никиты — по хиленькому, еще даже и не зеленому, а бледному, только-только появившемуся на свет росточку. Никите удалось выдернуть росток вместе с разбухшим мочковатым зернышком.

Но в это время в небе возникает какой-то неясный гул, и, пока я успеваю сообразить, в чем дело, Никита срывается с места и с криком «самоёты» бежит к калитке. Зеленый росток забыт.

Звено реактивных самолетов, оставляя за собой ровные белые полосы, идет над деревней, как бы вдоль ее главной улицы. Никита пулей вылетает на улицу и, продолжая орать что есть мочи, несется в том же направлении. Вот он скрывается за избами. А вскоре растворяются в высоком небе и серебристые птицы. Только широкие белые полосы остаются.

Мы с Любашкой снова и снова разглядываем проросшее зерно, осторожно трогаем острый, как шильце, росток.

— Из зернышка — и росток! — Любашка не верит даже в то, что видит собственными глазами.

— А вон редиска тоже зазеленела. У нее семечко еще меньше.

— Рыжик любит редиску?

— Вряд ли,— еще не зная, к чему клонит дочка, неопределенно отвечаю я.

— А я посадила две редиски. Как вырастут — ему дам. Он полюбит, редиски же вкусные.

Коту меж тем надоело валяться, он сел, потянулся, прогибая спину, и начал умываться.

Котя, котенька, коток,
Распушистенький хвосток, —

сочинила Любашка,—

Котя умывается,
Лапкой утирается...

Умывался Рыжик с необыкновенной тщательностью. Он долго и старательно нализывал лапу, закидывал ее далеко за ухо, а затем так же старательно проводил по своей плутовской мордочке. Умывшись, кот принялся с тем же тщанием приглаживать длинным розовым языком шерсть на боках.

Милый котик рыжий
Свою шерстку лижет, —

продолжала сочинять Любашка.—

Шерсть у коти гладкая, и...

Тут она запнулась, подбирая нужное слово.

— И, видно, очень...— подсказал я.

— Сладкая,— докончила Любашка.

В это время опять показался из кустов Кутенок и, увидев нас все на том же месте и в тех же позах, удивленно поднял ухо: вы все еще лежите? Ах, как много теряете! Сколько интересного там, а вы лежите.

Кутенка не узнать: туповатый раньше нос заострился, вполне осмысленно, понимающе глядят глаза. Особенно выразительными стали у него еще недавно висевшие лопушками уши; теперь они в постоянном движении: то од-

но навострится, то другое, то оба враз торчком встанут. Щенок вырос, вытянулся и уже не шариком катается, а бегает, как настоящая собака.

Я подзываю пса и нарочно резко сажаю его почти прямо на кота. Кот недовольно отодвигается: что, мол, вам, места больше нет — и все. Никакого короткого замыкания уже не происходит. Рыжик даже не прочь поиграть с забавным щенком. Вот он трогает его слегка лапой. Кутенок вроде бы щетинится, но тут же лезет обниматься к Рыжику. Любашке становится завидно, и она тоже включается в эту возню.

Но вот Кутенок, играя, отпрянул в сторону, под куст, а за кустом в это время что-то зашуршало. Пес поглядел на Любашку: пойдем, мол, посмотрим, что там.

— Пойдем, пойдем, посмотрим,— говорит она, и они исчезают в зеленых зарослях.

Рыжик некоторое время раздумывает: стоит ли уходить с солнышка, но любопытство все же пересиливает в нем лень — а вдруг что-нибудь интересное! — и он тоже уходит.

Я остаюсь один. За кустом, как и следовало ожидать, друзья ничего не нашли и теперь бегают где-то далеко. Время от времени слышится голос Любашки и радостное погавкиванье Кутенка. Ближе, ближе. Совсем близко. Только теперь Кутенок уже не лает, а почему-то жалобно попискивает. Что случилось?

Из кустов выбегает Любашка.

— У Кути лапа заболела. Он ее вот так несет.— Любашка прижимает локоть к боку, а руку вытягивает вперед.

А вот и сам Кутенок. Он действительно несет переднюю лапу на весу и жалостливо поскуливает. Больно, мол, совсем нельзя вставать.

— Добегался,— говорю я.— Ну, иди, иди, полечим.

Нет, лапа не поранена, даже не поцарапана. В чем дело? Может, ушиб о какой-нибудь корень? Не похоже. Но вот я дотронулся до мякишков, и Кутенок отдернул лапу и даже не заскулил, а как бы вскрикнул. Так. Значит, здесь. Я осматриваю мякишки и в одном из них нахожу ушедшую прямо под коготь занозу. Прилаживаюсь. Р-раз! — и заноза у меня в пальцах.

— Ну, вот и все, можешь опять бегать.— Я спускаю Кутенка с колен и толкаю вперед.

Пес по-прежнему все еще боится наступать на злополучную лапу, хромает. Тогда Любашка берет и рукой ставит лапу на траву.

— Теперь можно, не бойся.

И Кутенок перестает бояться. Он опять повеселел.

— Пап, а знаешь, кого я сейчас около нашей террасы видела? Клушку с цыплятами. Такие пушистенькие, хорошенькие...

Любашка подробно расписывает цыплят и клушку, а потом спрашивает:

— А откуда цыплята берутся?

— Из яиц,— объясняю я.— Курочка нанесет яиц, а потом долго сидит на них, и из яиц появляются цыплята.

— Очень хочется цыпленочка. Очень-преочень...

Тень сосны переместилась далеко вправо. Пора идти варить обед. Забираем одеяло и всей компанией идем в дом.

А после обеда я никак не могу доискаться Любашки. Может, убежала в дальний угол сада? Иду туда, зову. Нет. Прошел вдоль изгороди до другого угла. Нет.

— Куда же она могла уйти? — спрашиваю у Кутенка, сопровождавшего меня в этих поисках.— Люба! Понимаешь: Люба! Где Люба?

В это время мы подходим к террасе, и я вижу, как Кутенок с радостным визгом бросается под нее. Слышу шепот: «Иди, иди, гуляй». Присаживаюсь на корточки. Да, Любашка здесь.

— Ты что делаешь тут? — спрашиваю я.

— Сижу,— отвечает в некотором замешательстве Любашка.— Здесь хорошо, холодок.

— Ну, уж если очень нравится — посиди.

Ясно, конечно, что человек торчит под террасой неспроста. То ли выслеживает кого, то ли тайный уголок себе там делает. А не говорит, чтобы потом удивить нас. Что ж, пусть удивляет.

Однако проходит еще какое-то время, я уже успел на колодец за водой сходить, а Любашка из-под террасы все еще не вылезает. Заглядываю туда и слышу сначала тихое, а потом все более громкоголосое кудахтание. А в следующую секунду мимо меня, распустив крылья, с ветром, с надсадным «кудах-тах-тах!» проносится черная курица. В дальнем углу террасы белеет гнездо. Лю-

башка подкрадывается к гнезду, и я вижу ее донельзя огорченное, плачущее лицо.

— Не-ет цыпленочка-а...— Две крупные слезины падают на голые колени и медленно растекаются.— Только яичко.

Вон, оказывается, в чем дело! Человек нашел под террасой гнездо с подкладом, увидел, как села на него Чернушка, и терпеливо ждал, когда появится из яйца пушистенький цыпленок. Каких трудов стоило столько высидеть! И вот — все напрасно.

Я объясняю Любашке, что Чернушка садилась на гнездо для того только, чтобы снести яйцо — было одно, а теперь другое прибавилось! Говорю, что совсем не обязательно каждое яйцо насиживать. Но успокаивается дочка, лишь когда добрая тетя Шура все же приносит ей желтенького пушистенького цыпленка.

— Она разрешила поиграть с ним,— говорит тетя Шура про сердитую клушку,— но не долго.

Безутешное горе сменяется бурной радостью. Любашка тихонько дотрагивается до мяконького комочка, и одно это прикосновение уже доставляет истинное счастье.

Долгий майский день догорает.

Вечером мы гуляем с Любашкой по деревенской околице. Отсюда далеко видны окрестные поля, перевитые светлой лентой Истры, изрезанные то пропадающими в хлебах, то снова возникающими дорогами. От коровника доносится разноголосое мычание пригнанного стада, звенят подойники.

Мы доходим до края луговины и поворачиваем обратно.

— Гляди-гляди,— возбужденно теребит меня за рукав Любашка,— мальчишки на золотых лошадях скачут.

Из-за пригорка выносятся на рысях двое вихрастых, голопятых всадников, и светло-игреневые лошади их, облитые закатным солнцем, и в самом деле кажутся золотыми.

Солнце тонет в огромных облаках, как бы уложенных друг на друга над самым горизонтом. Небесный купол в том месте по-особенному высок и прозрачен.

— А я, пап, теперь знаю, где солнце ночью,— глядя на закат, говорит Любашка.— Оно спит в облаках. Там ему мягко, как на подушках. На одно облако ляжет, а другим покроется.

Я тоже гляжу на замеревшие над горизонтом розовые облака и соглашаюсь с Любашкой. А еще я жалею, что так хорошо и просто нам, взрослым, про солнечный закат уже не подумать. Ведь мы точно знаем, куда и почему заходит солнце и откуда оно восходит...

ГЛУПЫЕ ТРЯСОГУЗКИ И МУДРЫЙ ПОПОЛЗЕНЬ

Утром нас разбудил стук топора и скрежет отдираемых досок. Где-то что-то ломали.

Я подошел к окну, выглянул.

Николай Григорьевич ломал стоявший в углу участка сарай. Когда-то в нем хранились разные строительные материалы: доски, цемент, железо. Теперь сослуживший свою службу сарайчик разбирался.

— А видишь, какие-то птички вьются,— сказала тоже подбежавшая к окну Любашка.— Вон, вон, на траву перелетели, а теперь опять на доски.

И в самом деле, серенькие, с белым брюшком и черной головкой птички суетливо бегали по доскам.

— Это трясогузки. Видишь, у них хвостик, гузка значит, все время качается, трясется — вот их и прозвали трясогузками.

Между тем пестренькие птички продолжали перелетывать с места на место и громко кричать. Они были явно чем-то обеспокоены.

К сараю подбежал Кутеша — ну как же, такое важное дело и вдруг бы обошлось без него! — и, остановившись около заваленного обломками пенька, начал принюхиваться.

— Цыц, зверь! Нельзя! — цыкнул на щенка Николай Григорьевич.

Кутенок замер и, навострив уши, с острым любопытством уставился на пенек: ладно, мол, трогать нельзя, но посмотреть-то, наверное, можно.

А на пеньке лежало небольшое аккуратненькое гнездышко.

Когда мы с Любашкой подошли ближе, то увидели, что гнездо тесно забито недавно появившимися на свет желторотыми птенцами. Стоило одной из трясогузок пролететь поблизости от гнезда — птенцы начинали дружно, пронзительно пищать, разевая свои огромные клювы.

— Просят поесть,— поняла Любашка.

— В чем и дело-то,— сказал Николай Григорьевич.— Не гляди, что маленькие, они прожорливые. А вот как сделать, чтобы их папа с мамой накормили, прямо и не придумаешь.

Николай Григорьевич объяснил нам, что гнездо он нашел под крышей сарайчика и положил сюда.

— А здесь их и оставить,— предложила Любашка.

— Здесь нельзя. Здесь их кошки в два счета сожрут... Вон он уже приглядывается.

Под ближним кустом сидел Рыжик и делал вид, что сидит просто так, но как только птенцы начинали орать, кот довольно-таки недвусмысленно облизывался.

— Спрятать в кусты — родители не найдут,— между тем раздумывал Николай Григорьевич.— Уж больно глупая птица... Пожалуй-ка, вот что мы сделаем.

Николай Григорьевич нашел в Никитиной мастерской обрезок мягкой жести, сделал нечто вроде воронки с проволочной дужкой у широкого конца, а затем аккуратно вложил гнездо с птенцами в эту воронку.

— Держи,— сказал он мне,— потом подашь,— а сам полез на ближнюю от разломанного сарайчика ель.

Нижние ветви у дерева высохли и были обломаны. Николай Григорьевич залез метра на три и повесил гнездо на один из обломанных сучьев: и птицам видно, и кошке не достать.

Я заметил, что Кутенок наблюдает за всей этой процедурой с огромным вниманием. Видно, очень хотелось понять псу, зачем это таких маленьких затащили так высоко.

Рыжика, перед тем как вешать гнездо, мы предусмотрительно выпроводили с поляны.

Старания наши, однако, ни к чему не привели. Все прекрасно видевшие трясогузки и после того, как гнездо было устроено, продолжали летать над разломанным сараем и тревожно кричать: «Где наши дети? Где наши дети?»

— Да вот же они,— показывала им Любашка.

Но глупые птицы не понимали, что это именно их гнездо и орут в нем не чьи-нибудь, а их дети.

Пришел заспанный, сердитый Никита. Он был очень недоволен, что сарай сломали, не спросившись у него. Куда теперь ему деваться со своей «космической» мастерской? Потому, наверное, Никита довольно безучастно от-

несся к беде желторотых птенцов. Как говорится: своя беда чужую заслонила.

Я помог Николаю Григорьевичу сложить доски в штабель.

— Пропадут птенчики,— последний раз оглядываясь на гнездо, вздохнул Николай Григорьевич.— Глупые птицы!.. Ну, мне пора в поле.

Мы некоторое время еще постояли на полянке, а потом пошли завтракать.

Сразу после завтрака я сел за работу. Однако не прошло и получаса, как прибежала раскрасневшаяся обрадованная Любашка.

— Папа! — еще издали закричала она.— Что там делается! Птичка птенчиков кормит. Только другая птичка, не трясогузка.

Это было интересно. Работу пришлось отложить.

А когда мы пришли на место, то увидели и в самом деле довольно занятную картину.

Птенцы по-прежнему орали в своем гнезде, глупые трясогузки тоскливо вторили им, сидя на досках. Но вот откуда-то прилетела свинцово-серого пера птичка с червяком в клюве, села на ствол ели — именно не на ветку, не на сук, а прямо на ствол — и быстро-быстро, будто ее за ниточку потянули, поползла вверх. Вот сучок, на котором висит гнездо. Вместо птенцов в нем сейчас сплошные разинутые в истошном крике рты. Птичка доползла до гнезда, деловито сунула червяка в один из этих огромных ртов и тут же, не мешкая ни секунды, улетела.

Так вот кто кормилец осиротевших птенцов!

— Эту птичку называют поползень,-- объясняю я Любашке.— Видишь, как она быстро ползает по деревьям.

— Смотри — уже опять летит!

Действительно, пока я успел сказать вот эти несколько слов, серая птичка уже прилетела с новым червяком и торопливо поднималась к гнезду. Сунула червяка в очередной рот и тут же улетела.

Еще один прилет. Еще...

Быстрота и неутомимость, с какой поползень кормил птенцов, были поразительны. Можно подумать, что серая птичка подрядилась работать сдельно. Но на кого? На чужих детей?! А где у нее свои? Или их нет так же, как нет у нее и пары?

Как бы в ответ на все эти недоуменные вопросы на ствол елки село сразу два поползня. Ну, и конечно, у того и другого было в клюве по червяку.

— То была мама, а теперь прилетел и папа,— объяснила Любашка появление второй серой птички.

Да, это несомненно была семейная пара. А если так — где-то поблизости у них есть и свое гнездо, свои дети. Этих осиротевших птенцов они просто-напросто усыновили по своей птичьей доброте. Это было благородно и удивительно.

Но еще больше, может быть, чем необыкновенное трудолюбие и доброта поползней, нас удивила их сообразительность.

Дело в том, что поползня редко увидишь на зеленой веточке дерева или на его тонких сучьях. Он древолаз и привык бегать только по обросшему шершавой корой стволу. (К слову сказать, в этом искусстве поползень не имеет себе равных, так как умеет спускаться по стволу даже сверху вниз, чего не может делать ни одна птица.) У него и окраска перьев точно под серую кору.

Гнездо же висело на некотором удалении от ствола. И когда птица совала червяка в гнездо, он попадал одним и тем же двум или трем птенцам, которые сидели в гнезде ближе к дереву. До дальних кормилец со ствола дотянуться не мог — у него попросту перехватывали добычу. Как тут быть? Как сделать, чтобы всем доставалось поровну?

И поползень приспособился. Ему так хотелось накормить и дальних птенцов, что он пересилил в себе врожденную привычку ползать только по стволу. С очередным червяком он прошел со ствола на обломанный сук, к которому было подвешено гнездо, и оттуда накормил одного из голодающих. Затем другого, третьего. В конце концов поползни наладились действовать так: один кормил птенцов со ствола, другой — с сучка. Своего рода разделение труда.

Мы еще некоторое время полюбовались на прилежную работу скромных, незаметных на вид, но очень умных птичек и пошли в дом.

С утра работа у меня не клеилась: мысли то и дело возвращались к осиротевшим птенцам — что-то с ними будет? Найдут их отец с матерью или не найдут? Глупые трясогузки не нашли своего гнезда. Но теперь за судьбу

желторотых птенцов можно было не беспокоиться, все устроилось как нельзя лучше.

Чуть не весь день торчавшие недалеко от гнезда, в смородине, Любашка и Никита сообщили вечером, что птички накормили всех птенчиков и одна из них села на гнездо.

— Это, если ночью будет дождь, чтобы маленьких не замочил,— по обыкновению, пояснила дочка.

ЗАРЯ-ЗОРЯНИЦА

Июнь принес с собой горячее солнце, долгие дни и короткие теплые ночи. Наступало то самое время, когда заря сходится с зарею: только-только потухнет западный край неба, а восточный уже начинает светлеть, разгораться.

Любашке все хотелось подсмотреть встречу ночи и дня, но каждый раз неодолимый сон валил ее с ног еще до того, как успевала погаснуть вечерняя зорька. А когда дочка просыпалась, по ясному небу уже гуляло солнышко.

Но вот с наступлением жаркой погоды мы перебрались спать на террасу и просыпаться стали очень рано.

Будили нас болтливые тараторки-сороки. Рядом с террасой, на тех самых березах, под которыми висел наш умывальник, сороки ежедневно устраивали нечто вроде утреннего производственного совещания: куда лететь, где добывать пищу, кому и какие узнавать новости. А может, они рассказывали друг другу те новости, которыми не успели поделиться вчера, может, о чем-то спорили или просто-напросто ссорились — кто их разберет. Если Любашка в птичьем языке трясогузок хоть что-то все же понимала, то сороки трещали так быстро, что ничего разобрать было невозможно.

Да, по правде говоря, нам не очень-то и хотелось подслушивать и разбирать всякие сорочьи сплетни, которые эта птица, как известно, приносит со всех концов на своем длинном хвосте. Нам в это время очень хотелось спать, потому что начинали сороки свое шумное совещание чуть свет, в самый сладкий час. Мы закрывали уши одеялами, засовывали головы под подушки — не помогало. Сороки трещали громко и неутомимо, стараясь во что бы то ни стало перекричать друг друга, и их пронзи-

тельная базарная болтовня проникала всюду, даже под подушку.

В конце концов я вставал, брал в руки палку или Любашкин мяч, картофелину — что попадало под руку — и запускал в надоедливых тараторок. Только после этого производственное совещание прекращалось, и мы, уже без помех, доглядывали прерва́нные на самом интересном месте сны.

Однако на другое утро разговорчивые птицы появлялись на своих излюбленных березах как ни в чем не бывало.

Как-то сороки разбудили нас особенно рано. Безмятежно голубело по-утреннему свежее небо. Четко вырисовывались на нем зеленые шапки сосен и берез. Из-за дальнего взгорья выплывало золотое солнце.

— Какое оно большое и... веселое! Смеется! — удивилась Любашка, видевшая восход впервые в жизни.— И чистое!

— Наверное, только умылось,— сказал я.

— А как солнышко умывается?

— Росой. Видишь, сколько ее на траве, на цветах блестит.

— Заря-зоряница, красна девица,— вспомнила Любашка,— по лесу ходила, ключи потеряла, месяц видел, солнце скрало...

На кустах смородины, росшей вдоль плетня, на листьях хмеля и дальше, на лугу, на хлебах — везде тяжелыми каплями лежала роса, и каждая капелька ослепительно горела и лучилась, как маленькое солнце. И тихо, торжественно все было кругом. Разве что неугомонные сороки нарушали эту чистую утреннюю тишину.

Правда, на сей раз даром это для них не прошло.

На карнизе, под самой крышей, я заметил притаившегося, необыкновенно сосредоточенного Рыжика. Кот не глядел в нашу сторону, он только напряженно поводил ухом на каждое слово разговора. Все внимание Рыжика было поглощено вершинами росших рядом берез, а точнее сказать — сороками, проводившими на них свое очередное совещание.

Раз-другой мне приходилось по утрам видеть Рыжика подкрадывающимся к березам. Он внимательно наблюдал, как я пугал сорок.

Однажды Любашка даже сказала своему любимцу:

— И ты бы, Котя, гонял плохих сорок — они, болтушки, нам спать мешают.

Похоже, нынче кот именно это и собирался сделать.

— Гляди,— шепнул я Любашке,— Рыжик...

Договорить я не успел. Кот стремительно, будто им выстрелили, вылетел из засады и, как говорится, не щадя живота своего, не считаясь с тем, что такой полет на неверные, зыбкие ветки может обойтись ему очень дорого,— в мгновение ока очутился на березе и вцепился зубами в ближнюю белобокую трещотку.

По-видимому, Рыжик немного промахнулся, потому что сорока, на которую он напал, с пронзительным криком вырвалась, а в зубах у кота остался только ее хвост. С этим хвостом в зубах кот и зашумел вниз по сучьям.

Все это произошло в какие-нибудь полсекунды. Любашка даже ахнуть не успела. И вот уже так высоко сидевший кот — на земле, а перепуганная и от этого еще более крикливая стая поспешно улетает к лесу. Бесхвостая сорока изо всех сил старалась догнать своих подруг. Она смешно часто-часто махала крыльями, но ее то и дело заносило, перекувыркивало. Ведь хвост у птицы — рулевое управление, и без него сорока постоянно сбивалась с курса, летела зигзагами.

Смешно было смотреть и на обескураженного кота. Падая, он так и не выпустил из зубов сорочьи перья, разве что растерял несколько по веткам, за которые задевал. А теперь он вроде как бы не знал, что делать: то ли выдавать себя за победителя и хвастаться трофеями, то ли бросить эти трофеи — много ли в перьях проку! — и сделать вид, что ничего не случилось.

Умудренный жизнью кот предпочел последнее. Несмотря на громогласные Любашкины похвалы его доблести и отваге, он скромно положил перья на траву и начал свой утренний туалет: тщательно умывался, зализывал царапины, приглаживал взъерошенную ветками огненную шерсть.

Рыжик сделал вид, что ничего не произошло. Однако сороки отлично поняли, что́ произошло в это утро, поняли, что одна из них уцелела лишь по счастливой случайности. И Любашка даже пожалела оказавшуюся без хвоста болтунью. Как там ни что, а не разбуди нас так рано сороки-белобоки, когда бы еще нам посчастливилось увидеть зарю-зоряницу?!

ЧУДЕСА НА РЕКЕ

Незаметно прошел месяц нашей жизни в деревне.

Все кругом густо разрослось, распустилось, налилось весенними соками. Непроницаемо сплошной стала листва на деревьях, отцвели и покрылись завязью плодов вишни и яблони. На нашем огородике тоже все давно взошло: упругими стрелами топорщился молодой лук, ровно и нежно зеленела морковь, выбрасывала уже пятый листок редиска. Черные с весны поля вокруг селения покрылись густой зеленью всходов. Дружно проросли хлебные зерна и на нашей раскорчеванной полоске.

Любашка, бегавшая целыми днями в одних трусиках, загорела. Волосы у нее слегка порыжели от солнца, пуговка носа шелушилась, а темно-голубые глаза на бронзовом лице казались как бы посветлевшими. Она не только заметно посвежела на деревенском воздухе, но и, как уверяла тетя Шура, изрядно подросла.

Что до Кутенка, то он за это время и вырасти вырос, и, как бы это сказать, возмужал, что ли. Стал смелым, самостоятельным псом, все знающим, все ведающим. Теперь даже как-то и неудобно вспоминать, что он когда-то боялся кур. Теперь уже они его боятся, да еще как!

Воспитывать мужество Кутенок начал на цыплятах. Однажды он с разбегу наскочил в кустах на двух отбившихся от выводка цыплят. Те с писком шарахнулись от него в разные стороны. Пес не сразу понял, что произошло, так как поначалу сам испугался не меньше. Однако, если от него бегут,— значит, его боятся! Чтобы поточнее проверить это, в следующий раз он уже специально подкараулил отбившегося цыпленка и лихо кинулся на него. Цыпленок что есть духу помчался к матери! Ага! Значит, его, пса, и в самом деле боятся. Отлично! На клушку нападать, правда, пока еще надо воздержаться — уж очень у нее всегда сердитый вид, и слышится постоянно это ворчливо-предостерегающее «клу-клу». И петух, когда орет свое громогласное «ку-ка-ре-ку», тоже хочешь не хочешь, а хвост как-то сам по себе поджимается. А вот с молодыми курицами можно попробовать.

Кутенок выследил белую курочку и этаким разъяренным тигром кинулся на нее. Курочка испуганно закудахтала и аж на воздух взвилась — вот какой ужас он на нее нагнал! Пес ликовал, торжествуя победу. Окончатель-

но уверовав в свою силу, Кутенок теперь уже специально гонял кур: очень нравилось ему сознавать себя этаким страшным, грозным зверем, которого даже такие огромные птицы боятся.

Что еще изменилось за это время?

Оперились, подросли птенцы трясогузок. Сами трясогузки так их и не нашли; некоторое время они еще летали, искали свое гнездо, а как убрали доски, и летать перестали. Птенцов по-прежнему кормят заботливые поползни. Любашка следит за хитрым котом, чтобы он для своих прогулок выбирал места подальше от елки с гнездом.

День ото дня солнце припекало все жарче. Лето входило в полную силу. Поначалу было приятно поваляться на солнце, погреться, как мы говорили, но чем дальше, тем чаще приходилось спасаться от жары на тенистых полянках сада. К середине июня прохлада не стала держаться и в тени: горячее солнце прокаливало воздух насквозь. Прогрелась вода в реках, и мы стали ходить на Истру.

Истра — речка неширокая, но быстрая, с веселыми зелеными берегами, поросшая где лесом, где высокими травами. Течет она прихотливо, круто поворачивая из стороны в сторону, делая замысловатые петли. Один из таких особенно живописных заворотов и был нами облюбован для купания.

Деревушку от реки отделяла просторная луговина, поросшая по краю светлым березняком. Лугом, меж березами, вилась нарядная, вся в цветах, тропка.

Когда мы шли на Истру, Кутенок, конечно, увязывался с нами, хотя купаться не любил. Попросту, он побаивался воды, чувствуя себя в ней не так твердо, как на земле. Ему куда больше нравилась дорога на реку — тут было где порезвиться.

— А его надо научить плавать, и он будет любить купаться,— как-то предложила Любашка.

А тут еще и случай удобный подвернулся.

Захотелось Кутенку получше рассмотреть, как работают пчелы, как они влетают в улей и вылетают из него. Однако его плохо поняли: пчелам показалось, что их жилищу угрожает опасность, и одна из них безжалостно всадила Кутенку жало в самый нос. Ах, как он заорал, как, не видя света вольного, помчался от улья! И долго

еще, сидя у Любашки на коленях, жаловался, скулил и шаркал по носу лапой, думая, что боль можно смахнуть, как смахивают надоедливую муху. Но боль не проходила, а лишь усиливалась.

Незадолго перед этим тетя Шура проверяла рамки в ульях, а я помогал ей. Тетя Шура говорила, что не надо бояться и все будет хорошо. Я не боялся, но тем не менее две пчелы сразу так хватили меня в щеку, что я три дня ходил с узенькой щелочкой на месте глаз. Поначалу щеку сильно драло, и я спасался холодным компрессом.

Кутенку компресс не положишь. А вот сунуть его распухшим носом в реку — это будет как раз.

И вот мы идем на Истру: Кутенок впереди, мы четверо — Любашка с матерью и я с Никитой — сзади.

На берегу реки нам встретилась большущая овчарка. Помня, чем кончился его благой порыв при знакомстве с Джульбой, Кутенок, завидев собаку, уже не побежал навстречу. Собака сама соизволила подойти к нему: что, мол, тут еще за мелочь?! Кутенок весь сжался и замер. Но собака оказалась доброй: она спокойно обнюхала его и даже лизнула — считай, все равно что дружески погладила — своим огромным розовым языком: не робей, мол, маленьких я не обижаю. Кутенок обрадовался, так весь и просиял от этой ласки, запрыгал, начал играть с собакой. Но та до игры не снизошла, должно быть, ей показалось несолидным впадать в детство.

Мы разделись, полезли в воду и поманили за собой Кутенка. Пес в ответ вильнул хвостом, но остался на берегу.

— Кутеша! Кутеша! — еще раз позвала Любашка.

Кутенок еще усерднее заработал хвостом: и рад бы, мол, с вами, да уж очень ненадежная штука эта вода.

Тогда я взял его, утащил в воду и отпустил. Изо всех сил действуя лапами, Кутенок незамедлительно подгреб к берегу.

— Плавает! — Любашка была не на шутку удивлена, что у Кутенка с первого раза получилось то, что у нее не получалось и с десятого.

Но что это было за плавание?! Кутенок просто-напросто не хотел тонуть и спасался, как умел. А вот как сделать, чтобы он поплыл по собственной воле?

По низкому противоположному берегу тянулась ши-

рокая песчаная отмель — светлая, неприкосновенно чистая.

— Не поваляться ли нам на песке? — предложил я, когда мы накупались.

— Очень хочется на песочке полежать, в песочек поиграть,— с радостью подхватила Любашка.

— Туда — глыбко,— рассудительно и, как всегда, кратко высказался Никита.

— Ничего, авось не утонем.

Мы свернули в узлы одежду и вброд перебрались на песок. Мать перенесла Любашку, я — Никиту с Кутенком.

Любашка с Никитой строили на песке за́мки, окружали их высокими стенами и глубокими рвами, воздвигали башни по углам, мосты через пропасти. Кутенок долго внимательно глядел, а потом тоже начал старательно копать песок передними лапами. Дело у него шло быстро, и скоро на дне норы уже зачавкала вода. Получился своего рода подземный ход в недоступный замок. Любашка похвалила помощника, и тот стал рыть еще усерднее. Время от времени Кутенок совал в нору черный нос, принюхивался. Любашке с Никитой это показалось интересным, и, отстранив пса, они сами поочередно понюхали нору.

— И чем пахнет? — спросил я.

— Вкусной водичкой,— ответила Любашка.

Никита стал головой на нору, сделал стойку, а Любашка зашла в воду и побежала вдоль берега. Кутенок с радостным гавканьем кинулся за ней по песку. Обоим было весело, как бывает весело только маленьким детям. Любашка брызгала на Кутенка водой, тот отбегал, но тут же возвращался. Он отлично понимал, что с ним играли. И вообще, оба они как-то очень хорошо понимали друг друга. Потому, наверное, пес куда охотнее играл с Любашкой или с Никитой, чем с нами: он словно чувствовал возраст.

Пришло время возвращаться домой. Я опять взял Никиту, мать — Любашку, и мы пошли на свой берег. Кутенок тявкнул вопросительно: что же, мол, меня-то оставляете?

— А пойдем с нами, если хочешь,— ответил я.— Плыви.

Кутенок почуял неладное, забегал вдоль воды и жалобно заскулил: не оставляйте! Любашка с Никитой,

глядя на него,— тоже чуть не в слезы: не надо оставлять Кутешу!

Мы и сами понимали, что поступаем жестоко. Но ведь надо же было научить пса плавать по-настоящему!

Видя, что мы остаемся глухи к его жалобному плачу и уходим все дальше и дальше, Кутенок наконец решился, кинулся в воду и поплыл — только черный нос да вздернутые уши над водой закачались.

Щенка слегка снесло течением, и он выбрался на берег пониже нас. Вид у него, у мокрого, был самый жалкий. Но как важно он отряхивался, с каким горделивым бахвальством поглядывал теперь на нас и на все вокруг: такой маленький, а переплыл такую большую речищу!

Недалеко от Кутенка, на ветке крушины сидел ворон. В тени деревца, у воды виднелась склоненная фигура рыбака.

Расхрабрившемуся Кутенку теперь уже ничто не было страшно, и он задиристо тявкнул на черную птицу. Ворон только глазом повел на глупого щенка и продолжал спокойно сидеть на своем месте. Кутенок гавкнул еще раз. Тогда ворон потихоньку снялся с ветки и перелетел... на плечо рыболова.

— Что, Воронок, соскучился? — услыхали мы из-за куста.

И, как бы в ответ на вопрос, птица сказала коротко: «Кра».

Все это показалось нам и удивительным и интересным.

— А ведь это тот дядя, которого мы на вокзале видели,— тихонько сказала Любашка.— Помнишь?

Я пригляделся. В самом деле, за крушиной сидел человек, объяснявший нам с Любашкой, как ехать на Истру.

Тем более интересно!

Мы расположились по другую сторону кустов и стали одеваться нарочно медленно.

Рыболов, надо думать, заметил наше удивление и решил удивить еще больше. Он сдернул с головы легкую выгоревшую шляпу и небрежно кинул в реку. Шляпу подхватило течением и понесло.

— Достань-ка, Воронок! — кивая на шляпу, тихо сказал рыбак.

Ворон взмахнул мощными крыльями и вскоре же настиг шляпу. Он аккуратно взял ее клювом за край и при-

нес хозяину. Тот легонько тряхнул шляпу и опять надел на голову.

— Ну вот теперь, в мокрой-то, не так жарко.

Мы сидели, забыв про одевание. Даже Кутенок присмирел.

— А не пора ли нам пообедать, Воронок? — продолжал между тем разговаривать с птицей рыбак.

Он достал из-под куста рюкзак, развязал его, вытащил хлеб, яйца, соль. Отрезал по куску хлеба себе и ворону, на хлеб положил по яйцу.

Воронок слетел с плеча хозяина и, видя, как тот колупает яйцо, принялся делать то же самое. Хозяин откусывал хлеб, и Воронок клевал хлеб, хозяин ел яйцо, и Воронок тюкал клювом в яичную мякоть.

Только что не подсаливал, а в остальном все копировал точь-в-точь.

Я взглянул на Любашку. Рот полуоткрытый, дыхания почти не слышно, а в широко распахнутых глазах светится восхищенное изумление. Никита тоже весь напрягся, просунул голову в кусты, так что виден только его стриженый, весь в мокром песке затылок.

Рыбак же, видимо, задался целью окончательно доконать нас чудесами. Пообедав и завязав рюкзак, он не спеша вытащил папиросу и, так же неторопливо разминая ее в пальцах, скомандовал:

— Воронок — спичку!

Тут уж не только Любашка, но и мы с матерью затаили дыхание.

Спички лежали около рюкзака на обрывке газеты. Ворон шагнул к ним, перевернул картинкой вверх, наступил на коробок одной ногой, а коготком другой начал терпеливо выдвигать его. Наконец коробок был выдвинут, Воронок взял спичку и зажал ее в лапе.

Мы думали, что этим все и кончится. Не тут-то было! Продолжая стоять на коробке, Воронок начал шаркать спичкой. И хоть не сразу, а все-таки зажег ее. Тогда только хозяин соизволил взять у него огонь и прикурил. Причем взял все так же не спеша, лениво, словно хотел лишний раз подчеркнуть, что дело это самое что ни на есть обычное.

— Спасибо, Воронок! — Рыбак легонько погладил своего помощника по иссяня-черным перьям.

А тот, довольный похвалой, сказал в ответ: «Кра-а!

Кра-а!» — и снова перелетел на плечо хозяина. Мы так поняли, что «Кра-а... кра-а...» в данном случае означало не что иное, как «Р-ра-ад стар-ра-аться».

После этого рыболов с усиленным вниманием занялся своими удочками, одну проверял, у другой менял наживку, третью забрасывал на новое место. Мы поняли, что сеанс окончен, и пошли домой.

Узнал нас дядя или не узнал? Всего-то скорее узнал и, встреться просто так, разговорился бы, наверное. Но сейчас он выступал как артист, артисту же во время представления не положено раскланиваться, даже с самыми близкими знакомыми.

Выше по реке купались ребятишки, и Никита, сказав, что догонит нас, побежал к ним поделиться необыкновенной новостью.

А Любашка еще раз оглянулась на кусты, за которыми сидел рыболов, и протянула:

— Вот бы такую птицу! Она бы мне все делала. Умная птица!

Я ответил, что птица действительно умная, но, прежде чем стать такой, дядя небось учил ее не день и не два.

— Я бы тоже научила! — с наивной самонадеянностью заявила Любашка. А когда мы с матерью усомнились в ее таланте дрессировщика, сдернула с головы панаму и сунула Кутенку в зубы.— Кутя, неси!

Похоже, делалось это уже не в первый раз, потому что Кутенок, не мешкая, взял панаму и важно, с полным сознанием исполняемого долга, понес. Для важности пес даже хвост держал трубой и ступал медленнее, чем обычно. Всем своим видом он как бы хотел сказать: а чем мы хуже какого-то Воронка?!

— А ведь здорово! — вынуждены были признать мы с матерью.

— Конечно, здорово! — самодовольно подтвердила Любашка.

— Ну, вот его и учи, чтобы все делал.

— Он не все слушает,— откровенно призналась дочка.— Я кинула в траву зайку — он принес, а заставила покачать Наташку — он ей только волосы выдрал...

Мы миновали луговину и шли тропинкой вдоль пшеничного поля: мать с Кутенком впереди, мы с Любашкой сзади.

Выколосившаяся пшеница цвела, и в воздухе слышалось ровное пчелиное жужжание.

— Ну, теперь ты знаешь, что бывает с зелеными стебельками «потом»?

— Теперь знаю.— Любашка прислушалась.— А зачем сюда пчелы летают? Мед собирать?

— Нет. Кроме меда они еще собирают с растений цветень. Видела, наверное: возьмешься за цветок — на пальцах золотистая пыльца остается. Вот это и есть цветень.

— Цветень,— повторила понравившееся ей новое слово Любашка.— А зачем им она?

— Пчелы из нее соты делают, а еще себе и своим деткам пищу приготавливают.

— И вкусная пища?

— Я не едал, но надо думать, вкусная.

— Цветень,— еще раз повторила Любашка.— Так это же с цветочков?

— А пшеница сейчас тоже цветет.

— А где цветы? Вот эти?

— Нет, это васильки. И когда они в хлебах, их считают сорной, то есть плохой, травой.

— Они не плохие, они красивые.

— Красивые, но они пьют из земли соки, которые пшенице нужны.

Я сорвал один зеленый колосок и показал Любашке, как цветет пшеница. Цветение это было скромным, почти незаметным, но какой прекрасный плод приносит оно потом!

Рядом с пшеничным полем росла кукуруза, а за ней, ближе к деревне, довольно большой участок был засажен луком. Лук тоже цвел, и пчел здесь было еще больше.

— И с кукурузы пчелки пыльцу собирают? — спросила Любашка.

— Да, и с нее. А вот с лука — мед.

— Так лук же горький!

— Горький. Верно. И все же с этого поля — тут поболе гектара будет — пчелы могут собрать сто килограммов меду.

— Сто-о? — еще больше удивилась Любашка.

— Да, сто.

— Целый мешок?

— Ну, мед мешками редко меряют. Лучше сказать: хорошая кадка. Вот как у тети Шуры в кухне стоит.

— Лук же горький, а мед сладкий,— опять удивилась Любашка.

— А вот пчелы умеют даже горькое перерабатывать на сладкое.

— Они работники?

— Да, они очень работящие. За граммом, за малюсенькой капелькой меда и то пчеле надо слетать не один раз. Вот и считай, сколько раз она слетает, чтобы набрать, скажем, стакан? Пчелы просыпаются вместе с солнышком и работают дотемна.

— А когда я после обеда в гамаке сплю, они и тогда работают?

— И тогда работают.

Вдоль лесной опушки два трактора готовили поле под новый посев. Ветерком наносило мерное урчание машин. Левее, на деревенской околице, ремонтировали комбайн. Ему тоже скоро вступать в работу, жатва не за горами.

Здесь, близ околицы, нас догнал Никита.

Вернувшись домой, мы заглянули и на свою полоску. Пшеница на ней тоже зацветала, и пчелы так же деловито брали с этих скромных цветов свой взято́к.

На тропинке сидел Рыжик. Пока мы ходили на реку, кот успевал соскучиться и взял за правило встречать нас на тропинке. Больше всего трогательная сцена радовала Любашку с Никитой. И мудрый кот, конечно, понимал это. Вот и сейчас он пообнимался, поиграл с Кутенком, а потом начал виться кольцом вокруг ног Любашки и Никиты. Рыжий плут уже знал заранее, что Любашка обязательно погладит его, почешет за ухом, ласково скажет:

— Рыжик! Пушистый Рыжик!

А пушистому это и надо.

За обедом Никита и Любашка, перебивая друг друга, рассказали тете Шуре о чудесах, которые мы видели на реке. К великому огорчению ребят, тетя Шура нисколько не удивилась. Оказалось, что рыбака этого видели здесь и в прошлом году. Поговаривали, будто приглашали его вместе со своим Воронком в цирке выступать, да отказался.

Вот так рыбак!

«СЛЫШУ, КАК ТРАВА РАСТЕТ...»

— А куда все облака подевались? — спросила как-то Любашка.

Она лежала на траве и глядела в высокое, горевшее голубым огнем небо. Небо было чистое, пустое. Только солнце раскаленным шаром медленно катилось по нему, и вот уже который день ослепительный шар этот не закрывало ни одно облачко.

Знойно. Жарко. Прокаленный воздух обжигает гортань. Горит, горит бледным голубым огнем высокое небо. Горит день, неделю, две недели. И кажется, что на этом огне тают, испаряются, не успев образоваться, белые облака.

— Что они такие невеселые? — Это про пшеничные колосья на нашей полосе.— Такие тихие?

Пшеница стоит в полной неподвижности. И пшеница, и трава, и деревья кругом. Не шелохнет.

— Будешь невеселым,— ответила за меня проходившая мимо тетя Шура.— Траве вон и то дышать нечем, жухнуть начинает.

— А разве трава дышит?

— Да, конечно,— сказал я.

Любашка приложила ухо к траве, послушала:

— Не слышу.

Я попытался было объяснить, что здесь шумно: курица кудахчет, собака лает, соседи вон дрова пилят — разве услышишь. Траву слушать надо в поле или на лугу.

Однако такое объяснение показалось Любашке явно недостаточным. Ей захотелось незамедлительно же отправиться в поле, чтобы там послушать без помех, как растет трава.

Задала тетя Шура задачу!

В поле было еще жарче. Тут уж ни в тень не спрячешься, ни от солнца ничем не загородишься.

Небо здесь еще больше, еще выше. Начиналось оно прямо вон за тем пригорком, и ничто его не заслоняло. Здесь только и было небо да поле. Ну еще дорога меж хлебов, по которой мы шли. И все. Вверху — небо, здесь внизу — поле и мы, идущие по нему.

Послышался шум трактора. А вот и он сам показался за хлебами в облаке пыли. Пыль толстым слоем лежала

и на дороге, и на ближних к ней хлебных стеблях — они будто пеплом были припорошены.

Зреющие хлеба стояли, как в тяжелом забытьи: ни колосок не качнется, ни листок на стебле не зашуршит. Глухо. Немо. Тягостное, полудремотное ожидание. Сухмень. Духота.

— Они чего ждут? — спросила Любашка про хлеба́.

— Они ждут дождя... Ты хочешь пить?

— Очень!

— Ну вот, хоть и пила час назад. А дождя не было больше двух недель. Они тоже хотят пить.

— Так они же неживые!

— Нет, они живые. И они, и все кругом нас — вот эта травинка, вот этот цветок и вон та березка — все они живые; они дышат, пьют из земли соки, пьют солнечный свет.

— А почему и здесь не слышно, как они дышат? — опять спросила Любашка.

Я не успел ответить. За лесом грохнуло, точно там выстрелили из очень большой пушки. По-над полями далеко-далеко покатилось громогласное эхо. Небо над лесом замутнело, и на его разом поблекшую синеву выползла тяжелая темная туча.

Громыхнуло еще раз, и по туче будто кто серебряным мечом ударил наискосок. Но не разрубил. Туча все так же медленно и неудержимо всплывала над лесом. Выше и выше. Вот она растеклась уже на полнеба, вот закрыла собой солнце. На земле после яркого света стало почти сумеречно. И очень душно, еще душнее, чем было.

Мы молча глядели на эту резкую перемену в окружающем нас мире. И все кругом молчало, будто притаилось, замерло перед величием происходящего.

Опять ударил гром, опять кривой серебряный меч секанул наискосок по отяжелевшей, набухшей туче и на этот раз распорол ее. Сизыми полосами из прорехи полился дождь. Откуда-то налетевший вдруг ветер зашумел в ветвях березы, у которой мы остановились. А вот и сюда дошел дождь и тяжело ударил по листьям. Березка радостно затрепетала, словно каждому листу не терпелось поскорее получить свою капельку.

— Засмеялась! — сказала Любашка про березу.— Она чему радуется? Дождю?

— И хлеба́, погляди, тоже сразу ожили.

Колосья закачались под ветром, все поле заходило волнами. А дождь бил все чаще и чаще. Вот впереди, на поле, возникла его сизая отвесная стена, и стена эта стремительно двигалась на нас. Ближе. Ближе. А вот и до березы дошла. Намокшие ветки уже не задерживали дождя, ливень обрушился на наши непокрытые головы, на плечи.

Любашка провела рукой по голове, по мокрому лицу.

— Хорошо?

— Приятно.

Я взял ее за руку, и мы пошли прямо сквозь дождь дальше. Дождь был теплым, желанным, благостно было чувствовать, как он омывает разгоряченное лицо, видеть, как он делает все кругом свежим, сочным, ярким, точно рожденным заново. И босым ногам тоже было одно удовольствие шлепать по мокрой мягкой земле, по теплым, пузырящимся лужам. Мы шлепали смело, громко — ведь нам не надо было бояться обрызгаться, нам вообще нечего было опасаться.

Раз-два! Шлеп-шлеп! Чвак-чвак!..

Мы смеялись, сами не зная чему. Давно уже нам не было так радостно.

— Дождик, дождик, пуще!

Лей, дождик, лей! Еще, еще сильней! Лей, не жалей! Пусть и земля, и все, что растет на ней, напьется досыта!

Но вот стена воды стала прореживаться, дождь ослабел, а когда мы дошли до луговины, и совсем перестал. Луг туманно блестел, и легкий пар стоял над умытыми цветами, над ярко-зелеными травами.

Мы присели на краю луговины, а Любашка даже легла и приложила ухо к мокрой траве. Ну, как же! Если человеку захотелось что-то узнать, он про это и день, и два будет помнить, семь раз спросит. Любашке, как видно, непременно хотелось услышать, как растет трава.

Отяжелевшие от влаги цветы теперь прихорашивались, нехотя отливая из своих чашечек и кувшинчиков лишние капельки. Капли падали, задевая травинки или на секунду повисая на них, и травинки тихонько вздрагивали. А может, еще и потому происходило среди трав это едва приметное шевеление, что ожившие корни их жадно впитывали упавшую с неба влагу, пили и не могли напиться.

— Слышу! — сказала — нет, не сказала, а радостно заорала Любашка.

Залюбовавшись туманно сверкающим лугом, я не сразу понял, о чем это она.

— Слышу, как трава растет!

Я тоже приложил ухо к земле и действительно услышал тихие-тихие, едва внятные звуки. Может, это падающие в траву капли их издавали, а может,— пьющие те капли корни цветов. А может, это — да, да! — может, и в самом деле мы с Любашкой слышали, как растет ожившая после дождя трава!..

Дождь перестал лишь ненадолго. Из-за леса надвинулась новая сизая полоса, и полоса эта пошла, пошла по полям в нашу сторону.

Мы с Любашкой поднялись и зашагали навстречу дождю. Нам опять хотелось ощутить на своем лице, на руках его благодатное, освежающее прикосновение. И когда мы встретились с дождем, мы запели:

— Дождик, дождик, пуще!

Я сейчас уже не припомню, что еще мы пели, помню только что-то очень веселое. Еще бы! Ведь мы только что слышали, как растет трава. Мы видели, как на наших глазах все кругом оживало и обновлялось.

ДЕНЬ БОЛЬШОЙ РАДОСТИ

Быстро летит время!

Давно ли, кажется, мы корчевали кустарник под огород, а яблони с вишнями только-только начинали зацветать? Давно ли мы тревожились за судьбу желторотых птенцов трясогузок! Теперь же, глядишь, и вишни поспели, и яблоки наливаются. Вместо беспомощно попискивающих под крылом матери цыплят бродят по саду пронырливые курочки и драчливые петушки, и клушке все труднее и труднее сзывать их. А птенцы трясогузок не только оперились, но уже и улетели из гнезда: совсем самостоятельными птицами стали.

На полях созрели хлеба. В лесу появились грибы. Лето в самом разгаре.

В деревеньке нашей в эти дни тихо-тихо. Вся жизнь как бы переместилась на поля. Там и днем и ночью не умолкает шум моторов. От комбайнов к токам снуют машины, подводы, на токах стучат сортировки. На полевых

дорогах запахло молодым житом, свежей соломой. Идет уборка.

Как-то мы с Любашкой опять провели целый день в поле.

Я уже давно обещал покатать дочку на тракторе, а заодно и показать ей в работе самоходный комбайн.

Начали мы с трактора, пахавшего у леса залежь — небольшой продолговатый участок, заросший, должно быть, во время войны кустарником и теперь заново расчищенный.

В свое время мне пришлось работать и на тракторе и на комбайне, и Николай Григорьевич с легким сердцем доверил нам руль своей машины.

— Она у меня не норовистая, так что валяйте смело,— сказал он.— А я пока перекушу вон в том овражке, у родника. Только, гляди, на какой-нибудь старый пенек не напорись.

Я обещал быть внимательным, посадил на трактор Любашку, сел сам, и мы тронулись.

Перекрывая гул мотора, я объяснил дочке, откуда у трактора берется сила тянуть такой большой плуг, объяснил, зачем пашется земля, и спросил:

— А хотелось бы тебе самой управлять трактором?

— Очень бы хотелось! — ответила Любашка.— Когда я буду большая...

— А хочешь, я сейчас тебе покажу, как вести трактор, а сам только помогать буду?

Любашка с недоверием поглядела на меня: смеешься, мол? Управлять такой машинищей! Счастье было так велико, что в него не верилось.

— Клади руки на руль,— сказал я и поверх ручонок дочки положил свои.— Сумеешь, не бойся... Видишь, колесо из борозды вылезать начало — поверни руль сюда. Вот так. Теперь колесо идет правильно. А здесь в горку пусти трактор немного потише, а то ему тяжело. Я вот эту педаль нажму, а ты рычажком скорость убавишь. Так. Вот и выбрались в гору. Можно опять прибавить ходу. А теперь поворот. Так, так, резче крути руль. Вот и повернули. Молодец!

Любашка все делала своими собственными руками: и скорости переключала, и газ прибавляла, и руль крутила — я ведь ей помогал совсем незаметно. И надо было видеть, каким сосредоточенным от сознания ответствен-

ности было ее лицо, как туго были сведены на переносье тоненькие брови. Шутка сказать: человеку доверили трактор! И не какой-нибудь там игрушечный, а самый что ни на есть настоящий. Вот он под ее ногами — большой, горячий, рычащий, как сказочный зверь. И страшный зверь этот подчиняется ей, слушается ее!

Объехали один круг, второй. Похоже, Николай Григорьевич, убедившись, что у нас все идет хорошо, прилег после обеда вздремнуть.

А Любашка продолжала жить в мире чудесной сказки, где она видела себя и богатырски сильной, и все на свете умеющей. Мне не раз приходилось наблюдать ее за игрой в куклы, когда она, что называется, «заигрывалась», отрешаясь от всего окружающего. Но я еще ни разу не замечал такой необыкновенной внутренней собранности и самозабвенности, что ли.

Вот она обернулась ко мне, и я не узнал ее глаза — взгляд их был не по-детски серьезен, необычен. Такие глаза, наверное, бывают у человека, только что сделавшего какое-то открытие. Впрочем, как знать, может, маленький человек именно сейчас впервые открывал для себя что-то очень важное, очень значительное, что потом ему будет памятно всю жизнь!

— Ну, как? — спросил я, наклонившись к дочкиному уху.

Любашка сделала глубокий вдох и на секунду зажмурила глаза, а уж потом только ответила:

— Вкусно!

Обычно это была высшая оценка, выражение самого полного счастья. Но, видимо, для данного случая даже этого слова Любашке показалось мало, и она добавила:

— Сладко!

А когда мы остановили трактор у овражка и я, спрыгнув на землю, протянул руки, чтобы снять дочку с машины, она отвела их и лихо спрыгнула сама. После того что было, ей, надо думать, показалось просто-напросто неудобным, почти зазорным по каким-то пустякам прибегать к посторонней помощи.

И шла Любашка сейчас по пашне точно так же, как недавно Кутенок с ее панамкой: важно, значительно.

Комбайн убирал ту самую пшеницу, около которой мы как-то останавливались по дороге с реки. Пшеница

вызрела, налилась, колосья уже не стояли свечками, как недавно, а тяжело клонились к земле.

Мы пошли рядом с комбайном. Срезанная пшеница с шумом падала на полотно, стремительно исчезала в гудящей утробе молотилки и, измятая, пустоколосая, вылетала из нее в соломокопнитель. Все было на вид очень легко и просто: вот стоит хлеб на поле, а вот он, уже скошенный и обмолоченный, отделенный от соломы, золотым дождем сыплется в бункер, а оттуда — в кузов автомашины.

На одной из остановок мы залезли на мостик, и я попросил комбайнера разрешить нам постоять у штурвала.

Мостик под нами ходил ходуном, и Любашка поначалу явно оробела.

— Страшновато?

— Немножко,— откровенно призналась дочка.— А пахнет как все равно свежим хлебом. Вкусно!

В это время на поле пришли гурьбой деревенские ребятишки, среди которых мы увидели и Никиту. Кое-кто из ребят был в фартуках, остальные держали в руках сумки или мешочки.

— Это зачем они? — спросила Любашка.

— После комбайна кое-где колоски остаются. Вот ребята и пришли собирать их.

— Я тоже хочу! Ты с дядей — на комбайне, а мы с Никитой за вами колоски будем собирать.

Ни фартука, ни мешочка у нас с собой не было. Пришлось Любашке собирать колоски в свою панаму.

Ребята выстроились в шеренгу и двинулись по убранному полю. Любашка шла рядом с Никитой. Мне видно было, как старательно выискивала она колоски, как радовалась каждой находке. Еще бы! Ведь это была не какая-то там игра, а взаправдашняя работа. Интересная, занимательная, как игра, но все равно работа.

А может, еще и потому радовалась Любашка, что работала не на огородике, не в одиночку, а на большом поле, в большом коллективе. И как знать — не впервые ли в жизни опять-таки почувствовала себя членом коллектива! А это всегда радостное чувство.

Панамка полна тяжелых колосьев. Любашка высыпает их в общий ворох, и ворох этот растет на глазах. Одному такой не насыпать. Но в этом большом ворохе есть и ее доля...

Побывали мы в тот день с Любашкой и на току: постояли около хлебных буртов, покрутили веялку, поглядели, как работает сложная зерноочистительная машина.

Домой возвращались насквозь пропыленными, чумазыми, смертельно уставшими и голодными, но очень и очень довольными. Для маленького человека долгий июльский день этот отныне был преисполнен особого значения. Это был большой трудовой день.

Когда мы проходили мимо своей пшеничной полосы, Любашка поглядела-поглядела на нее и усмехнулась с чувством превосходства. После колхозного поля полоска наша выглядела игрушечной.

Увидев нас, мать в ужасе всплеснула руками:

— Боже мой! На кого вы похожи?!

Любашка в ответ прижалась к матери чумазой рожицей:

— Когда выросту большая, обязательно буду трактористом и комбайнером...

ЗВЕРЬ В КОЛЮЧЕМ ПИДЖАКЕ

А нынче мы идем в лес.

Никита рано утром понес отцу завтрак в поле — это, считай, пропал на весь день. Идем без него.

Рыжик с Кутенком, глядя на наши сборы, отлично понимают, что они значат, и один неотступно кружится подле нас, норовя, чтобы его погладили на прощание, другой рвется из комнаты, не чая дождаться, когда можно будет вдосталь побегать, порезвиться.

Недолгие сборы кончены, мы выходим. Рыжик остается на ступеньках террасы, провожает нас грустным взглядом, Кутенок, повизгивая от радости, несется по тропинке вперед.

День погожий, но не жаркий, дует ветерок, солнце нет-нет да и закроют белые облака.

До леса от нашего дома рукой подать. Но, добравшись до опушки, мы еще долго шагаем просекой и, только углубившись в лес как следует, начинаем расходиться в разные стороны.

Кутенок, чем дальше мы заходили в лес, тем держался ближе к нам, а под конец и совсем рядом пошел. Густые и незнакомые лесные запахи, сторожкая тишина

и то возникающие в ней, то замирающие непонятные звуки и шорохи — все это и тревожило, и волновало, и, конечно, пугало маленького пса. Кто знает, что таится за этим огромным кустом? Под чьей ногой хрустнула ветка в той стороне и кто зашуршал листьями в другой? И очень хочется все это узнать и... боязно. Пес то и дело навастривал уши и поводил носом, как бы обратившись весь в слух и нюх.

Я негромко крикнул:

— Эгэ-эй!

Тотчас лес ответил:

«Эгэ-эй!»

Кутенок вопросительно поглядел на меня: кто, мол, это там кричит?

— А вот пойдем посмотрим.

Я зашел за куст. Кутенок — следом. Но его что-то отвлекло, и следующий куст пес обежал уже с другой стороны. Ничего страшного не произошло. Тогда Кутенок обежал кругом еще одну кружавину орешника. Опять на него никто не напал и отбиться от меня он не отбился. Гордый собственной храбростью, пес этак победно огляделся: каково, мол, а?

— Молодец,— похвалил я Кутенка.— А теперь хватит бегать просто так — ищи грибы.

И что вы думаете — понял меня пес. Прошло немного времени, слышим — лает на кого-то. Выходим с Любашкой на полянку, видим — стоит наш пес рядом с большим красноголовым подосиновиком и погавкивает на него.

— Это он говорит, чтобы мы его сорвали,— перевела Любашка.— Какой же умный-преумный пес! Надо за это дать ему колбасы.

Так мы и сделали: отдали Кутенку в поощрение один из своих бутербродов.

Чем глубже мы заходили в лес, тем грибы попадались чаще. Подосиновики, подберезовики, изредка белые.

Найдя гриб, Любашка громко выражала свою радость и с бесчисленными подробностями расписывала, как это произошло: как она шла, да как что-то там в траве мелькнуло, она подумала — лист, а это оказался гриб... Столь же сильно огорчалась дочка, когда грибы ей долго не попадались. И я тогда делал так. Увижу за кустом гриб и говорю:

— А теперь, Люба, разойдемся: ты иди той стороной, а я этой. Может, под кустом что и найдется. Уж очень хороший куст — должно под ним что-то быть.

Любашка находила гриб, а я удивлялся:

— Смотри-ка! А я прошел и не заметил...

Мое удивление прибавляло радости Любашке, и она хвастливо объясняла:

— Так я ведь маленькая, мне грибы лучшѐй видно.

Но вот как-то мы опять заслышали тявканье окончательно осмелевшего и убегавшего все дальше и дальше Кутенка.

Пошли на голос. Пса мы нашли за кустом можжевельника. Однако на сей раз никакого гриба поблизости не было видно. Кутенок лаял на кучку серых листьев, должно быть что-то почуяв под ней. Наше появление прибавило псу храбрости, он смело сунулся в шевелящиеся листья, но тут же отдернул нос и начал обескураженно шаркать по нему лапой, точно так же, как это было при пчелином укусе. Мы подошли ближе и увидели притаившегося в листьях небольшого ежика.

— Это что? — спросила Любашка.

— Не узнаешь? А помнишь, недавно стихи учила:

Серый ежик, чудачок,
Сшил колючий пиджачок...

— Так вот, это тот самый зверь в колючем пиджаке. Можешь потрогать и убедиться.

Мы присели над ежом и погладили его по иголкам. Ежик зафукал, как утюг, на который брызнули, и ловко поддал своими еще не очень жесткими коричневатыми иголками.

— Не бойся, чудачок,— приговаривала Любашка.— Мы тебя не обидим. Не бойся.

Ежик перестал щетиниться, хотя по-прежнему смотрел черными блестящими глазками из-под надвинутых козырьком игл настороженно, недоверчиво.

— А давайте возьмем его с собой,— предложила Любашка.

Подошла мать, и после короткого семейного совета решено было взять ежа.

Так появился в нашей комнате новый обитатель. Веселое ласковое имя Чудак, которое дала ему Любашка, как-то очень подошло ему да так за ним и осталось.

Пришли мы домой уже под вечер. Пока разобрали грибы да пока поужинали — стемнело.

Ежа мы оставили в комнате, а сами ушли спать на террасу. Однако только легли, как за стеной раздался четкий деловитый топот. На секунду топот прекращался, слышался сухой стремительный шелест и снова: топ-топ. Это ежик бегал из угла в угол, натыкаясь на стену, шаркая по ней иглами, поворачивал и бежал дальше.

Лишь окончательно убедившись, что удрать в лес ему не удастся, Чудак начал обживаться на новом месте. Вот он забрался под стол и зашуршал не то газетой, не то моими бумагами. А вот стало слышно, как покатился и мягко шлепнулся о стену мяч. Прошло еще какое-то время, и загремела посуда в Любашкиных игрушках.

— А он мою посуду не перебьет? — встревожилась дочка.

— Посуду, может, и не перебьет,— ответил я,— а вот спать нам не даст — это уж точно.

Ежик будто услышал наш разговор и затих. Наконец-то!

Но когда мы начали задремывать, за стеной снова зашуршало и вдруг раздался жалобный писк. Еще, еще.

— Это Тузик плачет,— первой сообразила Любашка.— Это он Тузика обижает.

Мы вошли в комнату, зажгли свет. Ежик, зажав в уголок маленькую резиновую собачку с пищалкой, подталкивал ее своими иголками. Писк, который при этом получался, похоже, очень нравился Чудаку.

— Ну хватит! — прикрикнула на ежа мать.— Ишь разошелся.

Любашка взяла Тузика, мы с матерью убрали с полу бумаги, тапочки, мяч, игрушки — все, что могло служить развлечением ежу.

— И чтобы тебя больше не слышно было!

После этого мы спали уже спокойно до утра.

А утром Любашка нашла Чудака в соломенной кошелке, с которой ходили за грибами. Грибной дух, должно быть, напомнил ему родной лес, и тогда он уснул успокоенный.

Любашка хотела вытащить ежа, но тот зафукал и сердито поддал иголками.

— Это он еще не выспался и не хочет вставать,— сообразила дочка.

И действительно, Чудак снова заснул и спал до самого завтрака.

За завтраком Кутенок хотел познакомиться со странным зверьком поближе. Видя, как Любашка поглаживает ежика по иголкам, Кутенок подошел и тоже потрогал его лапой. Однако лапа сама собой тут же отдернулась — еж, как и вчера, кололся. Видно, придется подождать, когда зверь станет помягче.

Вышел из кухни Рыжик. Принюхался — что за лесной дух в доме? — пошевелил усами и смело пошел к ежу, который в это время лакал из блюдца молоко. Подошел, еще раз понюхал, затем попытался оттеснить ежа боком — укололся, ударил лапой с досады — снова укололся, сунулся носом к блюдцу — наткнулся на те же иголки. Так ничего и не оставалось коту, как подождать, пока колючий зверь не напьется досыта.

Сам Чудак к своим сокашникам или, точнее говоря, сомолочникам большого интереса не проявил. Он понял, что соседи безопасны, и этого ему пока что было вполне достаточно. Позавтракав, Чудак деловито забегал по комнате, оглядывая и обнюхивая новое жилье уже при дневном свете.

Ежик был еще очень маленький и поэтому быстро привык к нам, не дичился, а, наоборот, любил быть там, где люди. Если даже он занимался каким-то своим серьезным делом, стоило позвать: «Чудак, Чудак!» — как он моментально бросал все и бежал на зов.

Любашка любила играть с Кутенком бумажкой на веревочке. Этому же научила она и Чудака. Ежик, точно как и Кутеша когда-то, азартно бегал за бумажкой, бросался на нее, промахивался и снова бросался и так до тех пор, пока не вцеплялся в бумажку мертвой хваткой. Тогда его можно было тащить за веревку, можно было поднять, и он самоотверженно висел, поджав короткие мохнатые лапки. Не успокаивался ежик до тех пор, пока не разрывал бумажку в мелкие клочья.

Как-то во время такой игры я проходил мимо. Неожиданно Чудак кинулся на мою босую ногу и вцепился зубами в большой палец. Я инстинктивно отшвырнул ежа. Тот покатился, шурша иголками, по полу, потом поднялся и как ни в чем не бывало опять кинулся на ногу и опять вцепился в палец. Ничего себе, веселую игру придумал зверь в колючем пиджаке! Главная же беда была в том, что

игра ему чем-то очень понравилась. Сколько бы потом ни попадало ему от нас — Чудак продолжал кидаться на босые ноги, и все тут.

Ежик все больше привыкал к нам и почти совсем перестал свертываться в клубок. Должно быть, он убедился, что в этом нет никакой необходимости: никто его не обижал, никто на него не покушался.

Чудаку в уголочке было устроено нечто вроде лесного логова из травы и веток. Но он не очень-то жаловал этот уголок. Ему больше нравилось крутиться около нас, особенно около Любашки. Стоило кому-нибудь сесть на ступеньках террасы, Чудак тут же подбегал и, приподнимаясь на задние лапы, просился на колени. На коленях он мог лежать хоть час, хоть два. А если его к тому же еще и гладили, еж вытягивался, прогибая спину, весь размягчался, и тогда даже его иголки делались совсем-совсем мягкими.

Любашке Чудак позволял делать все что угодно. Часто она брала его поперек живота, таскала и тискала, как обыкновенного котенка, приговаривая при этом:

— Чудачок, Чудачок! Кто тебя обижает? Мы их...

Любашка, конечно, была уверена, что обращается с ежом очень ласково, а тот покорно висел на ее руках и не делал ни малейших попыток освободиться, хотя и видно было, что такие нежности ему не очень-то по душе.

Известно, что ежи спят днем, а ночью добывают себе пропитание.

Наш Чудак и ночью спал мало, а днем и того меньше. Разве что иной раз набегается с Любашкой до изнеможения да блюдечко-другое молока с хлебом очистит — тогда блаженно растянется на террасе и подремлет немного.

Как-то вечером мы с Никитой поймали в саду еще одного ежа. Это был матерый еж, раза в три больше нашего Чудака и почти черного цвета. Если Чудака можно было брать голыми руками, то этот кололся твердыми длинными иглами даже сквозь платок.

Мы принесли его на террасу и показали Чудаку. Чудак смешно и трогательно засуетился, забегал вокруг свернувшегося в клубок ежа, но тот сердито фыркал, поддавая Чудака иглами. Тогда малыш забрался к нему на спину и принялся лизать твердые иголки.

— Это его мама,— высказала предположение Любашка.— Он ее жалеет, а она обиделась и не хочет.

Нам стало жалко бедного Чудака, и мы выпустили чужого на волю. У такого взрослого ежа и в самом деле где-нибудь могли оставаться свои маленькие дети...

Рыжик с Кутенком, приглядевшись к новому сожителю, поняли, что он хоть и колючий, но в общем-то безобидный, и даже нет-нет да и поигрывать с ним начали. Пес гавкнет на ежа — и бежать. Чудак, понимая, что это игра, ударится за Кутенком. Тот обернется, опять гавкнет — и дальше. Словом, маленький маленького понимали очень хорошо. Они даже чем-то похожи были друг на друга. Иной раз во время игры Чудак вдруг присядет и совершенно по-собачьи начнет чесать за ухом задней ногой — щенок и щенок.

Вот только когда дело доходило до еды, прожорливый малыш частенько обижал своих старших товарищей.

Мы поставили ему специальное блюдечко, и поставили нарочно в другом углу комнаты. Но Чудак ел жадно, быстро и, управившись со своей порцией, без зазрения совести бежал к миске Кутенка и Рыжика. Дальше все делалось очень просто: еж выставлял иголки, оттеснял щенка с котом от миски, а сам залезал в нее с ногами. Это был настоящий разбой, но ни храбрый Кутенок, ни мудрый кот ничего не могли поделать с ежом и покорно ждали, когда тот насытится. А спустя еще немного времени Чудак даже вот до чего додумался.

Не раз ему приходилось видеть и слышать, как Рыжик с Кутенком просят есть: один помяукает, другой погавкает — и, глядишь, в миску наливают молоко. Сам же Чудак умел разве только хрюкать, да и то не натощак, а после сытного обеда. Так как же ему попросить обед? Можно, конечно, подождать, когда дадут щенку с котом, а потом пристроиться к той миске. А если его друзья сыты? И Чудак вот что стал делать. Долго не кормят его — он этак бочком, бочком подъедет к Рыжику и слегка подтолкнет его иголками. Тот мяукнет. Чудак снова поддаст кота иголками, потом еще разок. Кот начинает орать погромче. И так до тех пор, пока не дадут есть. Когда кота не было в комнате, то же самое Чудак проделывал с Кутенком.

Вот какого сообразительного зверя на свою же, как говорится, голову нашел Кутенок в лесу!

ЗЕМЛЯ — МАТУШКА, ХЛЕБ — БАТЮШКА

Июль на исходе. На полях вокруг нашей деревни уборка идет полным ходом. Озимые хлеба скошены и обмолочены. На очереди яровая пшеница, овес, гречиха.

Свою полоску мы засеяли поздно. Но так или иначе, а и для нее подошло время жатвы. Пшеница на богатой целинной земле уродилась на славу — высокая, крупноколосая, умолотистая. Тучные, склонившиеся к земле колосья проворные курочки начали уже выклевывать.

Пора было приступать к уборке.

Я взял у тети Шуры косу, наточил ее, и вместе с Любашкой и Никитой, в сопровождении Кутенка и Рыжика, мы торжественно двинулись на наше пшеничное поле.

«Вжу-у, вжу-у, ре-жу» — пропела коса, и первые кучки срезанного хлеба легли на край полоски.

Кутенок тявкнул возбужденно и кинулся на скошенный хлеб, будто я что-то спрятал под ним. Пришлось Любашке взять не в меру резвого пса на руки: чего хорошего, еще под косу попадет. Рыжик невозмутимо сидел поодаль и глядел на щенка с явным осуждением.

Скосил я полоску быстро. После этого мы аккуратно собрали пшеницу в большой тугой сноп и поставили его посреди полосы колосьями кверху: пусть посохнет.

Потом недалеко от террасы мы сделали нечто вроде маленького тока, подровняли его, утрамбовали и чисто подмели свежим березовым веником.

Сноп был торжественно принесен на ток и гладкой, специально для этого выструганной палкой начисто, до последнего зернышка обмолочен. Молотили мы напеременку с Любашкой и Никитой, а пес с котом тем временем зорко стояли на страже.

Куры, чуя поживу, ходили вокруг нашего тока и вкрадчиво распевали: «Ра-ра-ра-ра-ра».

Некоторые, понастырнее, подходили совсем близко и пытались клевать пшеницу, но тогда Кутенок отважно кидался на непрошеных гостей и, если они убегали недостаточно поспешно, рвал из них пух и перья.

Принял свое участие в общем деле и Рыжик.

Когда, обмолотив и провеяв пшеницу, мы оставили ее сохнуть, а сами пошли обедать, к току из-под террасы, что ли, подкралась новая воровка — рыжая полевая мышь. Будто бы дремавший в стороне кот развернувшей-

ся пружиной мелькнул над соломой, и в следующее мгновение незадачливая полевка была у него в зубах.

Лакомиться мышкой кот пришел на обычное обеденное место. Ежик потянул носом и затопал к коту, но тот заурчал недовольно: сам-то, мол, не очень делишься, хуже того — мое лопаешь. Не дам! Чудак хотел, по обыкновению, пустить в ход иголки, но на сей раз это ни к чему не привело: кот взял да и ушел с мышью в зубах в другой угол. Мышь — не блюдце с молоком. Малыш так огорчился, что и свое молоко пить не стал. Пришлось Любашке поймать ему лягушонка.

Я еще заранее нашел два плоских камня, подогнал их один к другому, и вот сейчас высохшую пшеницу мы начали молоть между этими камнями. Дело шло медленно, мука на такой первобытной мельнице получалась грубая, крупная, и ее потом пришлось тщательно просеивать.

— Зачем мы все это делаем? — уже не первый раз за нынешний день спрашивала Любашка.

— Потерпи немного. Скоро узнаешь.

Никита, кажется, догадывался, что будет дальше, и все же не отходил от меня ни на шаг — так интересно ему было все, что мы делали. Похоже на игру, и в то же время что-то серьезное. Муки после просеивания осталось чуть больше двух пригоршней. Что ж, и то ладно.

— А теперь зови маму,— сказал я Любашке.

Мать взяла у тети Шуры немного дрожжей и в кастрюле развела нашу далеко не первосортную муку.

День был жаркий, тесто быстро подошло. И вот уже мать ловко разделала его, и на противень легла маленькая аккуратная булка.

— Булочка! — радостно и удивленно воскликнула Любашка.

— Буйка,— подтвердил Никита.

— Да, это будут булки,— сказал я.— А пока они пекутся у тети Шуры в духовке, пойдемте погуляем.

В комнате — похоже, к дождю — было душновато.

Мы спустились с террасы и устроились на нашей излюбленной полянке. Земля была горячей, и от нее пахло солнцем и хлебом. А может, это с полей наносило хлебные запахи. На полях продолжалась жатва.

— А почему тетя Шура говорит, земля — матушка? — спросила Любашка.— Она кому мать?

— Она всем нам мать,— ответил я.

Любашка и Никита с любопытством уставились на меня: очень интересно!

— Давно-давно, много-много лет назад,— сказал я,— землю нашу покрывали леса. Густые, непроходимые. И люди жили в этих лесах рядом со всякими зверями, сами еще мало чем отличавшиеся от зверей. Пропитание себе они добывали охотой. Потом люди научились добывать огонь, научились огнем выжигать леса и на этом месте сеять хлебные зерна. Землю они взрыхляли обыкновенной палкой, а урожай поедали в зернах, потому что молоть их, хотя бы так, как мы мололи сегодня, люди научились гораздо позже. Прошло еще много-много лет, и главную пищу человеку начинает давать уже не лес. не охота, а земля. И за то, что земля все более надежно кормит его, человек называет ее матушкой, родной матерью, а хлеб — батюшкой...

— Земля — матушка, а хлеб — батюшка,— тихо повторила за мной Любашка.

— А еще про хлеб говорят: насущный — значит, что ни на есть необходимый. Только очень, очень трудно достается этот хлеб человеку. Помнишь, ты над бабушкой засмеялась, когда она хлебные крошки собрала на столе и в рот положила?

— Помню.

— Так вот, бабушка твоя не от жадности это сделала. Очень дорого, очень трудно ей всю жизнь хлеб доставался. Потому, что пахала она сохой, жала серпом, а молотила цепом — той же палкой, какой мы нынче с вами молотили, только на веревочке. Сейчас вон сколько всяких машин помогают человеку, он только управляет ими. А ведь управлять машиной не так трудно — это даже вам под силу.

— Я умею на тлактоле,— серьезно сказал Никита.

— На тракторе хорошо работать! — живо подхватила Любашка.

— Вырастай поскорее — и пожалуйста. К тому времени машин станет еще больше и управлять ими будет легче. Но и тогда земля для человека все равно останется матушкой, кормилицей, а хлеб — батюшкой.

— Потому, что они — самые важные.

— Ну, я вижу, вы все хорошо поняли. А теперь пойдемте в дом. Хлеб наш насущный должен уже испечься.

Когда мы вернулись, булочки и в самом деле были уже вынуты, и мы сели пить чай с ними. Всего их было четыре — каждому по одной.

Прямо сказать, на вид наши булки были не очень-то взрачные: и не такие белые, как московские, и не такие пышные и подрумяненные. Все это так. Но Любашка, едва откусив, уже заявила, что никогда еще не ела таких вкусных булок, и мы дружно согласились с ней.

— А нашим помощникам тоже надо дать отведать,— догадалась Любашка.— Они старались.

Каждый из нас дал по кусочку Кутенку, Рыжику и Чудаку — они это вполне заслужили.

— Ну, теперь-то ты будешь знать, где и как растут булки?

— Да, теперь я все знаю,— серьезно ответила Любашка.— Поле, лес, а за ним — опять поле. Земля — матушка... Я много узнала за лето!

На сей раз дочка не хвастала. Ведь она была в том возрасте, когда человек, еще не зная почти ничего, уверен, что знает все. Это потом только, узнав многое, человек начинает понимать, как мало он знает...

Пока мы пили чай, прошел слепой, сквозь солнце, дождь, и умытые им деревья и травы, и все кругом теперь ярко, сочно блестело. И над всем этим чистым, сияющим миром — огромная, вполнеба, стояла радуга. Один конец чудесной семицветной дуги тонул далеко-далеко за лесами, другой опустился в голубую излучину Истры.

— Вот бы добежать! — У Любашки даже голос дрогнул и прервался от восторга перед увиденным.

— Это очень далеко.

— Что ты! Совсем рядом... Никита, побежали!

Не отводя глаз от неба, они схватились за руки и побежали.

Я не стал их отговаривать, потому что и сам в детстве тоже бегал за радугой. Правда, мне так ни разу и не удалось добежать, радуга всегда оказывалась дальше, чем я думал. Но это мне не удалось, а им-то, может, и удастся...

Любашка с Никитой бежали по мокрой траве, а высоко в небе над ними, семицветными воротами в чудесный мир, сияла радуга.

ВОЗВРАТНАЯ ЛЮБОВЬ

•

> Я вас любил: любовь еще, быть может,
> В душе моей угасла не совсем.
>
> *Пушкин*

Иногда мне начинает казаться, что живу я не так, как надо, как следовало бы, как мечталось, наконец. Правда, я тут же утешаю себя тем, что юношеские мечты — это юношеские мечты, а жизнь есть жизнь, но легче от этого мне не делается.

Впрочем, каждый ли из нас знает, что это за штука: жить, как надо?!

До недавнего времени я думал, что знаю, думал, что живу правильно. И вот какой-нибудь месяц назад... Однако же, чтобы вы меня лучше поняли, начинать нужно, пожалуй, не с конца, а хотя бы с середины...

1

Поезд замедлил ход, остановился, и вагоны, набежав друг на друга, выжали на дощатую платформу десятка два пассажиров. Большинство из них, похоже, были местными жителями — не теряя времени, они уверенно, деловито зашагали от поезда, кто на вокзал, кто в обход его, прямо к поджидавшим машинам и подводам.

Я один, пожалуй, шел не спеша, твердо уверенный, что меня здесь никто не встречает.

Светлое, легкое здание вокзала и окружающие его постройки — все сияло еще не успевшей померкнуть свежестью, новизной. Дорогу сюда провели недавно. Еще каких-нибудь пять лет назад на этом месте шумела тайга.

Внутренняя планировка вокзала была удобной, умной и, как любил говорить один из моих учителей профессор Россинатов, целенаправленной. Разве что балкончики в зале ожидания выглядели лишними. Я вообще не люблю балкончиков внутри зданий.

Еще проходя перроном, я заметил, как кое-кто из приехавших то ли с удивлением, то ли просто с любопытст-

вом оглядывался на меня. Теперь, мельком увидев себя в зеркале, я понял, в чем дело. Мое светлое и легкое, на рыбьем, или, как мы теперь говорим, синтетическом меху, полупальто, шляпа и щеголеватые туфли на тонкой подошве, резко выделяясь среди добротных демисезонов, ватников и кирзовых сапог, выдавали меня за человека явно нездешнего, приехавшего в эти края впервые. Я и сам уже успел пожалеть, что среди моих московских друзей не нашлось никого, кто бы посоветовал мне одеться потеплее. В Сибири в апреле еще холодновато.

В глубине просторной площади за вокзалом высились столетние, уцелевшие от вырубки деревья, между ними росли молодые саженцы — сквер не сквер, но что-то в этом роде. По ту и другую сторону сквера и далее на всю ширину огромного распадка до темневшей на холмах тайги тянулись стройные ряды аккуратных чистых домов, образуя тоже просторные, как проспекты, улицы. Похоже, и площади и улицы спланированы были как бы навырост: вчерашний поселок ныне превращается, если уже не превратился, в город и скоро кажущийся несколько пустынным простор улиц и площадей придется как раз впору.

Я пересек площадь, подошел к скверу. В тени молоденьких березок и тополей кое-где еще виднелся снег, а на влажно блестевших ветках уже обозначились набухающие, готовые вот-вот раскрыться, почки. Горьковатый дух хмельно, беспокойно щекотал ноздри.

Вдруг откуда-то сбоку выкатился мяч, а следом за ним такой же круглый, как мяч, притопал краснощекий карапуз. Я придержал мячик, не дав ему укатиться на мостовую.

— Говорила тебе, не кидай в ту сторону.

Я резко обернулся: голос показался мне знакомым.

По дорожке быстро шла молодая женщина в пальто нараспашку.

«Не может быть!!»

— Спасибо вам...

— Валя?! — Я все еще не верил своим глазам.

Женщина вздрогнула, будто кто ее ударил в грудь, рванулась ко мне и тут же остановилась.

— Как ты сюда... как ты здесь очутился, Виктор?

То же самое я хотел бы спросить у нее. Но зачем? Разве это имело какое-то значение?

— Ищу гостиницу,— сказал я первое, что пришло в голову.

— Какую гостиницу?.. Ах, гостиницу! Так она еще только строится.

— Строится? Что ж, и то хорошо.

— Можешь...— Валя замялась на секунду,— можешь у нас остановиться. У нас две комнаты.

— Ну нет. Я сюда не на день и не на два.

— Так не на вокзале же ночевать!..

Мы говорили еще какие-то слова, хотя каждый из нас знал, что думаем мы в эту минуту совсем о другом.

— Жарко!— сказала Валя, сняла пальто и кинула его на руку.

Пробившееся сквозь облачную завесу солнце и в самом деле слегка припекало. Но никакой жары, конечно, не было. Просто пальто у Вали было сшито мешковато. Без него она сразу стала и выше ростом и стройнее.

— Пошли, мама!— позвал мальчик. Язык его еще плохо слушался, и вместо «пошли» получилось «посли».

— Да, конечно,— словно бы спохватилась Валя.— Чего стоять. Мы тут недалеко живем.

Она взяла сына за руку, и мы пошли вверх по улице.

Влажно искрился под солнцем местами сохранившийся ноздреватый снег, сверху навстречу нам бежали юркие говорливые ручьи.

Трехэтажный дом. Отдельная квартира из двух комнат.

Парнишка с ходу же взялся за починку своего экскаватора, а мы с Валей разделись и сели за стол, накрытый простенькой скатеркой.

Валя то положит руки на стол, то уберет их, проведет ребром ладони по заглаженной складке на скатерти, подергает ее за кисти. Глядеть на меня она не смеет, стесняется, как и четыре года назад. Взглянет, и если встретится с моими глазами, тут же опускает свои.

Ее по-прежнему нельзя назвать красивой, но что-то будто подчеркнулось в ее облике, а что-то стушевалось, сделалось незаметным. Сгладилась резкость, угловатость движений. Черты лица стали мягче, хотя и не потеряли своей определенности. Обнаженные до плеч руки, хранившие, как и раньше, нежную, даже на вид прохладную кожу, налились ровной красивой полнотой. Косы, забран-

ные в плотный высокий пучок, открывали маленькие уши и гладкую, без единой морщинки шею.

Мы сидели, пожалуй, слишком близко друг к другу. Стоило мне протянуть, даже просто выпрямить руку — и я бы коснулся Валиного локтя с мягкой ямкой под самым сгибом. Мог бы достать до такой же милой ямки на щеке; когда Валя улыбается — у нее веселые вмятинки на щеках образуются. Когда-то я впервые и поцеловал ее в эту самую вмятинку...

Я отодвинул стул, достал сигареты.

— А ты мало изменился. Как был.

Валя открыто глянула на меня и, тут же смутившись, наклонилась над столом. Ее сильная грудь легла на край стола и белыми полумесяцами выступила над вырезом платья. Валя заметила это, резко выпрямилась. Темный румянец ударил ей в виски, а оттуда жарко растекся по всему лицу. Мне почему-то очень понравилось, что Валя не разучилась краснеть. Я вообще люблю застенчивых людей. Я убежден, что только очень чистые и честные, словом, очень хорошие люди способны по-детски трогательно краснеть не только в пять, но и в тридцать пять и в пятьдесят лет.

Я не стал говорить ей, что она стала интересней, красивей той Вали, которую когда-то знал. Это могло прозвучать банальным комплиментом. Комлиментов же и я не люблю, а Валя — тем более.

— А ведь ты, наверно, есть хочешь!— Она порывисто вскочила из-за стола, и в этом жесте я на мгновение увидел ту, прежнюю, хорошо знакомую мне Валю.— Ну не дура ли: человек с дороги, а я его разговорами занимаю.

Я не успел сказать, что не очень голоден — Валя просто не стала меня слушать, она ушла, почти убежала на кухню и загремела там посудой.

Я подошел к увлеченно сопевшему в углу мальчишке. Он был чем-то похож на мать: те же застенчивые голубые глаза, такие же ямки на пухлых щеках. А вот просторный лоб, косой разлет бровей — это уже, наверное, от отца.

Экскаватор никак не хотел работать. Но когда я протянул руку к игрушке — мальчишка обреченно, чуть не сквозь слезы, но все же упрямо пробасил:

— Я — сам!

— Пожалуйста. Я только посмотрю, что за игрушка.

Пока он объяснял мне, как работает машина, я незаметно соединил расцепившиеся шестеренки и отдал игрушку обратно. Экскаватор заработал. Мальчишка подозрительно поглядел на меня, но я как ни в чем не бывало отошел к этажерке с книгами и с преувеличенным вниманием начал читать надписи на корешках.

Рядом с «Анной Карениной» и «Путешествием на «Кон-Тики» стояли книги по истории России. Между Блоком и Фетом была зажата брошюра по крупноблочному строительству. Целую полку занимали различные учебники по медицине.

— Ну, садитесь, будем пить чай. Василек, мой руки,— Валя принесла парующий чайник, расставила посуду.

Я не люблю, когда взрослые, и родители в том числе, сюсюкают с детьми. И меня поначалу резанул «Василек» — уж больно красиво, куда бы лучше Вася, ну или там Васек. Но мальчишка — светловолосый, голубоглазый — и в самом деле напоминал своим ясным обликом растущий во ржи цветок.

Сели за стол.

— Работаю в больнице.— И, как бы предупреждая мой вопрос, Валя добавила тихо:— По-прежнему — сестрой. До врача так и не доучилась.

Мне стало жаль Валю. Как ей хотелось закончить институт! И вот — на тебе: как была сестрой, так и осталась.

— А ты?

Я сказал, что институт окончил с отличием и меня оставили в Москве. Сюда послали проектировать Дворец культуры.

— Что ж, это очень здорово!— обрадовалась Валя.— Тогда и у нас все будет, как у людей.

— А по Москве скучаешь?— Этого, наверное, не надо было спрашивать.

— А как же, конечно, скучаю,— просто ответила Валя.— Постоять бы на Каменном мосту, на Кремль поглядеть! По Тверскому бульвару пройти!

— Тогда же уехала?

— Тогда же...

Странное дело! Я рад был встрече с Валей. Рад, и все-таки, наверное, лучше бы мне ее не видеть. На какое-то пустячное слово, на какой-то ничего не значащий Валин жест сердце вдруг отзывалось с таким волнением, с такой

радостью и болью, словно встреча эта обнажила его и словно не было никаких четырех лет.

2

Я доложился кому следует о прибытии, а потом долго, до самого вечера бродил по поселку. Собственно, главной задачей моего приезда сюда было приглядеть для дворца подходящее место, а уж затем, при выполнении проекта, «держать в глазах» и это место и то, что его будет окружать. «Надо, чтобы здание — пусть даже прекрасное — не торчало особняком, а органически вписывалось в окружающий пейзаж,— не раз говорил нам профессор Россинатов.— Нашему времени, как никакому другому, созвучны ансамбли. Именно за ними будущее архитектуры...»

И вот я ходил по вчерашнему поселку и завтрашнему городу и присматривался, где и как лучше всего мог «вписаться» мой будущий дворец.

Наиболее подходящими мне показались два места: одно в самом центре города, другое — на краю его, примыкающем к тайге. Каждое из них имело и свои преимущества и свои недостатки. Построить дворец в центре — будет удобно, сподручно всем ходить в него, и само здание — большое, красивое — станет неким геометрическим центром города и вместе с тем его украшением. Но здесь тесно, мало зелени, и с этим уже ничего нельзя поделать. На краю поселка зелени хоть отбавляй, дворец можно и «вписывать» прямо в распадок между двумя пологими холмами, густо покрытыми лесом. Но каково будет ходить в него жителям с другого конца города?! А ведь это плохо, когда в такой дворец нельзя сходить запросто, а надо делать специальный выезд. Так что выбор падал на центр.

Впрочем, честно говоря, выбор этот уже кто-то сделал задолго до меня. Именно на том месте, где бы я хотел видеть свой дворец,— на пологом, чуть скошенном холме — стояла старенькая облупившаяся церковка. Она была видна со всех точек, со всех сторон. Я вышел на один край города, срезал угол и вышел на другой — церковь просматривалась одинаково хорошо. Так что лучшего места, надо думать, и не выбрать.

Прямой широкой улицей я зашагал к центру.

Вблизи церковка имела вид и вовсе жалкий. Оголен-

ные ржавые ребра куполов, пустые, кое-где забитые досками глазницы окон, проломленная крыша — все это наводило уныние. Рядом с церковкой на том же косогоре стояла столь же древняя на вид часовня.

Деревянная часовня сохранилась лучше каменной церкви и выглядела этакой игрушечной миниатюрой, что-то вроде сказочного домика на курьих ножках с крутой крышей, увенчанной деревянной маковкой и деревянным же крестом. С точки зрения архитектуры, часовенка, может быть, была даже чем-то интересна. Но когда уберут церковь, тогда и ей тут делать будет нечего... А местечко хорошее, ничего не скажешь. Главное, что отовсюду видное. И когда на месте этих развалюшек встанет светлое, радующее глаз здание дворца — а мне хотелось надеяться, что дворец будет именно таким,— тогда, наверное, по-другому будет смотреться и весь центр города, а то и весь город...

Опускались сумерки, когда я вернулся домой, если можно назвать домом мое случайное пристанище.

Почти следом за мной пришел с работы и Валин муж. Еще до его прихода, по обстановке комнаты, которая служила ему чем-то вроде кабинета и в которой теперь меня устроила Валя, я пытался составить какое-то представление о характере хозяина, его склонностях и интересах. Но получалось нечто весьма неопределенное. Рядом с синей рабочей спецовкой видел логарифмическую линейку, а книги по истории, как я уже говорил, соседствовали с книгами о далеких путешествиях.

И вот он пришел: я слышу громкое топанье — это он вытирает у порога ноги, затем снимает шуршащую, забрызганную известью куртку, мельком оглядывает ее, и не поймешь, то ли виновато, то ли сердито, а может быть, даже весело говорит:

— Опять эта зараза Глашка забрызгала. Сколько ни говори — только зубы скалит, только бы поозорничать... Э, а у нас, похоже, гости.

— Да, гости,— это Валя подошла к мужу.— Знакомьтесь.

— Виктор.

— Владимир.

Я чувствую короткое, но сильное пожатие. Владимир среднего роста. Широкий лоб, светлые, с глубокими залысинами на висках волосы, спокойный взгляд серых глаз

из-под густых бровей. Кажется, мне уже приходилось видеть это немного грубоватое открытое лицо.

Мы стоим один против другого секунду, другую. Стоять как-то неловко, но и сразу сесть тоже вроде не совсем удобно.

— Не узнаете друг друга? А ведь учились в одном институте.— Валя, ужасно довольная, засмеялась, и всем сразу стало легко, свободно.

После многих «а где?», «а когда?» выяснили, что встречаться нам в институте если и приходилось, то очень редко — разве что на общих собраниях. Владимир учился на другом факультете и на два курса старше. Теперь же он строил ту самую гостиницу, которую я нынче утром искал.

Сели ужинать

Хотя неловкость первой минуты давно прошла, все же чувствовали себя хозяева не то чтобы скованно, но и не совсем свободно. Видно было, что не часто им приходится вот так сидеть с чужими людьми. Непривычно. Это была не та скованность живущих в постоянных ссорах супругов, которые на гостях принуждены мило улыбаться друг другу и говорить всякие приятные слова, а другая, когда они чувствуют себя стесненно из-за боязни каким-то словом, каким-то неосторожным жестом выказать перед чужим человеком что-то такое в своих отношениях, о чем лучше знать только им двоим. Нет, они не тяготились гостем, но в то же время мое присутствие не доставляло им — Владимиру уж во всяком случае — и большой радости. В недружных семьях гость — громоотвод. Воздух этих комнат, похоже, не знал грозовых разрядов.

Василек рассказывал, что делал, что видел и узнал за день, пока отец был на работе, и хоть говорил он о самых ничтожных пустяках, все мы с удовольствием слушали его косноязычный лепет.

— А я уже умею рисовать домик, забор у домика, дорожку, мостик и еще дорожку.

— Как много!— похвалил отец.— Ай да Васек!

Ну, казалось бы, что особенного: сидит мальчишка, болтает про какие-то дорожки, а всем нам хорошо, все мы улыбаемся, будто сама радость в дом вошла и с нами за одним столом сидит. Давно еще кто-то сказал: «Дом без детей — сирота».

Семьи, не имеющие детей, сами же себя обделяют, если не сказать обкрадывают. Да и какая это семья, если в ней нет детей!.. А у нас с Маринкой детей все еще нет...

— Хороший парень у вас,— тихонько сказал я Владимиру.

— Девчонку бы еще, тогда бы и совсем хорошо... Правда, хлопотно с ними. Хороший парень этот не дал ей доучиться,— Владимир кивнул в сторону кухни, куда вышла зачем-то Валя.— Дело оборачивалось так, что или мне или ей оставлять учебу. Ну, и вот... Словом, Валя настояла, чтобы я кончал, тебе, мол, только один год остается...

Маринка рассудила по-другому. Она сказала, когда мы поженились, что не хочет ради ребенка жертвовать своим призванием. Вот когда у каждого из них будет хоть какое-то имя, положение, тогда...

Спать меня положили на диване в комнате Владимира.

Валя мыла перед сном сына, и я опять с болезненным удовольствием слушал его полусонное бормотание, его смех и вскрики: «Цекотно, мам!..»

Долго не мог уснуть я в эту ночь.

С той самой минуты, как увидел в сквере Валю, я словно бы зажил в двух измерениях. Прошлое постоянно накладывалось на нынешнее и временами начисто загораживало, заслоняло его. И картины того, вроде бы уже давнего прошлого вставали в памяти так ярко, будто все это было не четыре года назад, а всего лишь вчера или позавчера...

3

...У моего дружка — однокурсника Кости — день рождения.

В общежитии такие праздники справлять — уж очень по-холостяцки получается. А в Самарском переулке у Кости какая-то двоюродная тетка жила.

— Тетка, даже и в наш космический век, это, конечно, здорово,— сказал кто-то,— да ведь, поди, у нее скучновато будет. Мы и тут друг другу насточертели, сядем за другой стол, а рожи — те же. С каких это пор место стало красить человека? Не попахивает ли тут вульгарным материализмом? Стоит ли огород-то городить?

Костя загадочно улыбался:

— Пироги тетка печь великая мастерица, и пироги те все скрасят. Как говаривали в старое доброе время: не красна изба углами, а красна пирогами. За ними мы друг перед другом в ином свете предстанем — вот увидите...

Вечер и в самом деле вышел на славу. Теткина дочка назвала подружек, и все мы из кожи лезли, чтобы показать, какие мы учтивые, галантные и вообще необыкновенно воспитанные кавалеры.

Меня, как самого близкого друга, Костя посадил с теткиной дочкой, и я, не отставая от других, тоже более-менее старательно ухаживал за своей дамой, а когда, уже под хмельком, танцевали, даже сказал ей, кажется, пару банальных комплиментов — что мне стоило! Я не знал: кто она и что, учится, работает? Да и зачем мне это было? Прошел день, неделя, и я забыл про нее: мало ли с кем приходится сидеть рядом за одним столом! Знал только, что зовут девушку Валей.

Я забыл, а Валя не забыла. Месяца через два она позвала нас с Костей теперь уже на свой день рождения. Только нас двоих. И когда немного выпили, спросила меня:

— А если бы не такой вот день, если бы не позвала — не пришел бы?

— Ну, а как же незваному-то идти?— отшутился я.— Ведь незваный гость, говорят...

А про себя подумал: ну нет, сюда я больше не ходок!

Валя же, должно быть, пождала-пождала, потом сама к нам в общежитие заявилась.

Пришла-то она, конечно, к Косте. Но будь Валя хотя бы чуть поскрытней, похитрей, что ли! А то разговаривает с Костей, а сама глядит в мою сторону, скажу я слово, она краснеет.

Костя валялся на кровати и то ли с целью, то ли без всякого умысла сказал мне, когда Валя засобиралась уходить:

— Обуваться неохота, проводил бы ее до трамвая.

Что мне оставалось делать?! Не будешь же в препирательства вступать или, того хуже, отказываться.

Провожание это создало отношения какого-то интима, и я себя потом не раз ругал за то, что согласился.

Валя стала приходить все чаще и чаще. Поначалу у нее отыскивалось сто причин, и она их каждый раз доб-

росовестно выкладывала, чтобы кто-то коим грехом не подумал, что она пришла просто так. Но чем дальше, тем меньше заботилась о предлогах, и когда не заставала Костю, то не только не уходила, а с плохо скрываемой радостью присаживалась ко мне, спросив, конечно, для порядка, не мешает ли заниматься.

Мне ничего не оставалось, как откладывать книги и вести с ней, что называется, светский разговор: как дела, как здоровье мамы, почему не слышно Робертино Лоретти и почему молодежь в последнее время потеряла всякий интерес к некоторым, очень известным в прошлом году, молодым писателям. Но однажды — кажется, надвигались зачеты — я не выдержал и на обычный вопрос Вали довольно недвусмысленно ответил, что да, мешает и хорошо будет, если уйдет. Но она и на этот раз не обиделась, а только виновато так — до сих пор помню этот смятенный, щемящий взгляд! — посмотрела на меня и тихонько ушла.

Ну, теперь-то, думал я, уж больше не придет: как-никак, а самолюбие есть у каждого человека!

И действительно, пока шла сессия, Валя не заявлялась. Но прихожу с последнего экзамена — гляжу, сидит как ни в чем не бывало. Экзамены я сдал успешно, настроение в таких случаях самое радужное, и я даже с удовольствием пошел провожать ее. Торопиться было некуда, и остановки две мы прошли пешком.

— Ну, теперь-то экзамены позади — может, сам ко мне в гости придешь? — спросила Валя.— А то как-то даже неудобно: я к вам хожу, а вы — раз в год.

Валя, наверное, думала: какая я хитрая, здорово к нему подъехала.

Я улыбнулся этой детской хитрости, но и в самом деле как-то не набрался духу отказаться. А еще, надо думать, оттого так получилось, что настроение было легкое, праздничное: шутка ли — сессию свалил...

И вот мы сидим с Валей одни в ее комнате (мать ушла то ли к племяннице, то ли к золовке). Впервые, наверное, мы разговариваем не только о погоде и наших каждодневных делах.

В сущности, я по-прежнему не так уж и много знал о Вале и попросил ее что-нибудь рассказать о себе.

— А что рассказывать? — развела она руками.— Училась в школе. Окончила... Сейчас вот в институте.

— Ну, а почему тебя именно в медицинский вдруг потянуло?

— Почему же вдруг?! Совсем не вдруг. Еще в школе...— тут Валя замолчала, замялась в нерешительности, а потом, должно быть, все же решилась: — Еще в школе... Вот.

Она достала с этажерки небольшую книгу, раскрыла ее. Нет, это, оказалось, не книга, а только корки от нее, и в этих корках хранились фотографии и письма. На одной фотографии Валя стояла меж двух улыбающихся парней. Парни опирались на костыли, а свободную руку и тот и другой положили на ее плечи. Еще снимок: Валя сидит рядышком с каким-то воинственным старичком, на обороте — трогательная надпись...

— Это после девятого класса я в военном госпитале два месяца работала... Знаешь, я, пожалуй, пойду, чайник поставлю, чай с вареньем пить будем...

Я мельком пробежал одно письмо, второе и понял, и почему Валя колебалась показывать или не показывать их, и почему вдруг заторопилась на кухню. Это были добрые, сплошь благодарственные письма. И столько любви и нежности к «милой сестричке» было заключено в каждом из них, что, когда Валя вернулась с кухни, я даже другими глазами взглянул на нее, словно из писем узнал о ней больше, чем так.

А что творилось с Валей в то время! Она смущалась, краснела, даже не то что краснела, а горела вся, на лбу у нее то и дело выступала испарина, и она ее вытирала прямо рукой, забыв про платок, который торчал из кармана кофточки. Я видел, я понимал, чего стоило скромной, застенчивой Вале показывать мне все это. Я притянул ее к себе и поцеловал в ямку на щеке. Валя прикрыла глаза и потерянно улыбалась, ямки у нее на щеках то таяли, то снова появлялись, и так мила, так младенчески беспомощна она была в своем смущении, что я глядел и не мог наглядеться на нее. Словно бы тормоза, на которых я до сих пор держал себя, разом отказали.

В тот вечер я любил Валю.

А на другой день мы с Костей уезжали на Кавказ...

Завозился, захныкал во сне Василек. Валя тут же проснулась, прошлепала босыми ногами по комнате, ска-

зала что-то тихое и ласковое, и парень затих. Опять стало слышно только, как размеренно постукивает будильник на столе.

А может, Валя вовсе и не спала? Может, она тоже вспоминала сейчас то далекое-близкое время? Может, именно в эту минуту ей тоже вспомнился тот июньский вечер?..

Кто не читал «Машину времени»! Человеческая память — вот она, машина времени. Стоило нам сейчас захотеть вернуться на четыре года назад — и мы вернулись. Вернулись и опять прошлись по Тверскому бульвару, посидели в Валиной комнате, увидели самих себя — тех, тогдашних — и даже услышали свои голоса («А что рассказывать?.. Училась в школе...»). Другой вопрос, чего больше дает нам наша память — радости или печали, благо она или тяжкий крест... Наверное, веселей и беззаботней нам жилось бы, не имей мы памяти. Но какой бы пустой, неинтересной и бессмысленной была эта жизнь! Нарушилась бы не только связь времен, но и рассыпались бы ничем не связанные между собой прошлое и настоящее нашей жизни...

Да, четыре года! Много это или мало?.. Наверное, все-таки много.

Ты слышишь меня, Валя; это я тебя спрашиваю: четыре года — много или мало?..

4

Уснул я уже под утро, а когда встал, хозяев дома не было, ушли на работу. Так что мне и завтракать пришлось одному. В записке, которую оставила Валя, было подробно указано, где и что мне найти.

И вот я завтракаю, перечитываю записку — я ее положил на стол перед глазами,— и почерк Валин кажется мне каким-то незнакомым. Не сразу вспоминаю, что ему и неоткуда быть знакомому, ни я Вале не написал ни одного письма, ни она мне...

А потом я опять весь день до вечера слоняюсь по городу, приглядываюсь к его планировке.

Мне хочется нащупать главную мысль зодчего, хочется увидеть своеобразие его почерка, но и то и другое проступает очень смутно, очень неопределенно. Я вижу частности — дома, улицы, площади,— и некоторые частности

эти решены довольно интересно. Но я не вижу целого. Не вижу города как единого художественного организма. И не в том дело, что город еще продолжает строиться и не имеет законченности. Человек растет и меняется всю жизнь, но и в три года он уже человек.

Мы любим говорить, что русские города застраивались беспланово, хаотично. Что ж, в этом есть немалая доля истины. Но странное дело: и Владимир, и Суздаль, и Ярославль, и Нижний Новгород, и любой другой город имел свое неповторимое лицо! Да и какие разные, какие непохожие были лица у городов! Неужто одной хаотичностью это достигалось?

Мы возводим города по планам: у каждого города есть свой генеральный план. Но, боже мой, как они похожи друг на друга — многие новые города, как однообразны бесчисленные Черемушки на окраинах старых! В чем тут дело? Неужто только в том, что новые города еще молоды и не успели «заиметь» свое лицо?

Об этом же мы говорим вечером с Владимиром. Ему тоже не очень-то нравится, как застраивается город. Жить в нем, наверное, будет удобно, если иметь в виду житейские удобства; к тому же лес рядом, река. Что же до красоты, то о ней даже и говорить как-то не принято. За квартал или полугодие им надо «сдать» столько-то квадратных метров — и вся недолга. Какая уж там красота! Да и вообще что эта за штука, если ее на квадратные метры нельзя измерить?!

— Ну, вы — строители, какой с вас спрос? Спрашивать надо с архитекторов.

— Это верно, с архитекторов. Но и опять же не в них одних дело.

Я соглашаюсь: архитекторов-планировщиков связывают по рукам различные ведомства и всевозможные инстанции. Это так. Однако же и сами-то они мыслят уж очень стандартно, очень традиционно. Где смелость, где полет фантазии? Вон Нимейер как спланировал новую столицу Бразилии — город как бы весь устремлен в будущее. Конечно, столица есть столица, но не мешает нам думать об этом, даже когда застраиваем самый рядовой город. А то только говорим, что строим города будущего, а где оно, это устремление в будущее?

— Ну, это еще как и что понимать под устремлением!

Владимир на крупные глотки допивает чай и начинает

закуривать. Я уже заметил: если о чем заговорил — любит изложить свою точку зрения обстоятельно. Бывает даже, что как бы сам себе задаст вопрос, сделает паузу, а уж потом начинает отвечать.

— Не знаю, как ты, а кое-кто считает, что устремиться в будущее — значит обязательно оторваться от настоящего. А ведь это, наверное, совсем не обязательно. Завтрашнее растет из нынешнего, как и нынешнее — из вчерашнего...

Владимир опять делает паузу, я не перебиваю его. Мне еще не совсем понятно, куда он клонит.

— Наши не шибко-то грамотные предки были поскромней. Закладывая города, они не возглашали, что строят города будущего... Мы — земляки, я тоже нижегородец по рождению, и, помню, где-то вычитал, как в старинной летописи сказано про основание Нижнего Новгорода: «И поставлен в устье реки Оки град-камень крепок зело и не одолеют его силы вражеские». И все. Никаких векселей на будущее, кроме того, что врагам не одолеть города. Однако же, если дошедшая до нас через века и века красота Нижнего или того же града Петра радует наш глаз и наполняет волнением и гордостью наше сердце,— значит, города эти были, кроме всего прочего, устремлены и в будущее.

Немного книжно, но в общем-то интересно...

— А вот творения кубизма и конструктивизма двадцатых годов хоть и были сконструированы с явной претензией на будущее, давным-давно уже выглядят — ну разве что за редкими исключениями — не более, чем забавными нелепостями. Потому что это было то самое устремление в будущее, которое... ну, что сказать... которое прямо-таки своей целью ставило оторваться от настоящего.— Владимир усмехнулся и добавил: — А заодно и от родной национальной почвы.

Так, так. Теперь понятно.

— Но ведь только что совершилась великая революция. Старый мир рухнул, родился новый, и во всем, и в архитектуре в том числе...

— Ты меня извини, я тебя перебью: что значит старый мир рухнул? — Владимир виновато улыбнулся, секунду-другую помолчал по обыкновению и продолжил: — Рухнула старая государственная машина, а Россия-то, народ русский, великое искусство, им созданное, остались. В по-

литическом отношении мы сразу шагнули, может, на пятьдесят, а может, и на сто лет вперед. Но можно ли и надо ли так шагать, когда дело касается искусства?!

— А кто же говорит, что надо?

— Кто говорит? А вот стихи тех лет: «Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства цветы». Ты слышишь: во имя нашего завтра, то есть получается как раз во имя нынешнего дня!.. Можно, конечно, сказать, что это написал поэт, горячая голова, и велик ли с него спрос. Но если бы так писал только один поэт! «Долой старое искусство! Долой буржуазно-помещичью литературу!» — это возглашали хором и лефовцы, и пролеткультовцы, и напостовцы, и... да всех не перечтешь... И, смотри, как р-революционно называли-то себя: пролетарская культура, левый фронт искусства!.. А вдуматься — зачем революция делалась? Да, зачем? Разве только для того, чтобы разрушать?

Вопрос прозвучал несколько неожиданно и застал меня врасплох. Не то чтобы я и в самом деле не знал, зачем и почему произошла революция, но отвечать словами из учебника истории не хотелось, а к тому же наверняка Владимир не того от меня и ждал. В самом вопросе чувствовался пока еще непонятный для меня, скрытый смысл. Владимир словно бы проверял, прощупывал меня: а ну-ка, что ты скажешь, как ты мыслишь?

— Я с тобой согласен: вопрос вроде бы очень простой, а ответить на него непросто, потому что одной фразой всего не обнимешь. Ну, а если брать поуже, то я так думаю, что революция делалась, чтобы все, что в веках и веках было нажито, накоплено трудом и талантом народа,— все это взять в свои руки и повернуть на благо народа же. Не какой-то кучки аристократов, как раньше, а всего народа. Недаром Ленин чуть ли не на другой день после победы революции уже подписывал декреты о взятии под государственную охрану Ясной Поляны и других памятников нашей национальной культуры. И тех же пролеткультовцев и других «ниспровергателей» Ленин не раз критиковал именно за то, что они полностью отрицали, отбрасывали в сторону художественное наследие прошлого. Однако же «ниспровергатели» не только в те годы, но и гораздо позже все еще продолжали кричать: «Долой Пушкина и Толстого с корабля современности — дворянские же, чуждые нам писатели!»

И не только кричали, а даже еще и подводили под это теоретическую базу. Жизнь, ясное дело, опрокинула их «теории», жизнь показала, что скучновато будет без этих дворян в нашем новом мире, головато. С тем же Демьяном вроде и веселей и проще — свой человек, пролетарий, а все же бедновато, хочется еще чего-то...

— Но ведь в те же годы,— напомнил я Владимиру,— печаталось и:

О, Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку, —
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску...

— Печататься-то печаталось, но тут же и поносилось: что еще за Русь?! Почитай литературные энциклопедии тех лет... Я нарочно говорю не про какие-то книжонки тогдашних леваков — я говорю про официальные издания... Так вот, почитай энциклопедии, и ты увидишь, что не только в двадцатых, но и в тридцатых годах Есенин все еще именуется не иначе, как кулацкий, упадочнический поэт... Из Блока охотнее всего цитировались именно те строки, в которых Русь называлась толстозадой... И вообще, что это еще за озерная тоска? Что за пессимизм? Долой мелкобуржуазное нытье!

По горячности и убежденности, с какими говорил Владимир, видно было, что все это не сейчас пришло ему в голову, а занимает его уже давно и серьезно. Уж, во всяком случае, гораздо серьезнее, чем мне поначалу показалось.

— А Пушкина и Толстого еще и потому неплохо было сбросить с корабля современности, что при них, рядом с ними всякие там кубофутуристы, конструктивисты и прочие «исты» не больше, чем желторотыми юнгами, салажатами себя бы на том корабле чувствовали. Без них же — сами за Пушкина могли свободно сойти, а значит, можно переть прямо на капитанский мостик и становиться у штурвала...

— О чем это вы так горячо? — Валя кормила и укладывала спать сына, а теперь вернулась к нам.

— Да вот начали об архитектуре, а теперь на стихи перешли,— подзадорил я Владимира. К тому же мне неясно было, к чему он о всяких «истах» заговорил.

— Нет, я не о стихах, а все о том же,— упрямо мотнул Владимир головой.— Про литературу я вспомнил потому,

что с ней мы мало-помалу все же разобрались. Мы поняли, что рабочий класс хоть и самый передовой, самый революционный класс, но это еще совсем не значит, что он так вот запросто может выдвинуть из своей среды и самых гениальных писателей. К слову сказать, и вождь революции, как мы знаем, был не из рабочих... Мы поняли, что искусство, литература имеют не только классовую, но еще и национальную основу. А вот архитектуре повезло куда меньше. «Ниспровергатели» чуть ли не до самого последнего времени в каждом храме видели только культовые здания, и ничего больше.

— Но, Володя, не каждая церквушка — и памятник архитектуры,— это Валя вмешалась в наш разговор.

Я поддержал ее, вспомнив здешнюю церковку, одним своим видом наводившую тоску. Я даже хотел спросить Владимира, уж не будет ли он стоять за нее, но тот опередил меня:

— Согласен: не каждая. Но по мне, пусть бы уцелел десяток-другой ординарных церквушек, лишь бы заодно с ними не были разрушены десятки — да что там десятки, сотни настоящих памятников архитектуры. А ненужные церквушки всегда бы успели пустить на слом.

Легко рассуждать, сидя вот так за чашкой чая!

— Говорят, лес рубят — щепки летят. Ломалась вся жизнь, весь ее старый уклад, и если уничтожили сколько-то церквей или кое-где сожгли барские дома — так это же можно и понять.

— Щепки, говоришь? — Владимир недобро прищурился на меня, будто именно я и был главным виновником того, что «летели щепки».— Да, это можно понять. Но самое-то непонятное в том, что, когда рубили лес, как ты говоришь, не так уж и много тех щепок летело. В одном из воззваний самых первых дней революции было сказано: граждане, не трогайте ни одного камня, охраняйте памятники, здания — все это ваша история, ваша гордость... Вот именно: гордость!.. А кто не читал о том, как Ленин в те же первые годы революции сделал выговор заведующему музейным отделом за разбитое окно в одной из кремлевских церквей!.. Щепки полетели куда позже, когда революция не только давно победила, но и утвердилась. И не только там камни тронуты — в одной Москве снесены сотни памятников. Не многовато ли щепок?!

Я сказал, что нельзя во всем этом видеть какой-то

злой умысел, что многие здания, имеющие художественную ценность, и храмы в том числе, мы вынуждены были сносить при реконструкции старых городов.

— Иначе по той же Москве давно бы уже нельзя было ни пройти, ни проехать,— поддержала меня Валя.

— Что верно, то верно, но где мера, где грань? — все еще не сдавался Владимир.— Мы снесли Сухаревскую башню, чтобы не мешала движению по Садовому кольцу. Все правильно. А вот Павел Корин так сказал про эту башню: повидал я в Европе всяких башен, а только другой такой не встречал... Что же до предлогов, то их всегда можно найти. Между прочим, если вы помните, тот же самый предлог был выдвинут и для сноса Василия Блаженного: развязать движение автотранспорта по Красной площади. А оно теперь и совсем завязано... Ну, ладно, Василий уцелел. А храм Спасителя? С ним получилось, как со сказочным Китеж-градом — на том месте теперь озеро, или, говоря по-современному, бассейн. А построен этот храм был хоть и при царе, но ведь не царем, а русскими зодчими и мастерами, и расписан первоклассными художниками, Суриковым и Верещагиным в том числе. А если сюда добавить, что построен он был на народные пожертвования и «предлог» для его возведения был достаточно патриотический — ознаменование победы над Наполеоном,— если все это сложить, то получается, что это был не столько храм, сколько памятник искусства и истории.

Владимир нынче, похоже, разошелся. И как-то так получилось, что не только захватил в разговоре инициативу, но и постоянно наступал на меня, а теперь вместе со мной и на Валю. Это было несколько неожиданно: такой тихий, спокойный парень, а смотри-ка... Потому, наверное, я так вяло, так несобранно и оборонялся. А может, тому причиной была еще и Валя. Мне хотелось при ней сказать что-то интересное, оригинальное, чтобы сразу было видно, что на все, о чем идет речь, у меня есть собственное мнение, своя точка зрения. Но — странное дело — именно эта мальчишеская мысль показаться перед Валей в лучшем свете мешала мне сосредоточиться, мешала от обороны перейти к наступлению. Должно быть, понимая это и желая меня приободрить, Валя время от времени бросала в мою сторону сочувственные взгляды, но это еще больше смущало меня и окончательно сбивало с толку.

Владимира же разговор наш, как видно, задел за живое, потому что он все так же настойчиво и обстоятельно продолжал развивать свою «тему». Даже, пожалуй, слишком обстоятельно: временами за многословьем я начинал терять нить, сюжет разговора. И вдруг меня поразило одно удивительное совпадение мысли. Прошлой ночью я думал о человеческой памяти. А вот что сейчас сказал Владимир:

— Чем отличался бы человек от мотылька-однодневки, не имей он памяти, не ощущая постоянно свою связь с минувшим и грядущим? Но не память ли народа — создаваемое им искусство, архитектура в том числе? И чем короче та память, тем беднее народ, как бы сытно он ни ел и как бы нарядно ни одевался. Мы же все двадцатые, да и тридцатые годы...

— А теперь я тебя перебью,— решил я все же вернуть разговор в первоначальное русло.— Начали мы с дня нынешнего, и даже про завтрашний поминали, а ты все про вчерашний да про вчерашний.

— Ну что ж, про нынешний, так про нынешний,— согласился Владимир, но согласился неохотно; видно было, что он недоволен, что его перебили.

Я попытался как-то разрядить несколько напряженную атмосферу.

— Говорят, нашлись веселые ребята в одном таком, как ваш, городе, подпоили приятеля в вокзальном ресторане, потом взяли билет, посадили на поезд и попросили кондуктора высадить в соседнем, тоже новом городе. Парень в том городе очухался, пошел домой, а только «фатеры» своей найти не может: все вроде бы привычное, знакомое — и названия улиц, и сами улицы, и дома, да только позвонил в свою квартиру — открывает не жена, а какой-то незнакомый мужчина в подтяжках...

Я первый раз видел, как смеялся Владимир — громко, открыто, заразительно: белые зубы его сияли и прижмуренные глаза влажно блестели и тоже словно бы излучали сияние. А еще я заметил, что и Вале очень нравится, как смеется Владимир, и она сама смеялась с удовольствием, смеялась, может, не столь мной сказанному, сколь заражаясь смехом мужа.

— Парень вышел на улицу, еще раз огляделся: нет, все правильно, никакой ошибки, разве что булочная почему-то на другой стороне улицы. Чтобы окончательно

убедиться — «Это Красногорск или не Красногорск?» — спрашивает. «Нет, какой же это Красногорск, ты что? — ему отвечают.— Это Синегорск».

Отсмеявшись, Владимир опять посерьезнел.

— Синегорск, Зеленогорск, Углегорск — это еще полбеды, названия можно и другие, поинтересней придумать. А вот что придумать, товарищ архитектор, чтобы эти «горски» не были похожи, как родные братья?

Интересная логика! Сам же вначале взялся отвечать на этот вопрос, а теперь обернул его в мою сторону.

— Первым делом надо, чтобы главный архитектор города при решении вопроса, что, где и как строить, был главнее всех.

— Но это, если исходить из обязательной талантливости главного архитектора. Однако же таланты, как мы хорошо знаем, далеко не на каждом шагу попадаются.

— Так в чем же выход, по-твоему? — Валя меня опередила.

— Вы, конечно, слышали такое слово: особняк. Особняк — значит, особенный, значит, со своей особинкой. И тут мало сказать, что архитектору вменялось в обязанность построить дом, не похожий на другие — в облике дома даже характер мог проявиться, так же как в кресле, на котором сидел Собакевич, и то было что-то от характера хозяина... Нынче же мы строим даже и не дома, а так называемые жилые массивы.

— Ну, ты тоже нашел, что с чем сравнивать,— опять Валя возразила мужу.— Кто особняки-то строил? Купцы, помещики...

— Ну, конечно, ты идейная, а я темный. Ты еще скажи, что мы решаем жилищную проблему и так далее, а то я этого не знаю. Но проблему-то мы не в десять, так в двадцать лет решим, а коробочкам, массивам нашим стоять еще сто лет.

— Ну-ну,— поторопила мужа Валя.

— Что ну-ну? — не понял тот.

— Ну, в чем ты видишь выход?

— А что ты, собственно, на меня напущаешься? — весело огрызнулся Владимир.— Может, я и не вижу никакого выхода, а просто говорю. Мы же не на собрании, мы беседуем за чашкой чая... Ты бы вот, к слову, подогрела чайничек, мы еще по стаканчику дерябнем.

Ясно было, что Владимир приберегает что-то еще

и разговор про чай — не больше, чем пауза. И верно, когда Валя вернулась с нагретым чайником, Владимир снова заговорил.

— Мы живем в век стандарта. Какие уж там особняки! Возьми Америку — унифицируются не только дома, но и люди, их мысли и чувства. Да и только ли в одной Америке!.. Страшновато, конечно, но что поделаешь. Воевать со стандартом — это все равно что сражаться с ветряными мельницами. Стандарт вошел в наш дом, в наш повседневный быт, если не в нашу кровь. Да и надо ли бояться стандарта?

— Тоже вопрос! — фыркнула Валя.

— А я так вот за стандарт! — с вызовом воскликнул Владимир.— Да, я за стандарт деталей, за стандарт ну, что ли, содержания вещей, которые нас окружают. Но! — Владимир поднял палец.— Но я против стандарта формы этих вещей. Пусть детали всех автомобилей будут взаимозаменяемы, а автомобили и по форме, и даже по цвету — разными. Пусть детали домов будут стандартными — это, кстати, нам еще скорее поможет решить жилищную проблему,— а дома — разными. И, уж конечно, успокойся,— это к Вале,— я решительно против стандарта в нашей одежде, не говоря уже о мыслях и чувствах.

Ну что ты с ним будешь делать! Опять он словно бы отбросил меня на исходные позиции, опять я волей-неволей вынужден был думать уже не столько о наступлении, сколько о глухой обороне. Главное же, как-то неожиданно было все это для меня — и сам разговор, и манера Владимира разговаривать. И добро бы, нечего мне было сказать — сколько раз с друзьями велись споры-разговоры о том же самом. Но с друзьями было как-то легко и просто: где что-то скажешь всерьез, где и шуточку подпустишь — совсем другой настрой. Владимир шел, как танк, и все подминал на пути своей мысли, и мои суждения, мои замечания, похоже, были для него не больше, чем ружейная пальба по броне танка.

— Ты что-то нынче больно разговорился.— Валя тоже, видимо, чувствовала, что уж очень серьезно, очень истово относится муж к разговору, словно бы не просто беседует, а работу работает.

— Оно и верно,—согласился Владимир. Однако же согласиться согласился, но с той же железной серьезностью продолжал:

— А города я бы строил так. Пусть жилые дома будут веселыми, по возможности разнокалиберными и разнообразными. Ну, еще чтоб стояли не обязательно в солдатскую шеренгу. И — достаточно. Главный упор я бы делал на школы, институты, дворцы культуры, театры и другие так называемые общественные здания — они должны украшать город! Не только сами должны быть красивыми и каждое здание на особинку, но и располагаться так, чтобы сообщать красоту всему городу, и жилым массивам в том числе.

Владимир так увлекся, что, должно быть, и не заметил, что начинает самому же себе противоречить.

— Какая же особинка в век стандарта? Где тут гарантия от стандарта?

— Да, конечно, гарантии нет,— тяжело вздохнул Владимир.

«Так-то, голубчик! А то уж очень развитийствовался». Я взглянул на Валю, и мне показалось, что она тоже довольна, что наконец-то я припер Владимира к стенке.

— Однако же, если как следует раскинуть мозгой, то можно и гарантии отыскать...

«Вот те на! Припер!.. Нет, этот Владимир совсем не так прост, как вчера показался. Он парень себе на уме, да еще как на уме-то!»

— Интересно! — я почему-то был заранее уверен, что Владимир хоть и храбрится, но на этот раз не удержится на прежней высоте.

— Интересно! — повторила за мной и Валя.

— Когда стали строить павильоны для сельскохозяйственной выставки, почему-то не построили просто шестнадцать зданий современной советской архитектуры. Сделали павильоны такими, что приходил на выставку грузин — сразу, без подсказки, узнавал свой павильон, приходил карел — тоже узнавал свой с первого же взгляда...

Вот эта манера заходить обязательно издалека!

— А ведь павильоны не копируют старину. Нет, они вполне современны. Особинку им придает национальный элемент... Недавно в той же Карелии, в Петрозаводске, построили прекрасный театр. И прекрасен он именно тем, что это не вообще театр, а театр, который могли построить только в Карелии. Но перетащи его, скажем, в Ереван, и он там будет торчать, как белая или уж не знаю, какая

еще ворона, потому что армянские архитекторы строят опять же такие здания, которые хороши в Ереване, но никак не прозвучали бы в Петрозаводске... Словом, если мы не хотим, чтобы нас окончательно захлестнула та модерновая волна, которая, как бы это сказать, с нарастающей силой обрушивается на нас с Запада, мы должны ей противопоставить, если говорить про искусство, наше советское национальное — грузинское, украинское, русское. Другого выхода нет. Безнациональный, космополитический абстракционизм в архитектуре, наверное, столь же бесплоден, как и в живописи...

«Вон он куда вел! Петлял, петлял, а смотри-ка, чем кончил! И не так уж все это и наивно, как поначалу могло показаться. Если и спорить — шуточками не отделаешься».

Владимир сидел теперь спокойный, напряжение ушло с его лица: выговорился. Нет, кажется, еще не до дна.

— Впрочем, можно и так сказать, что ломлюсь я в дверь, а она открыта. И армянские и грузинские архитекторы именно так и делают: развивают, и, надо сказать, успешно развивают, свои национальные традиции. Про Эстонию и Литву и говорить не приходится. Вот только что-то у нас, россиян, это мало заметно: мы все еще вроде бы стесняемся своего первородства, все еще боимся, как бы нас в национальной узости или каких других грехах не обвинили. Хотя чего бы, спрашивается, бояться, если сама жизнь показывает: что крепко связано с прошлым и настоящим — не будет выглядеть смешным и в будущем.

Так неожиданно и — если уж откровенно — ново для меня это было, что я все еще не мог собраться с мыслями. И, должно быть, из желания как-то выручить, поддержать меня, Валя сказала:

— Послушать тебя — уж больно мрачная картина получается: и это не так и то не этак.

— Ну, что ты, как раз наоборот,— засмеялся Владимир.— Картина получается вполне оптимистическая. То рушили памятники архитектуры, на их месте строили серые коробки и считали, что это очень революционно, что так и надо. Сейчас мы, правда, тоже еще не всегда бережны к старине и коробок еще порядочно строим, но уже не говорим, что так и надо. Сейчас мы все чаще за-

думываемся над всем этим — да вот хотя бы наш разговор тому пример,— а если начали задумываться — что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем!

Тут Владимир слегка прижмурился, словно бы хотел вот сейчас же «что-то» придумать, а может, уже и придумал, да не знает, говорить или не говорить.

— Сейчас мы другими глазами глядим на прошлое. Глядим с интересом, с добром и любовью. Для кое-кого это даже становится уже чем-то вроде моды. Моды на русское... Блок любил Россию, однако говорил: «Тебя любить я не умею и крест свой бережно несу...» Есенин тоже писал, что «к тебе я любовь берегу...». Некоторые же молодые поэты прилюдно клянутся в своей любви к России налево и направо и «встромляют» это святое слово в свои стихи к месту и не к месту. Ну, да ладно, будем надеяться, что если мода со временем и пройдет, то любовь к России останется. И вот эта... ну, как бы сказать... возвратная любовь, та любовь, с какой мы глядим теперь на Суздаль и на Кижи, может стать... э, не побоимся громкого слова: может стать великой силой. По моему разумению, она в той же архитектуре может дать куда больше, чем погоня за так называемым современным стилем.

— Почему же так называемым? Разве современного стиля в архитектуре нет?

— В том-то вся и беда, что есть! — невесело усмехнулся Владимир.

— Ну, вот тебя и пойми,— это опять вставила свое слово Валя.

— Ничего непонятного. Вот я абстракционизм упоминал. А что это такое, как не современный стиль в живописи? Если раньше существовали итальянская, фламандская, французская школы, то тут уже невозможно стало отличить итальянца от японца. В абстракционизме нет даже намека на какую-то там национальную почву. И что же? Что же он дал этот уря-современный стиль? А ничего. Так же, как ничего не смогут дать и всякие другие, сменившие его поп-арты...

Я сказал, что параллель, пожалуй, не совсем удачна: живопись — одно, архитектура — другое. Ведь существовал же, к примеру, в средние века единый готический стиль почти во всех странах Европы.

— Готический — да, единый — нет! Французская го-

тика очень даже отличалась от немецкой, а уж о славянской, о каком-нибудь соборе святого Витта в Праге, и говорить не приходится.

— Но сам же сказал, что есть современный стиль в архитектуре,— напомнила Валя.

— Увы! — есть. Вон сколько шумят о нем в газетах и журналах. Я о другом. Я о том, что без национальной основы он так же бесплоден, как и абстракционизм. Он плодит здания, но не произведения искусства. Как готика в каждой стране принимала свои особые формы, так и нынешний модерный стиль надо бы не просто перенимать, а по-своему осмысливать, давать ему свою национальную, как говорят музыканты, аранжировку.

— Легко сказать: беречь и развивать национальные традиции! А как это делать? Да еще при сплошном и единообразном стекле и бетоне?

Владимир не торопился отвечать на мой вопрос. Оно и понятно: вопрос был не шуточным, общими фразами тут не отделаешься.

— Ну, давай, давай, теоретик,— ткнула мужа в бок Валя.— Отвечай!

— Да вы что, ребята? — дурашливо замахал руками Владимир.— Вы что с ножом к горлу? А мне, может, и отвечать-то нечего, может, я ничего и не знаю. И никакой я не теоретик, даже не архитектор, а всего-навсего инженер-строитель. Так и в дипломе значится: инженер-строитель по гражданским сооружениям...

Хитер парень! Своей шуткой он как бы поставил точку: разговор окончен, а кто и как его понял — не его забота. И какой момент выбрал! Именно теперь, когда, как мне казалось, я смог бы не только оспорить, но и опровергнуть некоторые его доводы. Я опять хотел вспомнить Нимейера, сослаться на Корбюзье. Увы! Своим хитрым ходом Владимир как бы лишил меня последней возможности перейти от обороны к нападению. Настаивать же на продолжении разговора было по меньшей мере смешно.

Все или почти все, о чем говорил Владимир, я знал и раньше, но знал как-то порознь, по отдельности, по частностям. У него же эти частности будто своеобразным магнитом соединялись в единую и, надо сказать, довольно стройную систему. И эта система, этот единый, всеобъемлющий взгляд на частности был для меня новым. И если

я мог, скажем, возразить на ту или другую частность — на общую ну, что ли, концепцию Владимира возразить мне, в сущности, было нечего.

Владимир взглянул на часы и потянулся к приемнику:

— Интересно, какую погоду нам на завтра обещают? А то бетонировать перекрытия собираемся.

— Потише, Василька не разбуди.

Валя начала убирать со стола.

Я опять встретился с ней взглядом и опять увидел в ее глазах сочувствие и ободрение: не очень, мол, расстраивайся, подумаешь, дело какое. Но от этого Валиного сочувствия мне сейчас было — почему и сам не знаю — не только не легче, а, пожалуй, даже тяжелей.

И еще я поймал себя на мысли, что в моем отношении к Владимиру уже нет той симпатии, какая была вчера. Странно и непонятно: ведь ничего плохого я от него не видел и не слышал за нынешний вечер. Скорее наоборот: услышал много интересного, увидел, какой это целеустремленный и серьезно думающий человек. И однако же...

Начали передавать сводку погоды.

Закончив свои дела, Валя подошла к мужу, стала рядом. Владимир положил ей руку на талию и, притянув к себе, легонько боднул головой в грудь. Боднул совсем незаметно, может, мне даже только показалось, но я демонстративно (уж это-то, наверно, зря) отвернулся. Мог бы, поди-ка, со своими нежностями и подождать...

Я пытался призвать себя к спокойствию, пытался уяснить, откуда это захватившее меня глухое непонятное раздражение, но вопрос так и остался без ответа, и спокойствие ко мне до самого конца вечера так и не пришло.

А когда мы ложимся спать, у меня опять включается машина времени.

5

... На другой день после того памятного вечера у Вали мы уезжали на Кавказ.

Придумала эту поездку наша однокурсница Галка Гребенщикова. Именно придумала — другого слова тут не подберешь. Как-то, уже перед самыми экзаменами, встретив нас с Костькой в институтском коридоре, Галка сделала заговорщицкое лицо и полушепотом пропела:

— А я что знаю, мальчики!..

— То, что ты знаешь, мы уже успели забыть,— не понимая, к чему клонит эта острая на язык девчонка, на всякий случай огрызнулся Костя.

— Подумаешь, академики! — рассердилась Галка.— Да я, может, вас, самодовольных индюков, осчастливить хочу.

— Не забывай, в каком веке живешь,— уже сбавляя тон, напомнил Костя.— Минимум времени — максимум информации. Выкладывай без предисловий!

— Ну что ж, без предисловий, так без предисловий. Сразу же после экзаменов мы едем на Кавказ!

Мы с Костькой переглянулись: девушка, как девушка — и красивая, и неглупая, даже еще какая неглупая, ну, словом, все при ней, а вот не может без своих дурацких шуточек. Втайне мы, может, и не так строго судили Галку, потому что где-то там в глубине тлела искорка надежды: а вдруг? А вдруг и в самом деле наша голубая мечта сбудется? Но именно потому, что поездка на Кавказ была нашей давней и сокровенной мечтой, боязно было обмануться. Лучше уж не поверить, а то сердце взыграет, а потом...

В одной молодежной пьесе девчонка-школьница, воспылав желанием позагорать на южном солнце, а заодно и увидеть на Черноморском побережье кинорежиссера, в которого влюбилась, решает эту проблему, при явном сочувствии автора, очень просто: продает свое лучшее платье и едет, нет, не просто едет, а летит самолетом. В пьеске все это выглядит очень мило: подумаешь, важность какая, платье, родители новое купят!

Никому из нас троих на родителей рассчитывать не приходилось; Костька норовил даже где-нибудь подработать к стипендии и послать хоть десятку матери в деревню: у Галки семья — отец-пенсионер да младший братишка; мои родители тоже люди весьма среднего достатка: отец — счетный работник, мать — швея, а кроме меня, на их шее еще две птички-невелички — одной тринадцать, другой семь лет. Так что расчет мог быть только на стипендию. Но если сложить даже всю стипендию за лето — и то едва наскребется разве что на дорогу. А ведь надо еще и где-то жить, что-то есть-пить. Нет, мы не мечтали о красивой курортной жизни, о дорогих ресторанах с видом на море, больше того, о людях, которые могли себе

это позволить, мы говорили с глубоким презрением. Наша поездка представлялась нам как культурно-просветительная акция. Еще с младых ногтей, еще со школьной скамьи кто из нас не декламировал с замиранием сердца: «Кавказ подо мною...» или «Под ним Казбек, как грань алмаза, красою вечною сиял...» И так хотелось увидеть своими глазами и этот алмазно-сияющий Казбек, и глухое Дарьяльское ущелье, и дикий злобный Терек!.. Но мечта — увы! — оставалась мечтой. И вот на тебе: «После экзаменов едем на Кавказ!»

— Ты выиграла это путешествие по лотерейному билету?— нарочито спокойно осведомился Костя.

— Нет, ты же знаешь — я невезучая.

— Ага, значит, у тебя объявился на Кавказе богатый дядя и он нас приглашает к себе в гости?— уже с явной издевкой спросил я.— У него небольшая отара, шашлык, бурдюк с «Цинандали»...

— А ведь ты почти угадал! — со всего маху хлопнула меня Галка по плечу.— Дядя! Правда, не мой, а Маринкин, но это детали...

— Какой такой еще Маринки?

— Ты не знаешь, а Костя как-то ее видел. Помнишь, черненькая такая, тоненькая.

— А-а, это та, что на земле ее вроде и нет совсем — вся на воздухе?

— Да, да, она самая. Ну, еще помнишь: она тебя барбариской угостила.

— Так это ее дядя?

— Нет, не совсем ее. Это дядя ее подружки. И никакой отары у него, конечно, нет.

— Остается только, чтобы это был вовсе и не дядя, а троюродная свояченица, как в том анекдоте: все правильно, только не десять тысяч, а десять рублей, и не в шахматы выиграл, а в карты проиграл...

— Ну, хватит зубоскалить, мальчики,— оборвала нас Галка.— Сами забыли, в каком веке живем: максимум — в минимум. И вот вам моя информация...

Выкладывает нам эту самую информацию, и все оказывается довольно просто.

Дядя девушки-абхазки, Маринкиной подруги, работает директором Дворца культуры в городе Поти. А поскольку дворец новый, можно сказать, с иголочки, требуется его художественно оформить — ну там лозунги на-

писать, плакаты, задник на сцене намалевать. Понятное дело, и в гостиницу нам помогут устроиться, и за работу какая-то мзда на хлеб на соль перепадет. Все очень просто.

— Все гениальное — просто! — вздернула нос Галка.

— А аферой тут не попахивает? — уточнил обстоятельный Костя. — Ни мы этого дядю не знаем, ни он нас, и как все это в натуре обозначится?

— Какая-то доля риска, конечно, остается, — признала и Галка. — Но раньше говорили, риск — благородное дело. Рискнем!

И было решено: рискнем.

— Вы бы хоть оценили, пижоны. Предприняты были, можно сказать, героические усилия, велась обширная и длительная переписка, нащупывались варианты, и тэдэ и тэпэ. Главное же — чтобы зря не травмировать вас, я все это время молчала, как рыба, — вы что думаете, это легко?!

Мы сказали, что нелегко, ценим и по очереди чмокнули Галку: я в одну, Костя в другую щеку.

— Нынче вечером в двадцать ноль-ноль назначается организационное собрание нашей большой четверки.

— Кто же четвертый-то? — в один голос спросили мы.

— Ну не могу же я ехать одна с двумя мужиками — я же огрубею, опущусь в вашем железобетонном обществе. С нами поедет Маринка.

— Эта пигалица-то?

— Ну, уж я не знаю, пигалица или нет, у каждого свои ассоциации, как говорит профессор Россинатов. Но Марина Влади — в переводе с французского: Владимирова — студентка факультета журналистики Московского университета — это все же как-то звучит. Во-вторых, пока я не перешла в ваш институт, мы с Маринкой сидели год за одной, можно сказать, партой — это тоже кое-что значит. Ну, а в-третьих, если бы не Маринка — неизвестно еще, послал бы нам бог того дядю или не послал.

— Ну, если уж она на короткой ноге с самим всевышним, — развел руками Костя, — всякие сомнения отпадают...

На организационном собрании в первую очередь был выработан маршрут нашего путешествия. Конечно, не обошлось без жарких споров. Кто Кавказ знал по Пуш-

кину, кто по Лермонтову, а кто по Семенову-Тян-Шанскому, и, естественно, каждый хотел увидеть «свое».

— Ну, какой Кавказ без Клухорского перевала?— кипятился Костя.

— И без Домбая,— поддержал его и я.

— Ну, знаете, Кавказ без Дарьяльского ущелья, без замка царицы Тамары нам тоже и за так не нужен!— стояли на своем Галка с Мариной.

Ну-ка, найди тут для всех приемлемое решение!

Потом был выработан кодекс поведения, первый параграф которого традиционно гласил: «Не пищать!» А в заключение были распределены обязанности каждого.

— Я, как идейный вдохновитель и организатор этой поездки,— первой взяла слово Галка,— буду осуществлять общее руководство.

Что ж, идея и воистину принадлежала Галке, так что пришлось согласиться.

— Дальше. Финансовое обеспечение путешествия.

— Это, пожалуй, немножко посложней, чем идейное руководство,— подпустил шпильку Костя.

— Что да, то да,— мирно согласилась Галка.

— Вся валюта, предназначенная на поездку, должна быть сосредоточена в одних руках, и руки эти должны быть надежными. С Маринкой, к примеру, мы дальше Серпухова вряд ли уедем... Может, Витьку? Нет, характера мало. Тут нужен человек с железным характером... Витьку мы пустим по культурным связям, у него внешность к тому подходящая. Так что финансы придется взять в свои руки тебе, Костя.

— Мне?— без всякого энтузиазма переспросил Костька.

— Да, тебе. И будь расчетлив, как Плюшкин, и неумолим, как железный командор. Та же Маринка, да что там легкомысленная Маринка — я попрошу на мороженое, и то, прежде чем раскошелиться, сначала задай себе гамлетовский вопрос: давать или не давать...

— Ну, ладно, пусть я легкомысленная,— подала свой обиженный голос Маринка,— но я все-таки равноправный или неравноправный член нашей большой четверки?

— Да, совсем забыли про тебя, синичка, а ведь тебе тоже что-то надо.— Галка на секунду задумалась.— Вот что. Будешь маленькой хозяйкой нашего большого дома на колесах. И почетно, и попроще, чем министром финан-

сов... Ну, а теперь — ни пуха нам, ни пера на экзаменах, чтобы после них каждый из нас смог наконец возопить: «Кавказ подо мною...»

И вот мы едем на Кавказ, в неведомый нам город Поти.

Весело стучат колеса, проплывают за окном огни больших и малых городов. И нам тоже очень весело. После недавнего экзаменационного напряжения мы блаженствуем — поем, шутим, дурачимся...

И только одно мне кажется странным и до сих пор непонятным. И сборы в путешествие и наши споры при этом я помню до мельчайших деталей. Сама же поездка вспоминается лишь какими-то отдельными, не всегда связанными между собой картинами. Словно бы какой-то встречный свет меня время от времени слепил, как слепят ночью на шоссе встречные машины: на мгновение все осветит окрест, а потом — опять темнота.

...Вот я вижу, как мы стоим с Маринкой в тамбуре у открытого окна. Маринка высовывает голову в окно, тугой ветер обдает ей лицо, нещадно треплет волосы. Я говорю: не очень-то высовывайся — забьет голову паровозная гарь. «Ну и пусть,— отвечает Маринка,— зато я чувствую скорость...» И норовит высунуться чуть ли не по пояс. Я ее удерживаю, тяну назад, она сопротивляется, я обнимаю ее еще крепче, и Маринка сдается. А до меня тогда только доходит, что ведь я вольно там или невольно, но обнял ее, обнял, и мне это очень нравится, нравится слышать сквозь тонкую кофтенку ее плечи, ее маленькие лопатки. А потом я делаю еще одно, уже и совсем счастливое открытие: Маринке это тоже нравится. Я не сразу верю этому, боюсь ошибиться, но проходит минута, другая, а Маринка уже никуда не вырывается из моих объятий и по лицу ее медленно разливается тихая улыбка...

Поезд проходит мимо какого-то селения, почти у самого полотна мы видим домик, окно, освещенное настольной лампой, склоненную голову девушки. И у меня в памяти встает вчерашний вечер, такой же домик в Измайлове, такой же голубой свет настольной лампы, Валя, показывающая мне фотографии. И словно от удара электрического тока, мои руки, обнимающие Маринку, становятся вялыми и радость, еще секунду назад переполняв-

шая грудь, куда-то улетучивается: словно ее выдул вот этот тугой ветер. Я чувствую себя будто бы уличенным в чем-то нехорошем. И особенно нехорошо мне оттого, что за весь вечер, как мы сели в поезд, я ни разу не вспомнил о Вале, будто с появлением в вагоне Маринки она перестала для меня и существовать. И — как знать — не мелькни за окном этот домик, может, и сейчас бы не вспомнил...

...Мы идем по улицам Поти.

Все тут для нас ново и необычно. Солнце обрушивается на наши головы и плечи с такой щедростью, что, кажется, прожигает до самых костей. И хоть город тонет в зелени — в тени тоже жарко. Одним словом, субтропики! Но мы произносим это слово с особенным удовольствием, оно звучит для нас, как музыка. Раньше нам если и приходилось видеть пальмы, то видели мы их в обязательных кадках. Здесь они растут запросто на улицах, как какие-нибудь лопухи под Рязанью. Целые улицы засажены лавровишнями; здесь курчавится огромными шапками самшит, там возвышаются серебристо-зеленые, с полураздетыми стволами эвкалипты. Эвкалиптов особенно много; ими обсажены дороги, берега Риони, их видишь и в скверах и в парках: места здесь низменные, болотистые, а эвкалипт, как мощный насос, выкачивает влагу из земли и испаряет в воздух.

А если пройти эту улицу до конца — так же запросто увидишь море. То самое море, которое еще с детских лет так волнует воображение и которое до сих пор нам приходилось видеть опять же разве что в Третьяковской галерее или в кино...

И сам воздух здешних мест нам кажется пропитанным древними мифами. Ведь именно сюда, в далекую Колхиду, приплыли когда-то аргонавты из Эллады за сказочным золотым руном; здесь жила волшебница Медея...

Мы ходим по улицам Поти, и все нам очень нравится. Особенно шумно ведет себя Маринка; она обыкновенную березку в каком-то скверике увидела — так и ей возрадовалась, как чему-то редкому. Ну, правда, и то сказать: березка среди пальм и лавровых деревьев выглядела именно как редкость, как привет из милой нашему сердцу России.

Девчонки наши щеголяют в легких сарафанчиках, мы — в тенниске и шортах, а все равно обливаемся по́том. С первого же дня была объявлена борьба за тень: стараемся ходить только по теневым сторонам улиц. С непривычки нас мучит жажда. На каждом углу пьем газированную воду, налегаем на мороженое. Наш министр финансов провел социологическо-экономические, как он выразился, исследования и пришел к выводу, что есть мороженое в общем-то не так уже и разорительно: оно в известной мере притупляло наш великолепный аппетит. К тому же траты на мороженое не подрывали наш точно сбалансированный бюджет. Состоятельные Маринкины родители — у нее отец ученый, профессор — ассигновали своей единственной и потому особенно горячо любимой дочери кругленькую сумму на карманные расходы. Маринка поступила благородно: она до последнего рубля внесла эту сумму в общую кассу. И вот на эти-то сверхплановые, как их назвал тот же Костька, поступления мы и питались мороженым без особых ограничений.

...После раскаленных улиц в прохладном Доме культуры — благодать.

Я еще с детства немного рисую, и потому на мою долю выпал задник. У Галки набита рука на оформлении нашей институтской стенгазеты, и здесь она взялась за плакаты. Костька пишет многометровые лозунги на русском и абхазском языках — у него чертежный почерк. Одна Маринка ничего не умеет. Она развлекает нас песнями. Голос у нее несильный, но приятный, и песен она знает великое множество. Иногда ей берется подтягивать Галка, и получается у них и совсем здорово. Особенно протяжные русские песни, какая-нибудь «Пряха» или «Позарастали стежки-дорожки». А еще Маринка помогает мне разводить краску, подает то или другое: работаю-то я, стоя на стремянке, задник большой. И вот помалюю-помалюю, рука устанет — опущу кисть в банку и вниз гляну. А снизу на меня черные Маринкины глаза глядят. Да и во время работы мельком взглянешь вниз — опять на Маринку натыкаешься. И так вот встретимся взглядом, улыбнемся друг другу — и опять каждый за свое дело.

Как-то уже перед вечером то ли я неосторожно мах-

нул кистью, то ли Маринка слишком близко подсунулась, а только обрызнул я ее краской, и изрядно обрызнул. Особенно большое пятно растеклось по грудному вырезу сарафана. Маринка заторопилась стирать его, а я ей: погоди, надо уметь, а то еще больше только размажешь. Спрыгнул со стремянки, взял клок ваты и начал аккуратно стирать краску. Все хорошо, вот только с самого края выреза, оттого, что он туго натянулся на груди, краска не берется. «Подожди»,— сказала Маринка и быстро — я и не заметил как — расстегнула верхнюю пуговицу сарафана. Я отогнул кромку и увидел под ней, в глубине, маленькое родимое пятнышко... И тогда я не знал и сейчас не знаю, почему мне так захотелось поцеловать это пятнышко. И когда я поднял взгляд и по Маринкиным глазам понял, что она знает о моем желании, знает и тоже хочет, чтобы я ее поцеловал,— на какое-то время, может быть, всего на секунду, а может, и на целую минуту, я словно бы разом оглох и ослеп. Я перестал видеть вокруг себя, перестал слышать. Я только слышал ток крови в висках, слышал, как прерывисто дышит Маринка, и видел, как опускается и поднимается родимое пятнышко на ее груди... И когда Костька что-то крикнул мне, я не сразу понял, откуда и зачем здесь Костька, как он сюда попал.

...Жарко. Блещет, сверкает, горит белым огнем Черное море. На него так же больно глядеть, как и на солнце. И только когда войдешь в воду, видишь, что она синяя или голубая, а если совсем близко, у твоих плеч,— зеленоватая. И после немилосердно пекущего солнца — оно печет так, что кажется, кожа вот-вот возьмется корочкой,— после обжигающе горячего пляжного песка такая благодать покачиваться на зыбкой, штилевой, совсем и незаметной для глаза волне!

Там, на берегу, сейчас что-то такое мы говорили о счастье, о том, что за штука счастье и как это понимать. Да вот оно — счастье! Вот так опрокинуться на спину, вольно раскинуть руки и бездумно качаться на тихой, ласковой волне. Можно и думать. Можно думать, например, как прекрасна жизнь, как прекрасно, что ты молод и, значит, все еще впереди, и ты еще многое успеешь сделать, пережить, перечувствовать, узнать...

С берега доносятся голоса, вскрики, визг. Это, наверное, полезла в воду Маринка. Сначала, пока воды по колено или по пояс, она визжит от удовольствия, потом, на глубине, уже от страха — она почти совсем не умеет плавать.

Вот и об этом, о Маринке, тоже можно думать. И думать хоть целый час — не надоест...

Когда я подплываю к берегу, Маринка просит поучить ее плавать.

— Как не стыдно! Выхваляешься тут, выпендриваешься — поглядите, какой я Гордон Байрон, а рядом человек, как топор, на воде держится. Вот утону — ты отвечать будешь...

Я вытягиваю руки, Маринка ложится на них животом и начинает отчаянно колотить по воде ногами.

— Так плавают собаки, щенята,— говорю я ей.— А ты сама же говоришь, человек, учись и плавать по-человечески. Ногами не молоти, а руками делай вот так...

Я показываю, как надо грести, и чувствую, как к другой моей руке Маринка прикасается уже не животом, а грудью. Вот волна чуть подняла барахтающуюся Маринку — и грудь ушла из моей ладони, а вот опять, упруго, плавно влилась в нее...

Я стараюсь вылезти из воды хотя бы на минуту раньше Маринки. Мне нравится глядеть, как она выходит на берег. Тихая волнишка долго бежит по пятам, словно бы морю не хочется расставаться с ней, с загорелых плеч по длинным стройным ногам стекает вода, задержавшиеся капли сверкают на солнце, и оттого кажется, что блещет, сверкает все ее ладное, аккуратно вылепленное тело. И когда она идет по гладкой прибойной полосе, идет легко, едва касаясь ногами той полосы, я каждый раз вспоминаю сказанное Костькой: «На земле ее вроде и нет совсем — вся на воздухе». Хорошо сказал Костька. Очень точно сказал, бродяга!

А потом мы опять ложимся на горячий песок, и хотя лежим все четверо вместе, на близком расстоянии друг от друга, и ведем один общий разговор, у нас с Маринкой продолжается начатый еще в море, свой, потаенный. О нем никто ничего не знает и даже не догадывается, потому что разговор этот идет без слов, без взглядов; все лежат на спине с закрытыми глазами. Просто наши раскинутые руки соприкасаются, маленькая Маринкина ла-

дошка покоится в моей ладони. И по слабому пожатию, даже просто по шевелению пальцев мы прекрасно понимаем друг друга. Уж если телепаты утверждают о возможности передачи мыслей на расстояния в тыщи верст — чего проще передавать свои и читать чужие, соприкасаясь друг с другом!

Временами откуда-то из дальней дали перед моим мысленным взглядом встает Валя. Но образ ее почему-то расплывается, как бывают расплывчатыми лица на фотографиях с неправильным, ошибочным фокусом. Та дальняя даль, которая отделяет нас, словно бы мешает найти точный фокус моему мысленному зрению, и вижу я Валю не рядом, не перед собой, а там, где она и есть,— за горами, за долами. А может, оттого так происходит, что мои глаза, мой взгляд слепит то, что меня здесь повсечасно окружает,— и это резкое южное солнце, и сверкающее под его лучами море, и эта яркая по краскам южная природа?! А еще и всему здешнему под стать,— тоже яркая, повсечасно зримая или, как сию минуту вот, осязаемая, живая Маринка?!

...Завтра мы уезжаем из Поти. Уезжаем с грустью, с сожалением: за время, какое в нем прожили, мы уже успели полюбить этот гостеприимно приютивший нас тихий, милый городок. Целый вечер бродим по его улицам и скверам, прощаемся. И разговоры заходят все какие-то грустные. Даже устойчиво оптимистическая, как мы про нее говорим, Галка, и та ходит тихая, на себя непохожая.

Уже почти перед самой гостиницей Маринка предложила еще раз пройтись сквером, а Галке почему-то не захотелось, и мы разошлись.

На дорожках сквера было полутемно, свет луны и фонарей едва проникал сквозь густые заросли. Однако, надо думать, именно этот полумрак и нравился уединившимся парочкам — все до единой скамейки были заняты.

Мы прошагали сквер и вышли на широкую и в этот поздний час совершенно пустынную площадь. С одной стороны площадь замыкал большой, видный из окон нашей гостиницы театр. Мы его меж себя так и звали: Большой театр. Для такого городка он был, пожалуй, великоват, особенно если иметь в виду, что в нем не было труппы московского Большого театра, кажется, вообще не

было постоянной труппы. Однако это не мешало потийцам считать здание театра одной из тех достопримечательностей города, о которых говорят с гордостью.

Призрачный свет луны обливал восточную сторону театра, и так отчетливо резка была грань между светом и мраком, что и широкая каменная лестница и порталы с колоннами выглядели как бы утратившими свои объемы.

— Посидим на ступеньках,— предложила Маринка.

Каменные ступени еще хранили дневное тепло. И воздух был теплым, разве что теперь явственней, чем днем, различались запахи цветов, которые наносило из сквера.

— Бог ты мой, красота-то какая, тишина-то какая!— словно боясь спугнуть эту тишину, прошептала Маринка.— Так хорошо, что и говорить ни о чем не хочется. Почитай стихи... Что-нибудь... ну, что-нибудь соответствующее.

Я люблю стихи. И, говорят, неплохо читаю. Костька даже полагает, что у меня получается, «как у мастера художественного слова, если не хлеще». Но не в этом дело. Дело в том, что когда мы присели на залитые лунным светом каменные ступени, у меня сами собой всплыли в памяти строчки, которые — как знать?— может, и хотела сейчас услышать Маринка?

Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя...

— Эти?— спросил я, дочитав стихотворение до конца.

— Да!— так же тихо ответила Маринка и еще крепче прижалась к моему плечу.

— Телепатия?

— Телепатия.

Когда я читал и эти, и другие стихи из «Персидских мотивов» в Москве — было одно. От них веяло сказочностью, заморской экзотикой, почти фантастикой. А сейчас — вот она, южная ночь, вот оно, золото холодное луны и запах олеандра и левкоя. Потому и воспринимались стихи не как что-то и кем-то написанное, а как естественное, самостийное выражение этой ночи, этих густых дурманящих запахов и призрачного лунного света. Не поэт и не я — сама южная звездная ночь доверительно говорила нам о своей необыкновенной красоте.

Я читал одно стихотворение за другим. Дошел до любимого — «Шаганэ».

Не тревожь только память во мне
Про волнистую рожь при луне...

Я не знаю другого столь же музыкального стихотворения, как это. Даже не представляю, что кто-то может «положить» его на музыку. Музыка уже заложена в нем самом поэтом, и всякая другая может только испортить.

Но вот я дошел до строк:

Там на севере девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне... —

дошел и словно бы споткнулся.

Нет, она совсем не похожа. Но она, наверное, думает обо мне. Может, думает именно сейчас, в эту самую минуту — если верить в телепатию, то ей ведь не страшны расстояния... Она думает, а я — нет. Я вспомнил о ней лишь случайно, к слову. А и вспомнил — сердце осталось спокойным. Разве что грустно стало...

Маринка словно бы что-то почувствовала, что-то поняла и, не дождавшись меня, сама дочитала последнюю строчку:

Шаганэ ты моя, Шаганэ,—

и обхватила горячими руками меня за шею.

Да, тогда, в тот поздний час, она была моей Шаганэ.

Сколько уже лет прошло, а я и по сей день помню тот лунный вечер так ясно, будто это было вчера. Такое, наверное, не забывается всю жизнь. Не забывается независимо от того, продолжаешь ли ты любить человека, с которым был, или уже остыл к нему — все равно такое остается в сердце неизменным. Оно не подвластно ни времени, ни тем переменам, которые могут произойти в твоей жизни, потому что чем дольше ты живешь, тем дороже с каждым годом тебе становится все то светлое, что было у тебя в юности, в молодости. К тому же этого светлого бывает у каждого из нас, в сущности, не так уж и много, а чем дальше — тем меньше. И как же им не дорожить, как же не сберегать в своей пока еще не ослабевшей памяти...

Тбилисо, как зовут свой стольный град грузины, встретил нас — увы!— не так гостеприимно, как Поти.

Нам в этом городе сразу же не повезло. Приехали мы под вечер, часов в пять. Пока сдали в камеру хранения чемоданы да пока добрались с вокзала до центра города, все учреждения, которые могли нам как-то помочь с гостиницей, уже закрылись. Ну, а так просто, без звонков из вышестоящих организаций, без броневых талонов явиться в гостиницу и чтобы тебе дали номер или хотя бы койку, да еще на юге в летнее время — где же это слыхано и где это видано?! «Это из области фантастики»,— как справедливо заметил Костя.

— А может, все же попытаться?— еще не теряли надежды Галя с Маринкой.

— Попытаться, конечно, можно, но с нами попросту не станут разговаривать,— продолжал стоять на своем Костя.

Именно так и получилось в первой же гостинице, куда мы сунулись. Толстенная, в ягнячьих завитушках администраторша не снизошла до разговора с нами, а просто показала на дощечку,— нет, не на дощечку, а на небольшую мраморную плиту, которая красовалась рядом с окошечком. На плите было четко высечено: «Свободных мест нет». Причем последнее слово написано раза в два крупнее первых.

Костя постучал ногтем по мрамору:

— А ведь кто-то, какой-то горкомхозовский Микеланджело, трудился, потел и небось немалые деньги за свой труд получил. Фундаментально! Колоссально!

— Гражданин, не хулиганьте,— тогда только удостоила нас своим вниманием каракулевая тетя.

На улице Галя с Маринкой напустились на меня:

— Придумай что-нибудь! Ты же у нас по культурным связям.

Я предложил сходить в ЦК комсомола: авось-небось.

— Идея! — одобрил Костя.

— Последние два гроша надежды!

Однако поход в ЦК тоже оказался пустым номером. Дежурный сказал нам, что как раз заседает сессия Верховного Совета республики: проходит всесоюзный съезд не то стоматологов, не то палеонтологов, а сверх того завтра-послезавтра ожидается приезд футбольной команды.

— Так ведь только завтра или послезавтра!— в один голос возопили Галя с Маринкой.— А нам негде ночевать сегодня.

Дежурный — милый, симпатичный парень — этак снисходительно-добродушно, как малым детям, улыбнулся в ответ:

— Если бы какие-то там палэонтологи — это да, это бы можно. А ведь то — футболысты! Вы панымаэте, что такое футбол?!

Мы сказали, что в общем-то понимаем: два десятка парней выходят на поле и гоняют по нему мяч. А еще двое стоят в воротах.

— И все?

— А что еще?

— Нет, вы не панымаэте, что такое футбол.

Все больше входя в роль футбольного апостола, наш собеседник сделал многозначительную паузу.

— Два десятка парней! Ха! Но футбол — разве только футболысты?!— парень опять снисходительно улыбнулся нашей непросвещенности.— Футбол — это болэльщики. А сколько их? Сто? Тысяча? Из Москвы, Киева, Ленинграда, Сочи... Тэпер панымаэте?!

Мы сказали, что теперь понимаем. Если бы не эта орава болельщиков, у нас еще оставался какой-то шанс получить крышу над головой. Теперь нам надеяться было уже не на что, разве что на провидение, в которое, к сожалению, мы не очень-то верим.

— Разбойник. Грабитель! — честили ни в чем не повинного дежурного девчонки, когда мы снова очутились на улице.— Отнял последние гроши!

— Вы несправедливы к этому обаятельному вьюноше,— возразил Костя.— Он заслуживает не хулы, а похвалы. Да, да! То мы, как слепые кутята, тыкались носом в мраморные плиты гостиничных вестибюлей. Он же своей исчерпывающей информацией открыл нам глаза. Вы только подумайте, какую это дает экономию духовных и физических сил!

— Куда ты клонишь, Констянтин?

— А клоню я вот в эту харчевню,— Костя кивнул на полуподвальное помещеньице, из открытых окон которого пахло чем-то пряным и сытным.— Чтобы духовные силы поддерживались на высоком уровне, нам следует подкрепить физические.

— Ты — гений, Костя,— расщедрилась на похвалу Галка.

Расщедрилась она неспроста: мы только сейчас вспомнили, что, с тех пор как позавтракали в поезде, ничего за день не ели.

— Ты просто гений,— потягивая носом и делая глотательное движение, повторила Галка.

— К сожалению, до сих пор не признанный,— скромно потупился Костя,— и потому мне особенно лестно слышать это из уст самого руководителя нашей большой четверки.

В заведении стоял дым коромыслом, пахло жареным, пареным, перченым, пахло уксусом, горчицей, корицей...— да разве можно перечислить весь тот сложный букет запахов, какими благоухает шашлычная! Где-то там в ее глубине, в ее чадном чреве громко шипело, шкворчало, трещало. И еще ничего не попробовав на язык, только по одним запахам, Маринка уже определила:

— Вкусно-о!

Мы, северяне, привыкли сначала что-то крепкое, горячительное выпить, а потом заедать. На Кавказе все наоборот. Когда съешь какое-нибудь харчо или шашлык покарски, у тебя начинает все гореть внутри, словно ты вместе с мясом, поджаренным на раскаленных углях, проглотил и эти угли. И тут надо заливать этот внутренний огонь, эти угли, заливать обильно и долго. Мы сперва заливали «Цинандали» и «Кахетинским», потом пивом, а еще позже, уже фланируя по улицам вечернего Тбилиси, квасом и газированной водой. Согласно статистическим исследованиям, которые вел Костя, каждый из нас в тот вечер выпил в среднем около полуведра различных жидкостей.

Настроение у нас после сытного обеда резко поднялось. Теперь нам и город словно бы с другой, более светлой стороны глянулся, и наше бедственное положение казалось не таким уж безысходным. «Авось-небось,— говорили мы после очередной кружки пива.— Мир не без добрых людей. Да и где мы — не на Северном же полюсе, не пропадем...» И, слоняясь по улицам города, мы без умолку болтали, смеялись, хохмили. Хоть жизнь и не очень-то улыбалась нам, но мы («Не будем мстительными и мелочными!» — сказала Маринка) — мы ей улыбались, улыбались широко и беззаботно.

Но веселые разговоры наши мало-помалу начали иссякать, ноги от долгой ходьбы словно бы налились свинцом, и хотя по инерции мы еще продолжали шутить и иронизировать над своим бездомным положением, над шутками этими уже никто не смеялся. Шутки шутками, но пора было и всерьез подумать, куда приклонить голову на ночь.

Мы отъехали на изрядное расстояние от центра и, сойдя с трамвая, стали проситься на ночлег у местных жителей.

Но ведь город — не деревня. В деревне постучись в любой дом, и тебя без лишних расспросов пустят да еще и ужином накормят.

Здесь нас заинтересованно выспрашивали: кто мы, откуда, зачем приехали, а удовлетворив свое любопытство, столь же вежливо, сколь и решительно отказывали. «Студэнты? А-а, студэнты... Нэт, нэгде... Тэрраса? Тэрраса есть, но на нэй, панымаэте, нэудобно...» Мы пытались убедить несговорчивых хозяев, что удобно, и даже очень удобно, что готовы ночевать хоть на крыше, но так никого и не убедили. Особенно обидным нам казалось то, что просились мы на ночлег не за так, не за здорово живешь. В Поти мы заработали приличную сумму и были теперь не просто студентами, а богатыми студентами, черт возьми! Знают ли они, что мы ехали сюда из Поти не в какомто там плацкартном, а самом настоящем купейном вагоне?!

К остановке у перекрестка подошел трамвай. Мы спросили, куда он направляется. Какой-то белобрысый парень в рабочей спецовке сказал, что трамвай идет за город, на берег Куры.

— Но это же как раз то, что нам и нужно!— воскликнула никогда не унывающая Маринка.— Ночуем на каком-нибудь пляже — что может быть прекраснее?!

— Устами этого легкомысленного ребенка глаголет истина!— поддержал Маринку Костя, и мы дружно полезли в задний вагон.

Парень в спецовке сел вместе с нами. Поглядывая на нас и прислушиваясь к нашим разговорам, он, похоже, все порывался что-то нам сказать, да никак не мог осмелиться. Но вот на крутом повороте вагон так качнуло, что Маринка очутилась в объятиях этого парня, все рассмеялись, и он после этого расхрабрился:

— Вы, ребята, я так понял... может, конечно, это вы в шутку, а может, и всерьез... ночевать вам негде?

— Какие там шутки!— хмыкнул Костя.

— А что, у вас есть место?— сразу же перешла к делу Галка.

— Да нет, у нас тесновато,— сокрушенно ответил парень и опять смутился, будто он больше всего и был виноват в том, что нам негде ночевать.

Вспыхнувший было огонек надежды опять погас, хотя такая участливость всех нас тронула.

— А может, вот что...— снова заговорил парень.— Я в подсобном хозяйстве работаю — это следующая остановка — сейчас мы сено заготавливаем, и есть у нас один незавершенный стог...

— Постой, как тебя зовут?— неожиданно перейдя на «ты», перебила парня Маринка.

— Иван,— растерялся тот.— Иван Малыхин.

— Ваня, милый, дай я тебя поцелую! — Маринка и в самом деле чмокнула вконец смутившегося парня.— Да я всю свою сознательную жизнь мечтала хоть раз заночевать на стогу сена.

— Вы слышите, люди: даже самые дерзновенные мечты в наш космический век сбываются!— подхватил Костя.— Урр-ра!

С криком «ура» мы и выпрыгнули из трамвая. А через какие-нибудь пять минут уже были на территории подсобного хозяйства.

Иван разыскал деревянную лестницу, и по ней мы взобрались на стог.

— Сколько раз я слышала от других и произносила сама слово «блаженство», однако смысл его так и оставался для меня отвлеченной абстракцией,— устраиваясь на пахучем сене, разглагольствовала Галка.— Теперь я знаю, что это за штука — блаженство!

После длиннющего и жаркого июльского дня, после всех его треволнений и воистину блаженством было вытянуться на свежем, может, только вчера скошенном сене, вдыхать его сладкий аромат и глядеть в иссиня-черное опрокинувшееся над тобой небо.

Сухие травинки покалывали и щекотали лицо и шею, и пришлось подложить под головы наши с Костькой чесучовые куртки: Костька поделился своей курткой с Галей, а я с Маринкой.

Маринке все хотелось излить переполнявший ее восторг, но все устали, и никто не хотел слушать.

— Восторгайся про себя!— посоветовал Костька.

— Сухари вы несчастные!— возмутилась Маринка.— В шашлычной так вы с Витькой чуть ли не стихами изъяснялись. Низкие чревоугодники! Да такой ночи, может, ни у кого из нас во всей жизни больше не будет!..

Чтобы как-то утешить ее, я сказал тихонько, что насчет ночи она, пожалуй, права и за эти мудрые слова я ее на пасху поцелую.

Огорченный и возмущенный человек на глазах превратился опять в счастливого: так мгновенно переходить от одного состояния к другому могла только Маринка.

— До пасхи... Э-э, до пасхи очень до-олго,— тоже шепотом протянула Маринка,— ты поцелуй сейчас... Нет, так сделаем: ты меня на пасху, а я тебя сейчас...

И не успел я опомниться, как почувствовал мягкие сухие губы Маринки на своих губах, почувствовал, как она прильнула ко мне своим гибким горячим телом. Это было так неожиданно, что впервые за всю нашу поездку я не знал, как себя вести, как поступить. А может, еще и потому чувствовал себя растерянно, что сердцем понимал, что вот сейчас, в эту минуту решается что-то очень для меня важное...

Мне нравилась, мне очень нравилась Маринка. И чем дальше, тем больше. Но у меня почему-то — почему, я и тогда не знал и по сей день не знаю,— у меня не было уверенности, что она именно та, единственная на всей земле, и никакой другой нет и быть не может. Вот этой уверенности у меня не было.

Я совладал с собой и тихонько, ласково снял Маринкины руки со своих плеч...

Чудно́, непонятно устроен человек! Ведь о том, что сейчас произошло, я, можно сказать, мечтал, мечтал еще с того самого дня, когда в Доме культуры забрызгал краской Маринкин сарафан. А может, даже еще с того вечера, когда мы стояли с ней у вагонного окна. И вот оно свершилось, Маринка сама поцеловала меня. Чего же тебе еще надо, человече?! Зачем ты снимаешь со своих плеч ее руки?

Кругом лежала прекрасная южная ночь. На темном пологе небес сияли белые частые звезды. Казалось, небо

здесь ниже, чем у нас в России, потому и звезды крупнее и ярче российских. Вон погляди на Большую Медведицу — висит ее ковш над самым горизонтом, и будь там такой же стог сена — рукой бы можно было ухватиться за ручку ковша... По восточному поверью, из этого серебряного ковша сыплется счастье. Может, какая-то частица его и на наш стог просыплется...

Где-то совсем недалеко шумела Кура. А вот начали свою перекличку петухи.

Маринка спала на моем плече. На сене-то куда бы мягче. Но, видно, ей мое плечо казалось мягче сена. Потому, наверное, что она во мне видела того, единственного, после встречи с которым подводится черта. Для Маринки все было уже решено.

Я такого решения пока еще не принял. Я пока только знал одно: я знал, что такой тревожной и такой счастливой ночи у меня еще не было в жизни и, может, никогда больше не будет...

6

Я обещал Вале сразу же, по возвращении в Москву, прийти к ней...

...Однако стоило мне сейчас, в своих воспоминаниях увидеть ее в Москве, как мысли сразу перескочили от тогдашней Вали к нынешней, той, что находилась здесь, совсем рядом.

Как это так получается, что чужой, незнакомый тебе человек становится близким, родным, а потом проходит какое-то время, и опять — он тебе чужой и ты ему — тоже. А ведь я с тех пор, если и изменился, то очень мало, Валя — тоже, разве стали старше на четыре года. Как же это получается? Как это получилось?

Да, чужие... Чужие?! Тогда почему же присутствие этого чужого так волнует, так тревожит тебя? Почему тебе не спится? Мало того, зачем-то хочется, чтобы и тот, «чужой», тоже не спал, а думал о том же, о чем ты сейчас думаешь.

Так, значит, ничего не изменилось, а осталось, как и было? Нет, изменилось, да еще как изменилось! Но тогда что же, что произошло?

Если что и произошло, так, наверное, не нынче и не вчера, а еще тогда, в те времена, о которых ты только что

вспоминал. Спать все равно не спится, давай припомним и то, что было по возвращении с Кавказа.

Вот только что-то вспоминая, мы глядим на прошлое не теми, тогдашними глазами, а нынешними. Бывает, вспомнишь какую-нибудь картинку из детства и этак мудро улыбнешься: ах, какой глупый, какой несмышленый я тогда был... Но при чем тут твоя нынешняя мудрость, зачем тут она? Разве ты не согласился бы променять ее хоть на один день вернувшегося детства, на то счастливое святое неведение, которое, может, и сообщает главную прелесть этой утренней поре нашей жизни?! С годами узнавая окружающий нас мир, мы — увы! — узнаем не только хорошее... Кто это сказал, что всю свою сознательную жизнь мы то и делаем, что выпалываем цветы своей юности?..

Так что давай попробуем взглянуть в ту дальнюю даль, на то, что произошло четыре года назад, не нынешним умудренным жизнью взглядом, а тем самым, каким глядел ты и на себя, и на Валю, и на все вокруг тогда. Давай забудем и твой приезд сюда, и все эти четыре года. Их нет, этих четырех лет, мы с Валей их еще не прожили. Нам только еще предстоит их прожить.

Я обещал Вале сразу же по возвращении в Москву прийти к ней.

Но день прошел, второй на исходе, а я все никак не соберусь с духом. Будь телефон — как все было бы хорошо: позвонил, сослался бы на какие-нибудь неотложные дела, сказал, что встретимся не сейчас, а через какое-то время — да мало ли что можно наговорить, к тому же еще и заглазно! А тут — хочешь не хочешь — иди.

Шел я на эту встречу, как на похороны. Только что черной повязки на рукаве не было. И всю дорогу назойливо лезла в голову строчка из давнишней песни: «То была не встреча, а прощанье...» Да, шел я прощаться с Валей. Но ведь это я знал, что иду прощаться, а она-то пока еще ничего не знала!

Увидев меня, Валя так вся и вскинулась, так открыто засветилась радостью, что в ту минуту я почувствовал себя жалким предателем, оттого что не могу ответить ей тем же. Я стоял и лишь глупо улыбался. Ах, какая это была тяжкая, жестокая минута!

И вот мы сидим в той же маленькой комнате. Опять сидим одни, матери, как и в тот раз, по счастливой случайности дома нет. Впрочем, чего ж тут счастливого — было бы лучше, если бы мать была дома, а то о чем говорить наедине, как себя вести?

— Вспоминал? — тихо, напряженно спрашивает Валя.

Мне легко ответить: вспоминал. И это будет правдой. Но ведь вспоминать можно по-разному. Вспоминая Валю, я всегда как бы мысленно ставил ее рядом с Маринкой, и от этого сравнения она, если и не всегда, то почти всегда проигрывала. Я и вспоминал ее словно бы для того только, чтобы лишний раз себя убедить в Маринкином над ней превосходстве...

— А мне, другой раз, так хотелось там, рядом с тобой очутиться или хотя бы одним глазком тебя на том Кавказе увидеть!.. Во сне, правда, дважды видела, но не на Кавказе, а один раз в общежитии, а один раз на каком-то незнакомом озере. В общежитии ты сердитый был, и я очень расстроилась, боялась, что приедешь и не придешь ко мне...

Что мне на это сказать? Как продолжать такой разговор? Это, как если бы двое начали читать вместе книгу, дочитали до середины, а потом на время разъехались и один за это время дочитал книгу до конца. Встретились снова, второй начинает все с той же середины, а первому не интересно — он-то уже знает все наперед...

И вдруг, как-то вроде ни с того ни с сего подумалось: а может, зря я поторопился дочитать книгу в Валино отсутствие?

Поначалу, еще когда только пришел, я все ждал: вот Валя почувствует, поймет, что я уже не тот, с каким она простилась месяц назад, что со мной там, на Кавказе, что-то произошло. Обязательно почувствует, не может не почувствовать! Но проходили полчаса, час, а она глядела на меня все теми же счастливыми глазами, все так же по-детски открыто радовалась. Разве что набежит мгновенная тень на лицо или мелькнет в глазах тревожный вопрос, но мало ли от чего и почему это может быть. И меня тяготило, даже, пожалуй, немного раздражало это Валино непонимание, ее нечувствительность.

И только потом я сообразил, что это не так. Валя давно, может, сразу же что-то поняла, что-то почувствовала, но не хотела в это поверить. Она не могла пове-

рить! Точно так же, как до самой последней минуты не верит в очевидную несправедливость, в явное зло малый ребенок оттого, что рождается он с верой в добро, в торжество добра... Да и соскучилась, наверное, Валя, и радость встречи для нее была так велика, что заслоняла, заглушала все сомнения и тревоги.

Эта наивная Валина вера в то, что я не могу ей сделать плохо, тронула меня до слез. Так может верить, наверное, только человек, который любит и ничего не требует взамен. Он надеется лишь на то, что над его чувством не посмеются, что смеяться над ним грешно.

Со мной творилось что-то непонятное. Мне не хотелось в этом признаться, но Валя опять начинала мне нравиться. И, может быть, даже больше, чем прежде. Я снова любил ее, любил за то, что она меня вот так любила. Я с трудом удержался, чтобы не расплакаться от нахлынувших на меня чувств, в которых горечь раскаяния перемешалась с радостью только что сделанного открытия.

«А Маринка? Ты разве забыл о Маринке?» Нет, конечно. Маринка и в эту минуту виделась мне, может быть, самой красивой из всех девушек, каких я встречал. И я знал, что она тоже любит меня. Но я знал и другое: вот так Маринка никогда меня любить не будет. Так любить она попросту не сможет. В ее любви ко мне есть еще и любовь к себе, к своему чувству, что-то близкое к любованию этим чувством. И ее даже винить за это нельзя, как нельзя винить человека за слишком высокий или слишком низкий рост...

«Ну и какой же ты делаешь выбор?— спрашивал я себя.— Какое твое окончательное решение?» Но, так же как и тогда, на стогу, ответа на этот вопрос не было. Уже вроде бы и приняв решение, я все еще оставался в нерешительности.

Мне думалось, что решение придет само собой. Не надо торопиться. Да в конце концов и некуда было торопиться.

Весь следующий день я провалялся на койке в опустевшем на лето общежитии. Не хотелось никуда идти, не хотелось ничего делать. Обещал позвонить Маринке — нет, не буду звонить. Надо бы сходить в парикмахерскую постричься — нет, не пойду. Может, уехать домой, в свой Арзамас? Это бы, пожалуй, самое правильное. Но в пись-

мах уговорились с братом, что он приедет в Москву на несколько дней, а уж потом вместе поедем домой. Так что надо было его дождаться.

И еще день прошел в томительном безделье.

Я понимал, что в моей жизни происходит что-то очень важное. Может быть, такое важное, чего еще не было и не будет после. Мне предстояло выбрать спутника не на месячное путешествие, на всю жизнь. А вместе с тем я еще выбирал и последующий образ жизни: ведь после этого я, наверное, уже не останусь в полном смысле самим собой, потому что буду уже не сам по себе, а с кем-то и так же, как тот человек будет зависим от меня, так и я от него. Мы в поездке на Кавказ и то зависели друг от друга: если бы каждый из нас поступал, как только ему хочется, наша большая четверка, пожалуй, вернулась бы в Москву порознь и в разное время. Кому меньше, кому больше, а приходилось в чем-то поступаться. Но месяц — это только месяц. И даже если бы кто-то, показав свой характер, и откололся от остальных — тоже не великая беда. Здесь откалываться нельзя... Больше всего, пожалуй, меня страшила вот эта невозможность что-то потом переделать или исправить. Да что меня — кого это не страшит! Это мы только думаем, что уж кого-кого, а себя-то знаем, и знаем, чего хотим. Эх, если бы знали!..

Вечером опять захотелось позвонить Маринке: обещал, нехорошо. Нет, не буду звонить!

А наутро Маринка заявилась в общежитие сама.

— Десять часов, а ты еще в постели?— зашумела она прямо от двери.— Это как называется? Это что еще за новоявленный Илюша Обломов? Опух, оброс, опустился! Стоило на сколько-то дней лишиться женского общества, и вот — пожалуйста. Стыд и срам! Вставай и немедленно идем на выставку — вот билеты!

Была Маринка в светлом в тонкую полоску платье с большим бантом на груди. А еще один маленький бант был как-то хитро пристроен в волосах на затылке. Она словно бы хотела сказать своим нарядным видом: это там, в дороге, ты меня привык видеть замарашкой в сарафане да шортах, а мы — вот мы какие, погляди, полюбуйся! И вся она была легкая, праздничная. Даже в нашей общежитейской комнате, кажется, стало светлее с ее появлением.

Звонить Маринке я не звонил, выдерживал характер,

но где-то там, в глубине души, таилась надежда, что она пождет-пождет, да и сама заявится. И на такой случай план у меня был разработан еще во время «великого лежания». План хитроумный: Маринка приходит, а я делаю вид, что меня это не касается. «На выставку? На какую еще такую выставку? Что-то не хочется. Да, признаться, и времени нет. Да, очень туго со временем, всякие дела, то, се...» Вот примерно такой железный разговор. Маринка, конечно, в бутылку: ах, так!.. И чем больше она на меня рассердится, тем лучше — мне потом легче будет с собой справиться...

И когда она сказала про выставку, я, согласно плану, спросил:

— На какую еще выставку?

— Как на какую? Да ты что, забыл? На выставку Родена.— С последними словами Маринка подошла совсем близко, наклонилась надо мной так, что концы банта щекотнули мое лицо.— Да ты, часом, не заболел ли?

И с такой тревогой, так участливо спросила, что весь мой план полетел кувырком. Я забыл, что надо говорить дальше, вскочил с койки, и через десять минут мы уже выходили из общежития.

В дверях нам встретились двое моих однокурсников, тоже как-то очутившихся в Москве. С почтительным видом ребята пропустили Маринку, а меня придержали. Я думал, что хотят сообщить какую-то новость.

— Ну и кадр!— разводя руками и закатывая глаза к небу, восхищенно прошептал один.— У меня нет слов, старик!

— Сильвана Пампанини!— в тон ему так же шепотом пропел другой.— Везет же людям!

Я обругал ребят пошляками и побежал догонять Маринку.

И опять как не сказать: непонятно устроен человек! Вот обозвал ребят, а слышать их восхищенные возгласы мне было приятно, и еще как приятно. И, догоняя Маринку, я зачем-то с горделивым удовольствием оглядел ее, будто без этих дурацких похвал сам не знал, насколько она хороша.

И на выставке многие оглядывались на нас, и каждый такой взгляд — мне и себе самому признаваться в этом не хотелось — сладко отзывался в сердце.

Интересно было на выставке с Маринкой!

Я — тугодум, мне надо долго к чему-то приглядываться, долго размышлять, прежде чем у меня составится более или менее определенное мнение. Маринка все схватывала на лету.

— Посмотри на Бурделя,— тихонько толкала она меня в плечо.— Казалось бы, ученик Родена. И его фигуры в общем-то создают ощущение мощи: вон тот же «Геракл-стрелок». Но нарочитая грубость, этакая рубенсовщина сильно портит впечатление... Майоль мне больше нравится. Он по-хорошему наивен, мягок, пластичен. Но уж очень заземлена его Афродита. Кто поверит, что она родилась из пены морской?! Это скорее крестьянка или пастушка. А вот Роден — это да! Тут не только в каждой фигуре — в каждой линии чувствуется рука великого мастера. Ты обратил внимание на два варианта его «Вечного поцелуя»?

Да, на выставке были представлены две композиции под этим названием. На первой прекрасный юноша обнимал столь же прекрасную девушку. Вторая изображала ту же целующуюся пару, но юноша лишь одной рукой обнимал девушку, а другую держал на отлете, в воздухе. Мне нравились оба решения, и я затруднялся какому-то отдать предпочтение.

— Ну что ты! — воскликнула Маринка.— Разве ты не видишь, как этой, словно бы взлетевшей от восторга рукой он сообщил совсем другое звучание композиции?! Люди целуются столь же давно, сколько живет человечество. Но Роден изваял не просто плотский поцелуй, не просто плотское общение двоих — он возвысил все это до поэзии. И возвышает, заставляет по-новому звучать, казалось бы, вечную тему,— ну, неужто ты не чувствуешь? — вот эта, словно бы в само небо взлетевшая, парящая рука.

Слушая Маринку, я еще раз и теперь уже как бы заново всматривался в скульптуры. А ведь верно! Есть разница. Именно та, о которой она говорит...

— Роден тем и велик, что темой для своих работ брал что-нибудь самое обыкновенное — ну, скажем, над чем-то задумавшегося человека. Но под резцом гения этот человек становился уже не просто задумавшимся человеком, а мыслителем. Мыслитель!.. Нелегко передать в камне человеческие эмоции: печаль, радость, гнев или отчаяние. Не просто изобразить героя или изваять по-

эта. Но еще труднее передать в мертвом камне живую человеческую мысль. Это умел делать, кроме Родена, разве что Микеланджело...

И опять можно было только позавидовать Маринке. Я и сам что-то похожее чувствовал, понимал, но вот так быстро схватить и ясно выразить самое главное — это мне было не дано.

Какой-то очкарик заспорил с Маринкой.

— Зачем уж так-то? А Эрьзя, а Коненков?

Она смело приняла вызов.

— Это совсем другое дело. Эрьзя шел от пантеизма — вспомните-ка хотя бы такие его композиции из корней дерева, как «Ужас». И ранний Коненков с его «Мужичком-лесовичком» или «Стрибогом» и по духу и даже по манере исполнения стоит где-то рядом. Но я же говорю совсем о другом...

Очкарик пытался что-то возражать, но Маринка приводила все новые доказательства, называла новые имена художников, и парень, должно быть, понял, что имеет дело не просто с милой девочкой, а со знающим и понимающим искусство человеком, спорить с которым не так-то просто.

— Сколько собираюсь и все никак не соберусь в Мордовии, на родине Эрьзи побывать,— сказал в заключение разговора парень. — В Саранске, говорят, целый музей с его работами.

— А я их здесь, в Москве, видела,— и тут оказалась на высоте Маринка.— Как раз, когда он их из Аргентины привез...

Вслед за парнем я тоже подосадовал, что не видел скульптур Эрьзи. Тем более что Саранск от моего Арзамаса — рукой подать. «Надо нынешним же летом съездить!..»

А еще хоть и лестно было ходить по выставочным залам с такой образованной девушкой, однако же когда я слышал от нее то, чего сам не знал,— меня это задевало: подумаешь, пигалица, чем я хуже?!

И на другой день я пошел в библиотеку и просидел в ней до вечера над альбомами и монографиями о великих художниках, чтобы в случае чего уж не ударить в грязь лицом перед девчонкой. И если опять зайдет вот такой разговор, не отмалчиваться, а показать, что и мы не лыком шиты...

А еще мне пришла в голову странная, нелепая идея: сходить на ту же выставку с Валей. Ну, не обязательно на выставку, можно сходить, скажем, в Третьяковку, тем более что и сам там давненько не был. А то все видимся с Валей в какой-то бытовой и однообразной обстановке. Побываем-ка с ней на людях!

И вот мы с Валей бродим по прохладным залам Третьяковки.

Валя сразу же призналась, что после школы была здесь только раз, года полтора, если не два назад: и недосуг и не с кем: одной не хочется, подруги не идут, а знакомых ребят у нее мало, да и те все больше физики, а не лирики. Так что теперь в роли экскурсовода пришлось выступать уже мне.

Мимо одних полотен Валя проходила равнодушно, перед другими стояла подолгу. Редко что-нибудь скажет, вроде: «Гляди-ка, снег за полозьями, будто вот только-только перед нашим приходом эта боярыня в кандалах проехала...» Или спросит: «Витя, а как понимать: что есть истина? Кто это спрашивает: Пилат у Христа?..»

Я, как мог, объяснял. Чувствовал я себя куда увереннейг, чем с Маринкой на выставке, и чем дальше, тем больше входил во вкус, и уже не дожидаясь вопросов Вали, сам начинал рассказывать ей то или другое. Валя внимательно слушала. Словом, сам себе я очень нравился. И все было хорошо и интересно. И все же чего-то вроде бы не хватало. Чего — я и сам не знал, но чего-то недоставало.

Больше всего тронули Валю пейзажи Шишкина, Левитана, Поленова.

— Живешь в городе, да еще таком большом, как Москва, и как-то забываешь, что где-то есть вот такие корабельные рощи, золотые плесы, хлебные поля... И что интересно: когда я слышу слово «Россия» — почему-то не города встают у меня перед глазами, а вот эти лесные дали, эти бескрайние поля под высоким небом, деревеньки с колокольнями...

Может, вот этого недоставало? Не знаю.

После Третьяковки мы долго бродили с Валей по Замоскворечью. Сидели в каком-то кафе, ели мороженое, потом опять гуляли. В уютном полутемном скверике я рассказывал Вале про свой Арзамас, читал стихи.

Хороший был день! До сих пор его помню.

А то ли на другой, то ли на третий день после нашего похода в Третьяковку опять пришла в общежитие Маринка. И не просто пришла, а опять с прогрессивной, как она заявила, идеей: ехать в Коломенское, куда свезли некоторые памятники деревянной архитектуры.

— Уж кому-кому, а тебе и сам бог велел такими вещами интересоваться, темнота.

Поехали. И я сделал еще одно открытие. Оказалось, что Маринка и в архитектуре смыслит не меньше меня, хотя уж тут бы мне, как говорится, и карты в руки.

От церкви Вознесения спустились к Москве-реке и долго купались, вспоминая Поти, Черное море и всю нашу поездку.

Потом я снова виделся с Валей.

Так и пошло: то с одной встречусь, то с другой. А чтобы совесть не очень-то донимала всякими каверзными вопросами, придумал такое тому объяснение. Все, мол, познается в сравнении. Но чтобы что-то с чем-то сравнить, надо и то и другое хорошо узнать. Вот и узнавал.

Правда, я думал, что чем больше буду узнавать Валю и Маринку, тем легче мне будет сделать выбор. Однако получалось все наоборот. Узел — увы! — не развязывался, а лишь туже затягивался.

Я все думал, все надеялся, что узнаю поближе Валю, и она постепенно переборет, перевесит в моем сердце Маринку. Уж если на то пошло, мне даже хотелось этого. И пока я с Валей, даже один, пока не вижу Маринки — все вроде бы к тому и идет. Но вот застучали ее быстрые каблучки в коридоре, вот появилась она на пороге комнаты, как-то по-особому, по-своему крутнулась — и опять все, что надо бы помнить, забылось, опять все вернулось на круги своя.

Какой-то особый талант, что ли, был у Маринки — носить свое стройное тело. Это не один Костька говорил: на земле ее совсем нет — вся на воздухе. Казалось, что только каблучками она и соприкасается с грешной землей и стоит ей захотеть — в любую минуту может оторваться и воспарить. Походка у нее легкая, гибкая, каждый мускул живет, играет, и юбка так красиво, в такт колышется на крутых, словно бы вздернутых бедрах, что и не хочешь, да заглядишься. Где там до нее простушке Вале! Маринка, может, и не намного красивее ее,

но как ловко она умеет обтянуть свою аккуратную фигурку, что-то в ней только слегка обозначить, а что-то подчеркнуть, как изобретательна она в своих чуть ли не каждый день новых прическах!

Ну да в походке и прическе ли все дело!

Многое и понимали мы с ней и чувствовали одинаково, будто постоянно были настроены на одну волну, а уж это-то немало. То ли родственность наших, говоря громко, жизненных призваний тут сказывалась, то ли просто родство душ — не знаю. Но листаю я альбом художников Возрождения, Маринка заглянет через плечо: «Венера Джорджоне? Ах, какая прелесть! Какие они все были жизнелюбы!..» — и сердце у меня ответно екнет: именно о жизнелюбии этих художников думал и я в ту минуту. Начну читать Блока: «Вон счастие мое на тройке в сребристый дым унесено. Летит на тройке, потонуло, в дали времен, в снегу веков...» А Маринка подхватит: «И только душу захлестнуло сребристой мглой из-под подков». И с таким чувством, так проникновенно подхватит, что у меня тоже аж дух захлестнет. Умела Маринка и слушать стихи и читать! Она даже сама их писала, хотя и не сразу в этом призналась. Одно кончалось, помнится: «И он ушел, далекий и холодный, окутав сердце в покрывало льда...» Впрочем, это, кажется, не ее стихи...

Нельзя сказать, что Валя ничего не понимала в той же живописи или поэзии. Нет, она с удовольствием слушала стихи. Она восхищенными, прямо-таки восторженными глазами глядела на меня, будто не Блок или Есенин, а я сам сочинил те стихи. Глядела и — молчала. Редко скажет «хорошо» или что-нибудь на это похожее, а больше — вздохнет глубоко, и все. И не понять было, то ли Валя теряла дар речи, то ли боялась сказать что-нибудь не так, чтобы не оконфузиться... И ведь видел, хорошо видел я, какой прекрасный, какой душевный человек Валя. А только стоило вспомнить Маринку — сердце будто надвое раскалывалось: и к Вале тянется, и к Маринке уже успело прикипеть.

Как-то в воскресенье Маринка пригласила меня к себе на дачу:

— Надо же родителям тебя показать?

— Что я, бегемот из зоопарка?

— Бегемот не бегемот, но они же знают, что и на

Кавказ я не одна ездила, и эти дни до полночи с кем-то прогуливаю. Пусть знают, что не с бегемотом.

Дача у них в Малаховке. Приехал я туда середь дня и попал как раз к обеду, за что потом ругал себя последними словами. Уж так-то подчеркнуто радушно угощала меня Маринкина мама, что от этого радушия кусок в горле застревал. И вся она была такая воспитанная, такая образованная и культурная, вела такие высоко интеллектуальные разговоры, что хотелось волком взвыть. А еще так усердно расхваливала свою Мариночку, так вроде бы и в шутку, но получалось, что совсем не в шутку, расписывала ее разносторонние дарования, что даже самой Маринке становилось неудобно. Да и я себя начинал чувствовать в роли купца, перед которым расхваливают товар. Получалось, что Маринка и стихи великолепные пишет еще с пятого класса, и музыкальный слух у нее абсолютный («Ну, совершенно абсолютный слух!»), и рисовать, если бы захотела, тоже смогла.

Маринка несколько раз урезонивала мать, но та и эти резоны поворачивала в свою сторону: видите, ко всему прочему она у нас еще и скромница... А то еще и так говорила: «Я и сама немного музыкантша, в молодости даже в концертах выступала»,— как бы давая этим понять, что дочка пошла именно в нее. В чертах лица, во всем облике у них и в самом деле можно было найти немало общего, хотя требовался очень острый глаз и богатое воображение, чтобы разглядеть былую красоту и легкость в этой отчаянно молодящейся, но уже расплывшейся даме: беспощадное время сделало свое дело.

А вот отец Маринки мне понравился. Если бы не он, я даже не знаю, как бы высидел этот званый обед. Нет, в отличие от супруги, он был неразговорчив, за столом больше молчал, но в этом молчании я чувствовал скрытую поддержку себе. Я видел, что ему тоже не по нутру вроде бы и очень милое, но очень утомительное щебетание супруги. Видно было также и то, что главным за этим столом, а значит, и в доме, был не он, так что хочешь не хочешь, а приходилось слушать.

Чувствуя на себе неусыпное око хозяйки, я держался скованно; мучился даже оттого, что забыл, можно ли, по правилам хорошего тона, перекладывать вилку из одной руки в другую, я не знал, как попросить соли, до которой сам не мог дотянуться. Правда, надо отдать

должное Маринке: она в каждом трудном случае быстро и легко приходила мне на помощь.

— По-французски это звучит так: перметтэ-муа, силь ву пле, ля сэль,— и пододвигала мне соль.

— Уронил ножик? Хорошая примета: в дом может прийти принц...

Маринкина непринужденность несколько разряжала бонтонную атмосферу этого занудного застолья, и я даже не раз подивился, как яблоко могло упасть так далеко от яблони. Мне было дико подумать, что все дело в годах, что со временем и Маринка может стать такой же деспотически чинной дамой. Нет, яблоко упало очень далеко — и слава богу! — от мамы-яблони...

Встал я из-за стола с чувством только что совершенного, хотя никому и не нужного подвига.

— Мерси боку за смотрины,— мрачно поблагодарил я Маринку, выходя на веранду.

— Не сердись, Витя,— ласково сказала она.— Воспринимай все с определенной долей юмора. Да и что тут поделаешь: мать есть мать.

— Ты видела?

— Ну, конечно, все видела. И я тебе очень сочувствую. Но рано или поздно это испытание в нашей семейной барокамере все равно надо было проходить. И теперь оно позади. Тем более что маме ты, мне кажется, понравился. Про отца я уж и не говорю. Папа у меня золотой человек...

«Да, конечно, твоя мама от меня просто в восторге»,— усмехнулся я про себя. А еще резануло это «все равно надо было...» Что за предопределенность? Как будто кто-то и что-то за меня заранее решил.

Но Маринка была так ласкова со мной, так мило улыбалась, да и день был чудесный, солнечный, на затененной деревьями террасе было так вольготно и вместе с тем уютно, что и обеденные огорчения и всякие хмурые мысли постепенно забылись.

Где-то под вечер на террасу этак подчеркнуто осторожно заглянула Маринкина мама.

— Ну, дети, вы оставайтесь, сходите в лес погулять, если хотите, а нам пора ехать... Ужином, Мариночка,— я сказала Маше — она вас накормит. Гуд бай!

«Дети» мне тоже не понравились, но после ухода родителей я вздохнул свободно.

Мы немного пошатались по лесу, а с закатом солнца вернулись домой и опять устроились — в комнатах было душновато — на закрытой со всех сторон зеленью террасе. Маринка сидела в плетеном кресле-качалке, я валялся на плетеном же лежаке.

Еще когда только пришли с гулянья, Маринка на минутку убежала в дом: «Жарко, пойду надену что-нибудь полегче». И вернулась в хорошо знакомом мне ромашковом сарафане. Том самом. Почему-то подумалось: не предлог ли это «жарко»? Но я тут же одернул себя: ну, хорошо, пусть предлог, пусть она знает, что нравится тебе в этом сарафане, и что из того?.. Да, ноги у нее сверкают выше колен, а теперь вот села в качалку, так и совсем разве что трусики сарафан закрывает. Чуть наклонится — грудь видно. А тебе-то, тебе что, на нее такую глядеть разве не нравится? А-а, то-то! Ну и молчи...

Опустилась ночь — почти по-южному черная, но беззвездная. Вокруг абажура настольной лампы замельтешили, закрутились, затолклись мошки и ночные бабочки. Из сада все более явственно наплывал сладкий запах цветов.

Маринка еще раз сходила в дом и принесла початые бутылки с вином и коньяком.

— Гульнем без родительского глаза! Вспомним молодость, вспомним наш Кавказ!.. Ты — мужчина, пей коньяк, я, слабый пол, буду хлестать вино. Эх, где наша ни пропадала — наливай!

Я принял этот дурашливый тон, налил себе и Маринке, и мы храбро выпили.

— А теперь за прекрасный стог сена в окрестностях прекрасного города Тбилиси!

Выпили еще раз.

Тихая бессловесная домработница Маша принесла ужин. Уходя сказала, что если больше ничего не надо, она будет ложиться спать, уже поздно.

И в самом деле было уже поздно, и мне давно бы пора уехать, а то скоро и электрички перестанут ходить. Но Маринка ничего не говорила, а самому вот так встать и уйти не хватало духу.

— За солнечный город Поти!

— За ступени!

В голове приятно шумело. И все теперь казалось простым и легким, окрестный мир — прекрасным, а люди —

добрыми. Я всех любил, мне всех хотелось обнять — и Маринку, и Машу, и даже этот свесившийся на террасу куст сирени, и эту черную, беззвездную тихую ночь. В сердце у меня была только любовь, одна любовь, и как волна на подходе к берегу становится все выше и мощней, так и у меня волна любви, поднявшейся в моей груди, все нарастала и нарастала, захлестывая, заполоняя все остальные чувства.

Мне совсем не хотелось никуда уезжать. Какое там уезжать, когда рядом с тобой такая красивая девушка, и девушка эта тоже не хочет, чтобы ты уезжал... Вот только хоть и рядом, но все же далеконько качалка, в которой сидит Маринка, хорошо бы подвинуть ее поближе, чтобы можно было погладить ее обнаженные — ах, с ума сойти, какие красивые — ноги...

И Маринка словно прочитала мои мысли (телепатия!), словно угадала мое желание — Маринка всегда была очень догадливой, молодец, Мари! — она сама шагнула ко мне.

— Разлегся, как барин. Подвинься немного...

Присела на плетенку и наклонилась надо мной. И когда она наклонилась и сарафан на ее груди слегка отвис, я увидел, что под сарафаном нет лифчика, что знакомое милое пятнышко — вот оно, это пятнышко у моих глаз... Я притянул к себе пьяненькую, податливую Маринку и впился губами в теплую пружинящую грудь...

Маринка не сопротивлялась. Напротив, чтобы мне не тянуться, она слегка подсунулась под мою руку, под мое плечо. И это почти незаметное, и, в сущности, так мало значащее движение ее тела оказалось в конце концов решающим, потому что после него я окончательно потерял власть над собой. Уже откуда-то, со дна затуманенного сознания, вспыхнула последней искоркой мысль: а ведь так и получилось — сам ты так и не сделал выбора, выбор за тебя сделали другие... Но то состояние восторга, какого я еще никогда не испытывал в жизни и какое только что познал, потушило и эту последнюю искорку...

7

Должно быть, и на этот раз заснул я очень поздно, потому что хоть и встал опять после всех, чувствовал себя разбитым, не отдохнувшим.

Холодный душ немного освежил меня. Я оделся и не завтракая — есть не хотелось — вышел на улицу.

Солнце уже было высоко. Над городом висела голубоватая дымка, смягчая его резкие очертания, и то ли от этого, то ли от того, что город сейчас виделся на фоне зеленой тайги, он не показался мне таким унылым, как накануне. Да и потом, наверное, еще рано с него много «спрашивать»: ведь любой поселок, даже получив наименование города, еще долгое время продолжает оставаться тем же, чем и был до этого — обыкновенным большим поселком. Так что, как говорится, еще не поздно. Если с умом взяться за дело, можно прекрасный город построить.

Я вышел на край поселка, которым он примыкал к тайге.

Вот бы в какую сторону расти городу! И уже не вырубать эти пихты и березы, а лишь делать просеки. Жилые же массивы пусть обтекают лес с той и другой стороны и сомкнутся, может, через два, а может, и через три километра. Пусть серединой города будет эта зеленая краса, этот лес, или как его, видимо, потом назовут — лесопарк. А то мы так привыкли делать: закладывая город в тайге, сначала начисто вырубаем ее, а потом начинаем озеленять — высаживаем вдоль тротуаров хилые саженцы. Вон они и здесь, эти саженцы. И кроме того малюсенького привокзального скверика, в городе никакой зелени. Не от этого ли он, кроме всего прочего, и выглядит скучным?..

Я глядел отсюда, с таежного края города, на центр, на маячившую там церквушку, и все больше утверждался в мысли, что лучшего места для дворца, пожалуй, не найти. Умели — что говорить! — умели наши деды выбирать место под храмы! И, конечно же, когда на этом холме вместо ржавой развалины встанет современный храм культуры — он, видный отовсюду, преобразит весь центр города.

Еще вчера мы договорились с главным архитектором о встрече.

И вот я сижу в его просторном, даже, пожалуй, несколько пустынном кабинете. Архитектор развертывает на столе так называемый генеральный план застройки города.

В дверь постучали, и на пороге появился Владимир:

— Не помешал?

— Напротив,— опередил я архитектора.— Втроем веселей будет.

— А, да вы знакомы?.. Ну, давай-давай заходи... Вот картинки гостю показываю.

Владимир подошел к столу и, придерживая угол ватмана, тоже стал приглядываться к плану:

— Красивые картинки!

Я спросил архитектора, в какую сторону пойдет город в дальней перспективе, а заодно и высказал свои соображения: вот бы куда ему идти!

Владимир поддержал мою идею, и это меня почему-то очень обрадовало, будто именно Владимир и был главным архитектором города и от его мнения что-то зависело.

— Эх, ребята, ребята! — воскликнул архитектор и почесал в затылке, будто у него и в самом деле там зачесалось.— Хорошие вы ребята!

Мы с Владимиром переглянулись: к чему бы эти похвалы?

Было архитектору, наверное, за пятьдесят; словно от длительного разглядывания таких вот планов плечи его ссутулились; в темных волосах по-хозяйски угнездилась седина, из-под густых кустистых бровей глядели внимательные усталые глаза.

— Умные вы ребята! — еще раз похвалил он нас.— Именно туда бы идти городу! Но... но я же, как язычник, поклоняюсь не одному богу, а сразу двум. Даже, точнее сказать, не богам, а богиням... Вы же прекрасно знаете, как возник наш город: не потому, что кому-то глянулись здешние места — ах, какая глушь, ах, какая первозданность! — а потому, что геологи нашли тут руду. Да еще какую руду! Вот я и должен молиться двум богиням: руде и красоте.

— Ну и что же? — спросил я.— Неужто эти особы такие неуживчивые?

— Да разве нельзя им мирно сосуществовать? — опять поддержал меня Владимир и выразительно поглядел в мою сторону: вот, мол, оно, о чем мы вчера говорили!

— Они-то, может, и договорились бы, да над ними — хоть они и богини — есть начальство, а начальство это — разное. Одно говорит: строй красивый город, а другое —

давай побольше руды. Город? Какой город? Ах, да, людям надо где-то жить, это верно. Ну и строй им жилье, да строй так, чтобы поближе к месту работы, чтобы поменьше средств тратить на всякие там коммуникации и прочую непроизводительную мелочь... Вот и выходит, что по мнению этого начальства главным архитектурным украшением города должны быть копры над шахтами...

— А что на это отвечает первое начальство?

— Вся беда-то как раз в том, что второе — главнее. Даже не то чтоб главнее, формально оно даже вроде бы и подчинено горисполкому. Однако главные ассигнования в его руках. Я же сразу сказал: не рудник при городе, а город при руднике...

Я спросил, окончательно ли утверждено в плане место под дворец культуры.

— Честно признаться, я сознательно не показываю это место,— архитектор улыбнулся,— хотел сначала услышать ваше мнение, поскольку вы, говорите, уже успели познакомиться с городом.

Я тоже поначалу нарочно назвал две точки, которые мне еще в первый же день показались наиболее подходящими.

— Ну, а которой из этих двух вы бы отдали предпочтение? — продолжал уточнять архитектор.

Владимир опередил меня.

— Лично я ставил бы дворец не у рудничных копров, а ближе к лесу,— сказал он.— Это в тридцатые годы иногда строили клубы напротив заводской проходной, чтобы можно было прямо от станка, в рабочей спецовке, на какое-нибудь занятие по техминимуму попасть. Но те-то времена прошли.

Я сказал, что в принципе согласен с Владимиром. Однако наиболее выгодным — архитектурно выгодным, разумеется,— местом мне представляется центр города.

— Другими словами, то место, где сейчас стоит церковь? — теперь уточнил уже Владимир и разом помрачнел.

— Да, то самое место.

— Ну что ж, все совпадает,— я так и не понял, то ли с огорчением, то ли с облегчением вздохнул архитектор.— Именно это место отведено для Дворца культуры и по генеральному плану.

— Тогда почему же до сих пор не снесли церквушку? — перешел я к делу.— Или поджидаете, когда сама рассыплется?

— Да нет, не поджидаем,— ответил архитектор. — Уже и решение принято.

— Зачем же остановка?

— За тем, что больно хлопотное это дело-то, представьте. Хлопот много, а чести мало. Кому попало не поручишь, нужны специалисты, а вот пошли его или другого,— архитектор кивнул на Владимира,— разве пойдут: там они строят, дело делают, а тут только время даром потеряют...

— Я тебе по-другому объясню,— сказал Владимир.— В тридцатые годы это делалось просто: взрывали. Сколько такого старья на воздух подняли! Около соборов, около церквей по обыкновению близко не строили, чтобы простор был. И взрывать было очень удобно. А тут, видел небось, понатыкали домов, учреждений разных, рвать — как бы их не повредить. А по кирпичику разбирать — тоже нелегкое дело: кирпич с кирпичом сцеплен так, что скорее по самому кирпичу расколется, чем по раствору.

Владимир сделал паузу, потом спросил:

— А еще я бы сказал: а так ли уж надо?

— Что надо? — не понял я.

— Надо ли сносить-то?

— Тоже вопрос! Да одним своим видом церквушка весь окружающий пейзаж портит.

— Ты уверен? — Владимир все более мрачнел, и в вопросе его чувствовалась сдерживаемая злость.

— Да чего тут уверяться! Сам, что ли, не видишь: крыша вся провалена, вместо куполов ржавые ребра торчат, колокольня, как...

— Верно. Все верно: и ребра, и окна выбиты, и крыши нет.

— Ну, а если верно, так... Я что-то не пойму, куда ты гнешь?

— Никуда не гну, просто считаю, что и крышу, и купола, и все другое можно ведь и подновить. Обшарпалась, пришла в ветхость — это да. Но поднови ее — она же засияет, и не только не будет портить пейзаж — украсит его!

— Не знаю, как на твой взгляд, а на мой — художе-

ственной ценности церквушка не имеет,— не сдавался я.— И как ее ни подновляй...

— Ладно, оставим этот беспредметный разговор.

— Да, поговорили, душу отвели, а теперь вернемся к делу,— остановил нашу перепалку до этого молчавший архитектор.— Решение принято, будем сносить. Так что при работе над проектом место под дворец можешь считать чистым. Найдем мастеров. В конце концов ломать не строить. Осилим!

Владимир закурил, отошел к окну и остался там. Из окна как раз видна была колокольня той церквушки, о которой мы говорили.

— Ну, а чтобы знать, что поблизости от дворца еще будет строиться,— архитектор опять склонился над планом,— погляди сюда.

Он показал мне на плане еще несколько проектируемых объектов: горный техникум, школа ФЗО, Дом связи, больница. А в заключение мы договорились о сроках представления первого, чернового варианта моего проекта.

— Ну, а что у тебя? — тоже закуривая, обернулся он к Владимиру.

Все такой же хмурый, тот отошел от окна:

— А вот что: опять поставщик не дает полного набора панелей. Значит, опять по упрощенной схеме идти?

— Да нет, так мы до того доупрощаем, что от интересного проекта одна геометрическая коробочка останется... И козырьки тоже до сих пор не дали? И угловые фонари нечем облицовывать?.. Н-да... Ну ладно, сейчас вот, сию минуту я тебе ничего сказать не могу. Ступай на объект, а мне как раз по одному делу все равно к хозяину надо — заодно и об этом с ним поговорю.

Мы попрощались и вышли.

— Может, к нам на стройку заглянем,— предложил Владимир.— Небось интересно поглядеть, как ваши проекты, мягко говоря, трансформируются, когда с ватмана переходят на грешную землю.

На строительстве гостиницы я пробыл до конца дня. Мы с Владимиром и обедать ходили в ближнюю столовую вместе. Я вдосталь полазил по строительным лесам, посидел в прорабской, наслушался всяких разговоров.

Самым же интересным для меня оказалось не то, как упрощается и стандартизируется в натуре даже и вполне

оригинальный проект, о чем говорил Владимир. Это мне и раньше слышать и видеть уже приходилось. Куда более интересным оказался для меня сам Владимир. Я видел, как он вел себя с рабочими, как разговаривал с ними, как быстро находил общий язык и с пожилыми каменщиками и с совсем еще зелеными девчонками-штукатурами (среди них были и та озорная Глашка, о которой я слышал еще в первый вечер. Глашка — востроглазая, бойкая на язык девка — и нынче все норовила заигрывать с Владимиром: «Что, жены боишься? А вот мне бояться некого...»).

Я видел, что с Владимиром все чувствуют себя очень просто, как с самым что ни на есть своим человеком, и не потому, что он старался как-то там к кому-то подлаживаться, совсем напротив, если было за что — ругал, и еще как ругал. Я не завистливый человек, а тут открыто завидовал Владимиру, вот этому его умению держаться артельно, заодно со всеми. А ведь если бы только одна эта забота у него была, если бы ему не надо было еще где-то что-то добывать, выколачивать, выпрашивать.

Еще не успевший остыть от телефонного разговора с кем-то, кто не давал ему каких-то плит, Владимир по дороге домой хмуро сказал:

— Вот читаешь в газетах: план, ритмичность, а в последнее время модным стало еще и такое словечко: НОТ — научная организация труда. У нас же — ты видел — то с кирпичом перебой, то перекрытия не привезли, то цементу нет. А в конце месяца — штурм, и план вроде бы выполняется. Выполняется, но какой ценой? И почему эту высокую цену должны платить те, кто в этом никак не повинен?

Владимир немного помолчал.

— У проклятых капиталистов, говорят, такого не бывает. Что же, они лучше нас умеют работать? Просто, если у хозяйчика такое будет — он прогорит. У нас же никто не прогорает: разве накачку получит, выговор по той или другой линии. Так потом за этот выговор на нас же и отыграется...

Валя уже была дома.

— Ба, вместе? — открывая нам, удивилась она.— Как здорово!.. Только что-то ты, парень, тучей глядишь. Или голодный, пообедать времени не нашлось? Сейчас я вас накормлю.

Я сказал, что пообедать мы пообедали, а настроение парню Глашка испортила.

Хмурость сошла с лица Владимира, он рассмеялся, и как-то сразу всем стало весело.

— Глашка, она такая,— поддержала шутку Валя.— А вот и Василек тут как тут... Да подожди, не хватай его, сначала умойся...

Василек крутился около нас, торопясь рассказать всякие важные новости: экскаватор опять сломался, мама новую книжку купила, и в ней картинка: лиса с колобком разговаривает...

А я слушал, как журчит в умывальнике вода, как Валя погромыхивает на кухне посудой, слушал торопливый лепет Василька, и у меня было ощущение, что пришел я домой. Есть такое слово: домашность, и спроси меня — я бы затруднился объяснить, что оно значит. Но вот сейчас чувствовал, как эта самая благостная домашность обнимает со всех сторон, проникает в меня.

И за столом, когда сели ужинать, тоже — не только мне, но и всем — было легко, свободно, не то что в первый вечер.

От кого же исходило это ощущение домашности, кто здесь был ее душой? Поначалу казалось, что Валя, а теперь я понял: нет, не только Валя. Они оба: и Валя, и Владимир. А Василек — третий.

Как-то, к слову, Владимир вспомнил наш разговор у главного архитектора и, вспомнив, сразу же, как и там, в кабинете, насупился, помрачнел:

— Вот ты там насчет художественных ценностей распространялся. Ну что, мол, церквушка эта, на твой просвещенный взгляд, никакой такой ценности не имеет.

— Да и сейчас могу повторить,— тоже настраиваясь на воинственный лад, с некоторым вызовом ответил я.

— Не надо повторять,— махнул в мою сторону рукой Владимир.— На мой взгляд, имеет, на твой или того же архитектора — нет. Так спора не решить. Но допустим даже, что не имеет. Допустим! Но знаешь ты или нет, что в этой церквушке сосланные сюда, во глубину сибирских руд, декабристы со своими женами виделись. Видеться еще где-либо им долгое время не разрешалось. Не знаешь? А что в часовне — она еще древней,— в часовне сколько-то там дней и ночей обитал, по дороге в Иркутск, неистовый протопоп Аввакум?! И то и дру-

гое — это же памятники нашей истории! Зачем же, зачем же их собственными руками уничтожать?

Ни о декабристах, ни об Аввакуме я действительно ничего не знал и не сразу нашелся, что ответить Владимиру.

— Не помню уж кто сказал: нет более бедного народа, чем тот, у которого нет истории. Зачем же мы свое национальное богатство по ветру пускаем?

— Ну, декабристы — так, а Аввакум...

Владимир не дал мне договорить:

— Что Аввакум? Протопоп? Но разве это важно? Важно, что он был мыслитель, борец. И служил этот протопоп не богу, а идее. Всем известно, что монах Джордано Бруно погиб на костре за свои идеи, но мало кто знает, что точно так же был сожжен и Аввакум. И хотя считалось, что сожжен он был «за великие на царский двор хулы», на самом-то деле за то, что не поступился своими убеждениями. Вот тебе и протопоп!.. И небось слышал: башню Братского острога, в которой содержался Аввакум, при затоплении старого Братска разобрали и сохранили. Сейчас в Коломенском под Москвой стоит...

— А кроме церкви, неужто в память о декабристах ничего не осталось? — спросил я.

— Ровным счетом ничего... Впрочем, нет, один дом уцелел. Добавлю: чудом уцелел... Это, если идти по Нагорной части, приземистый такой дом с мезонином.

— Не тот ли, в котором библиотека?

— Тот самый.

Я вспомнил дом, о котором говорил Владимир: это был рубленный из кондового леса и окрашенный в темно-желтую краску пятистенок с просторной светелкой.

— Чудом уцелел,— повторил Владимир.— Нашелся один умный человек и предложил: давайте сделаем в доме библиотеку. Ему: так ведь старый уж больно домик-то, потому его и к сносу предназначили. А он: а вот сунем в него библиотеку, и, глядишь, нам деньжат на ремонт библиотеки много ли, мало ли подкинут, а так просто — кто же даст. Подумаешь, какой-то там декабрист жил!.. Вот такой хитростью-премудростью и спасли дом. Но почему так?

— А нельзя ли потише? — Валя сидела рядом со мной в кресле и чинила разорванную рубашонку сына.—

Что за привычка: орать, руками размахивать... И горячиться нечего по всякому-всему. Ну что ты закипаешь, как холодный самовар?!

— Это не всякое,— огрызнулся Владимир. Но тут же, со свойственным ему умением мгновенно переходить от хмурости к веселости, улыбнулся и легко согласился: — Верно, дурная привычка. Да что поделать: привычка, как заметил еще Пушкин, свыше нам дана...

И, немного погодя, уже другим голосом — ровным, спокойным — добавил:

— А протопоп-то, между прочим, наш с тобой земляк, нижегородец.

— Уж договаривай...— Валя тоже улыбнулась и сказала за Владимира: — Есть такое село — может, слышал, а может, нет — Лопатицы. Так вот Володя оттуда родом, а Аввакум когда-то в том селе рукоположен был, как тогда говорили, в свой протопопский сан... Теперь понятно, почему он на тебя орал?

Мы с Валей расхохотались, Владимир же какое-то время крепился, но потом не выдержал и тоже рассмеялся, и даже еще громче нашего.

И опять я себя почувствовал не в чужом, а словно бы в своем доме, среди своих, близких людей. И люди эти держатся открыто, естественно, и тебе с ними хорошо.

Однако же смеяться-то я смеялся, а про себя думал: слышать про Аввакума я, конечно, слышал, но что в Сибирь он был сослан, а потом где-то на печорском Севере заживо сожжен— этого не знал. А ведь про Джордано Бруно очень хорошо помню еще со школы... Прав Владимир, чудно как-то получается: про себя знаем меньше, чем про соседей...

Ну да ладно, это бы еще полбеды, что плохо знаю житие неистового пропотопа — его, это житие, им же самим написанное, можно и прочитать. А вот как быть с часовенкой, в которой он обитал, и с церковью, в которую водили декабристов?! Архитектор сказал, чтобы я считал то место чистым. И я уже успел свыкнуться с этим: начну мысленно строить дворец — строю на чистом месте. А вот сейчас попытался — не получается: церковка с часовней мешают...

И дернул же черт Владимира с его протопопом! К чему мне знать, жил он в этой часовенке или нет? Пусть

даже и жил — что из того! Ни часовенки, ни церкви давно уже нет: решением горсовета они еще полгода назад «снесены», и лишь по чьей-то халатности решение осталось невыполненным... Да и Владимир при нашем разговоре с архитектором оказался совершенно случайно: я мог узнать то, что он сказал, а ведь мог бы и не узнать. Так что совесть моя чиста, и... и место под дворец тоже будем считать чистым. А Владимир с его протопопом... а-а, будь они неладны — и Владимир и его земляк-протопоп!..

Я ругал Владимира, хотя в душе и понимал, что ругать его не за что. Неприязненное чувство это, похоже, было сродни тому непонятному глухому раздражению, которое я испытал вчера. Откуда оно?

И только когда легли спать и я спокойно оглянулся на нынешний день, я понял: вон оно, откуда это раздражение, эта непонятная неприязнь к Владимиру — он мне все больше и больше нравился. Мне просто не хотелось в этом признаваться даже самому себе.

Поначалу я к Владимиру отнесся как-то отвлеченно: есть кто-то при Вале, рядом с Валей. Я словно бы исходил из уверенности, что она по-прежнему любит меня, и только меня. Просто, когда узнала, что я женился на Маринке, решила тоже как-то устроить свою жизнь, попался хороший человек, вышла за него. Ну, еще допускал, что человек этот любит ее. Но чтобы Валя могла полюбить его, полюбить после меня и, значит, забыть меня — это как-то в голову не приходило. А теперь вот пришло и все во мне перевернуло. Потому у меня вдруг и обострился интерес к Владимиру. Я стал на него глядеть как бы глазами Вали и пытаться понять, за что можно такого человека полюбить. И вот теперь видел: есть за что...

У меня нет такого характера, как у Владимира, это, пожалуй, верно. Но по натуре я—добрый человек. Во всяком случае так до сих пор считал. Да и не только я. А вот теперь оказывается, что не такой уж и добрый. Ведь если Валя любит Владимира — ты должен только радоваться этому, а не огорчаться. Если ты добрый, то есть желающий людям добра, уж кому-кому, а Вале ты должен желать его во сто крат. И если она любит своего мужа, если счастлива с ним — ты должен бы только радоваться. Тогда почему же не радуешься?.. Или ты,

может, собирался или сейчас собираешься жениться на Вале? Ведь нет же? Так чего же тебе надо?..

8

Нет, зря я все-таки согласился на этот таежный поход. Ну какой из меня охотник: когда-то давным-давно, на заре туманной юности, ходил как-то с дружком один раз по первому снежку, или, как говорят охотники, по чернотропу, на зайцев, а в другой раз, по весне, на уток. Да и то: пару уток, правда, я подрезал, заяц же после моего выстрела поскакал еще прытче... Разве что вернусь в Москву, кто-нибудь из знакомых спросит: ну как, по тайге не пришлось побродить? И я небрежно так кину: как же, хаживал! Неповторимое удовольствие! Одно слово — тайга!..

А уж какое там удовольствие! Десяти верст небось еще не прошли, а с меня и пот льет, и рюкзак в плечи врезался, словно в нем не одеяло с котелком, а булыжники лежат. Вон Владимир вышагивает и веселые песенки из популярных фильмов насвистывает — этому да, этому, видно, что одно удовольствие.

— Ну как? — обернулся в мою сторону, сияет весь. И, не дожидаясь меня, сам же себе отвечает:— Красота!

Тайга действительно красива. Начни объяснять — не сразу и объяснишь, чем именно. Ведь не лето; деревья еще голые, только ели да пихты, да могучие кедры своими вечнозелеными кронами то тут, то там прикрывают весеннюю лесную наготу. И снег лежит потемневший, ноздреватый, а на полянах и вовсе протаявший до самой земли — тоже вроде глазу мало радости. Но, может, как раз этот тяжелый последний снег, эти сквозящие ветки над головой — еще голые, но уже проснувшиеся от зимнего оцепенения и почуявшие первое движение весенних токов,— может, все это именно и сообщало тайге ту особую красоту, которую бы можно назвать, наверное, предчувствием весны, но лучше не называть никак, потому что все равно никакими словами выразить это невозможно. Просто тревожно, неспокойно на сердце, как бывает в предчувствии радости, а что за радость и будет ли еще она — тебе неведомо. Из-за этого я, пожалуй, и не очень-то люблю весну: чего-то ждешь, что-то происходит с тобой, а что именно — не знаешь и сказать не можешь.

В той стороне, куда мы идем, гаснет холодная вечерняя заря, и сумеречная мгла становится все гуще, особенно под кедрами и елями.

— Еще немного,— лица Владимира я уже не различаю, но по голосу слышу, что он пребывает все в том же возбужденно-радостном состоянии.— Дорогу я знаю, так что не бойся, не заблудимся. Только бы на медвежью берлогу не напороться — Михайло Иваныч не любит, когда его тревожат...

Мы еще некоторое время скользим пологим склоном таежного распадка и останавливаемся в укромном, можно даже сказать уютном месте: маленькая полянка, окруженная плотным кольцом тайги. Где-то там вверху глухо шумит макушками кедрачей ветер, а здесь, внизу, тихо, безмолвно, безмятежно.

Я подивился на Владимира: вот хваткий, ко всему, к любому делу сноровистый парень! Едва я успел снять рюкзак да перемотать сбившиеся портянки, он уже и сушняка натаскал, и костер развел, и котелок со снегом над ним водрузил. Вспомнилась сказочка о том, как мужик двух генералов прокормил. Владимир вполне мог быть потомком того мужика.

На полянке сразу сделалось еще уютней и веселей. Пламя костра лихо плясало по сучьям, перепрыгивая с ветки на ветку, полянка огласилась шипеньем, треском, стрельбой.

— А теперь, пока еще совсем не стемнело, давай сделаем запас дровишек на ночь да нарубим лапнику,— командовал Владимир.

Он безошибочно выбирал мелкий сухостойный подлесок, маленьким топориком срубал его, а я подтаскивал к костру. Проще бы набрать валежнику, но его еще держал снег, да и горел он плохо.

Из лапника, по одну и другую сторону костра, мы соорудили две мягкие пышные постели.

И когда подошли к концу хлопоты по устройству на ночевку, когда я уселся на свое хвойное ложе и поглядел минуту-другую, не отрываясь, на бегучее пламя костра и как бы ощутил за его огненным кругом распростершуюся во все стороны бескрайнюю тайгу, вместе с теплом от костра к моему сердцу подступила теплая волна благостной умиротворенности. Я испытал ни с чем не сравнимое чувство полной отрешенности от того далекого сует-

ного мира, в котором живу, чувство счастливого уединения и ничем не ограниченной свободы. Я словно бы остался один на один со всем огромным миром.

Нет, не зря, совсем не зря дал я себя уговорить на этот поход! Пусть даже и не выйдет у нас охоты, пусть мы только и всего-то посидим ночь у костра — из-за одного этого уже стоило идти в тайгу!

И чай из темного таежного снега был на удивление ароматным, и обыкновенные бутерброды, приготовленные Валей, казались необыкновенно вкусными. Даже дымок от костра, пахнущий смолистой хвоей, был чудесной приправой к нашему ужину.

Я откинулся на спину и увидел далеко вверху темное, почти черное небо с плотно прибитыми к нему, словно бы загнанными по самую шляпку, серебристыми звездами. Макушка ближнего кедра, раскачиваясь на ветру, то закрывала, то снова открывала одну особенно яркую, лучистую звезду. Я долго глядел, как пропадала и вновь возникала звездочка, и хотя происходило это вроде бы довольно однообразно, но мне не было скучно, я готов был вот так лежать и глядеть вверх хоть час, хоть два.

Владимир нынче, против обыкновения, что-то неразговорчив.

— Ты что молчишь?

— Наговориться мы и дома успеем. А здесь и так хорошо.

А ведь верно! Слова здесь не нужны. Слова притащут с собой ту повседневную суету, от которой ты только что почувствовал себя отрешенным. Лежи, гляди на далекую звезду и думай тоже о чем-нибудь далеком и возвышенном! Ну, еще время от времени подбрасывай в костер сучьев, чтобы было и тепло и светло.

Мысли и в самом деле шли какие-то чистые, высокие. Во всяком случае, так мне казалось.

Нет, я не думал о чем-то обязательно возвышенном и необыкновенном. Мысли мои часто касались вещей и вовсе обыденных. Но даже обыденное виделось светло, словно бы житейская проза читалась в прекрасном поэтическом переводе.

По какой-то ассоциации пришел на память вечер, когда Валя показывала мне фотографии и письма к «милой сестричке». Потом так же вот, как огонь легко переска-

кивал с ветки на ветку, мысли мои тоже перескочили на другое, на третье, но опять почему-то вернулись к тому вечеру.

...Непонятно устроен человек.

Затесалась в компанию на какой-нибудь вечеринке красивая девчонка. И что? А то, что все ребята только и будут крутиться вокруг этой красавицы, пусть она даже дура набитая. Мало того: она может быть еще и капризной, взбалмошной, вздорной. Все равно — ее станут нарасхват приглашать на танцы, перед ней станут расшаркиваться, пялить на нее глаза и говорить пошлые комплименты. А рядом будут сидеть девчонки, которым она, что называется, и в подметки не годится, но все они окажутся на втором плане, потому что одна лицом не вышла, у другой ноги не такие стройные, как у той красивой распустехи, третья одета не по самой последней моде... Так что же получается?! Получается, что оболочка, форма ценится куда выше содержания. Интересно: всегда так было или это знамение нашего кибернетического века?!

Ну, ладно: первое впечатление может быть обманчивым. Но ведь и когда парень хорошо узнает ту красивую, увидит, какой это пустой и никчемный человек,— он и тогда будет не только терпеть, но и исполнять все ее капризы. Узнай он, насколько душевно прекрасна одна из ее подруг,— может, он бы эту подругу выбрал. Но как парень может ее узнать, если она с того самого первого взгляда никаким образом не заинтересовала его?!

Что-то тут не так. Какая-то вопиющая несправедливость!

Еще до отъезда на Кавказ ты уже знал Валю. А в тот последний вечер узнал ее — особенно из писем — еще больше. Ты понял, какой это открытый, добрый к людям, сердечный человек. Ты узнал о ней только хорошее и ничего плохого. И тем не менее...

Нет, что-то начали тяжелеть мои легкие мысли.

— Скажи, Володя, как ты отличил от других Валю? Чем?

— Ты бы спросил что-нибудь полегче,— усмехнулся в ответ Владимир.

И по тому, как он усмехнулся, по блуждающей улыбке на его лице я понял, что он в эту минуту тоже думал о Вале.

— Всего скорее, пожалуй, тем, что от других... не отличалась... А лучше бы сказать: не старалась отличиться. Отличиться во что бы то ни стало...

Я подбросил сушняка в костер, белое пламя взвилось высоко вверх, и окружавшие поляну деревья словно бы отступили в глубину леса. Но вот огонь утишился, и деревья снова подошли поближе к костру.

— А еще, может быть, вот чем,— Владимир, прищурившись, глядел на огонь и говорил медленно, с паузами.— Валя, понимаешь ли... как бы это тебе сказать... Валя — русская.

— То есть? — я даже на локте приподнялся.

— Очень просто... Помнишь, еще в школе учили: «Кто русский по сердцу, тот бодро и смело... бодро и смело...» Как там дальше-то?

— «...И радостно гибнет за правое дело»,— досказал я.

— Да, так вот: русский по сердцу. А сколько лишь по паспорту, потому, что поют и слушают они чужие, обязательно зарубежные песни, танцуют уж и вовсе одни твисты и шейки, а про одежду и прически и говорить нечего — усердное равнение на Запад. Даже русское порой приходит к нам оттуда. Те же русские сапожки притопали к нам, как известно, из французской столицы... А ведь это только самые наивные люди думают, что не так уж важно во что и как молодежь одевается, какие песни поет и какие танцы танцует. Важно, да еще как важно-то! И между прочим, в первые годы Советской власти мы считали, что это важно...

— Значит, ты за поддевки, поневы, косоворотки?

— А ты мне уж заодно и великодержавный шовинизм припишей: как же это так — русская девушка, видите ли, ему понравилась. А если бы она была украинка или француженка?.. Не волнуйся: я одинаково хорошо отношусь к украинцам и к французам, как, впрочем, и к любой другой нации. И понравиться мне могла и украинка и француженка.Я о другом. О том, что француженки почему-то не рядятся под украинок — точно так же, наверное, и нашим девчонкам не стоит рядиться и петь под кого-то.

Владимир помолчал, а потом, видимо, вспомнил мой вопрос:

— Нет, я не за поддевки... Да и потом, если ты хо-

чешь знать, в разные века русский костюм был разным. Разным, но все-таки русским. Я — за современную одежду. Но я против заграничного обезьянничанья... Ты небось слышал или читал, как некоторые иностранные модельеры ходят по нашим музеям, срисовывают образцы русской одежды, потом, глядишь, трансформируют их в современные — как сейчас принято говорить — ансамбли, и наши модницы опять с ног сбиваются, чтобы заполучить этот последний крик моды... А возьми тот же «Казачок», который сейчас танцует вся Европа. Не удивительно ли, что он вышел в свое европейское турне почему-то не из Москвы или Киева, а опять же из Парижа...

Начали о Вале, а пришли вон куда. Зря, пожалуй, завел я этот разговор. Лежал бы себе на лапнике и глядел на далекую звезду. А то теперь полезло в голову всякое: интересно, а что за птица, в понимании Владимира, твоя Маринка? Да и сам-то ты тоже — не по одному ли паспорту?!

— Ну что же, нам скоро и на место,— Владимир посмотрел на часы и взялся за котелок.— Давай-ка еще побалуемся чайком да и тронемся.

Мы опять пьем крепкий пахучий чай, затем приводим в готовность свои ружья и покидаем нашу уютную поляну.

Владимир первым ныряет под кроны ближних деревьев в кромешную таежную черноту, и минуту-другую я с опаской жду, как он вот-вот врежется в ствол какой-нибудь пихты или кедра. Нет, все тихо. Слышится только постепенно удаляющееся скольжение лыж. И чтобы не потеряться, не отстать, я тоже с разгона ныряю в таежный мрак. Ныряю наугад, как в омут. Но проходит совсем немного времени, и глаза, привыкая к темноте, начинают различать снег, деревья, кусты. На востоке, куда мы идем, похоже, начинает заниматься утренняя заря.

Владимир не торопится, если я отстаю — он сбавляет ход или останавливается совсем, поджидая меня. Изредка на остановках мы обмениваемся жестами и идем дальше. И от того, что мы не разговариваем, а лишь размахиваем руками, таежная тишина кажется еще более густой и таинственной. Кажется, что за каждым деревом кто-то сторожит тебя, что вот-вот что-то случится, что-то произойдет и разрядит эту напряженную, гнетущую тишину, как удар грома разряжает предгрозовое напряжение.

Тайга все гуще, все непролазней. Мы забрались в сплошной ельник и с большим трудом продираемся сквозь дремучие заросли. Наконец Владимир остановился и поднял руку: все, пришли!

Я оглядываюсь вокруг и за большой разлапистой елью вижу поляну с тремя или четырьмя невысокими деревцами посредине.

Владимир оставляет меня на краю поляны, под густым навесом еловых ветвей, и сам отходит шагов на десять в сторону и там занимает боевую позицию.

Заря разгорается все сильнее. Привыкшие к темноте глаза ясно различают теперь очертания поляны, черные силуэты молодых елочек на ней на фоне постепенно светлеющего неба.

Находясь в постоянном напряжении, я потерял чувство времени и не знаю, сколько прошло — час или десять минут — до того момента, когда наконец томительную тишину нарушил шумный мах могучих крыльев. А вот еще, пока невидимая, только слышимая птица прилетела на токовище, еще...

Я напрягаю зрение и вижу одного глухаря на самой макушке елочки, что росла на поляне, а другого — прямо на снегу. Через какую-то минуту на снег опустился с хорканьем еще глухарь и, словно распаляя себя перед схваткой, начал чертить крылом по снегу. Первый принял вызов и тоже захоркал, заклокотал и, расперив крыло, также угрожающе зачертил им по снегу... Ба! А вон чуть поодаль от этой пары бойцов новая появилась — и точно так же друг перед другом петушатся, хоркают, распускают перья. С каждой минутой на токовище становилось шумней и оживленней.

Неожиданно я услышал песню. Ее запел глухарь на макушке ели, которого я заметил первым. Он весь напрягся, натянулся, и мне хорошо видны были на фоне зоревого неба его вскинутая голова и распущенный веером хвост. Строго говоря, никакая это была не песня, а всего лишь свист и щелканье вперемешку с хорканьем и шипением, но столько страсти вкладывал он в свое пение, так самозабвенно заходился, захлебывался в своем восторге перед всем, что видел и чувствовал в эту минуту, что я, слушая его, забыл и зачем пришел сюда и почему в руках у меня ружье.

На снегу, под елкой, между тем бились соперники,

показывая где-то притаившейся глухарке свою силу и молодецкую удаль. Хлопали крылья, летели перья. Слышалось воинственное шипение и хорканье, и чем дальше, тем бой разгорался все жарче.

А глухарь на макушке ели все пел и пел свою любовную песню. Надо думать, он считал, что не драчливость, не сила, а вот такая страстная песня должна скорее тронуть сердце подруги...

Видит ли Владимир этого глухаря? А если видит, что он медлит — лучшей цели не найти. Ну, скорей же, скорей!..

Я в мыслях торопил Владимира, потому что самому мне в этого глухаря стрелять почему-то не хотелось, а если я выстрелю по тем петухам, что на снегу, то наверняка промахнусь, но спугну и этого.

Нет, он просто не видит певуна. Его, должно быть, что-то загораживает или та елка из укрытия Владимира не на фоне неба...

Я осторожно просовываю ствол ружья сквозь ветки, для верности кладу на сук и медленно, не торопясь, прицеливаюсь. Торопиться некуда, я все еще жду, что Владимир опередит меня. Заревое небо прояснилось до нежной розовости. И посреди этой нежной ясности на мушке моего ружья — черный трепетный силуэт поющего глухаря...

Я не слышу выстрела, чувствую только толчок приклада в плечо и звон в ушах от оглушительного пушечного эха, покатившегося по таежной чащобе...

И все, что было дальше, тоже как-то не отложилось в памяти. Будто выстрел не только оглушил меня, но и притупил все остальные чувства.

...Помню только, как мы с Владимиром опять сидим на нашей ночной поляне. Опять горит костер, и мы по ту и другую сторону от него на лапнике. Опять над огнем висит котелок, и мы пьем чай. Но только уже нет таинства таежной ночи, звезды не манят в дальнюю даль, а на окончательно просветлевшем небе кажутся просто лишними, ненужными. И чай не так вкусен, и разговор не клеится. «Хочешь еще бутерброд?» — «Нет, спасибо, что-то не хочется». — «Хочешь еще чаю?» — «Чаю налей, пожалуй...» Вот и весь разговор. И уж какие там светлые мысли! Начнешь разбираться, о чем они, и никак не поймешь: вроде бы обо всем и ни о чем. И уже только

перед тем, как нам трогаться в обратный путь, я спрашиваю Владимира:

— Как же ты не видел его? — и киваю на лежащего поодаль убитого мной глухаря.— Ведь та елка вроде недалеко от тебя была.

— А я видел,— отвечает Владимир

— Видел?! Вот так раз! Отчего ж тогда не стрелял? Я ведь, кажется, не торопился.

Владимир молчит. Непонятно как-то молчит, напряженно.

— Видишь ли, какая штука...— опять помолчал.— Хотел я ударить по бойцам, по тем, что на снегу гоголем друг перед другом ходили. Навел, а мушку как следует не вижу. Вот и хотел немного подождать, когда просветлеет.

— Ну, а по этому-то, я тебя спрашиваю, по этому-то что не бил? Тут-то мушку куда как хорошо было видно.

— Понимаешь ли, какая штука...— словно бы в некотором смущении повторяет Владимир.— Уж больно хорошо он пел! Те-то дрались, и смерть в бою — вроде бы дело естественное. А этот — пел. Ты сам видел и слышал, как он пел. И рука не подымалась оборвать песню...

— Ну, знаешь, парень, тебе, такому чюйствительному, тогда и на охоту ходить нечего,— сердито, может, даже зло говорю я Владимиру.— Нынче глухаря пожалел, завтра — волка.

— Волка-то не пожалею,— тихо отвечает Владимир и опять надолго замолкает.

Должно быть, он понимает, что злюсь я не столь на него, сколь на самого себя. Чего мне на него злиться, если стрелять в того глухаря у самого никакого желания не было?! В душе я хвалю Владимира и даже завидую ему: вот человек, который хорошо знает, что он хочет, и делает именно то, что хочет! Этого — не чего-нибудь, а этого — больше всего не хватает тебе, милый Витя!..

9

С каждым днем мне все трудней становилось жить как бы в двух измерениях: в том, прошлом, и нынешнем. Мне все трудней было «соединять» в своем восприятии ту Валю, какую я знал четыре года назад, и Валю нынешнюю. Теперь же, после сделанного мной «открытия»,

оставаться здесь дольше, сидеть по вечерам втроем за одним столом стало уж и совсем невмоготу.

Правда, я узнал, что при руднике была небольшая плохонькая гостиница и можно бы перебраться туда. Но одно дело поселиться в ней сразу, другое — переходить сейчас: вроде неудобно. Ох, уж эти наши житейские условности! И мне было бы куда проще, и Валя с Владимиром, наверное, вздохнули бы свободно; однако же узнай они о моем решении — обязательно стали бы отговаривать меня, потому что и им мое переселение тоже показалось бы неудобным...

Ну и то сказать: главное, ради чего я приехал сюда, было уже сделано. Словом, решил я возвращаться домой. Так на другой день вечером и сказал своим гостеприимным хозяевам:

— Гостям бывают дважды рады: когда они приезжают и когда уезжают.

Валя вскинула на меня глаза, и я увидел в них — а может, это только мне показалось — растерянность и смятение.

— Так ведь надольше же собирался, а и неделю не прожил.

— И в самом деле — чего вдруг заторопился? — поддержал жену Владимир.— Еще бы разок на охоту сходили. А?

Ну вот, все точно. Попробовал бы я заикнуться насчет гостиницы!

— Нет, ребята, спасибо, конечно, однако же надо ехать — дела,— соврал я.

— Дела подождут, а вот скоро ли тебе еще по тайге пошататься доведется — это вопрос.

Они еще долго — и совершенно искренне — уговаривали не торопиться с отъездом, и, откровенно говоря, меня это тронуло.

— Ну, уж если окончательно,— сказал Владимир,— тогда ты, Валя, что-нибудь вроде прощального ужина сочини, а я тем временем схожу чего-нибудь такого-эдакого к ужину куплю.

Владимир ушел, а Валя, вместо того чтобы заняться ужином, села напротив меня и, так же как в первый день, разглаживая рукой скатерть на столе, сказала:

— Я тебя, конечно, понимаю... Но как-то уж очень неожиданно... Да и не дела тебя ждут — ты и сюда-то при-

ехал не в гости, а по делам... Неужто так скоро соскучился?.. Или у нас что не понравилось?

Валя говорила прерывисто, напряженно, глаза — в стол, в скатерть, только раз подняла их на меня, и опять я увидел в ее взгляде ту самую,— значит, мне не показалось — жалкую растерянность. И еще раз подивился себе, почувствовав, как эта Валина растерянность сладко отозвалась в моем сердце: человек огорчился, а мне от этого радостно.

— Ну что ты, очень даже понравилось,— стал я утешать Валю. И вдруг, сам не зная зачем, сказал: — И Владимир понравился.

— Он у меня хороший,— тихо согласилась Валя.— И меня очень любит... Так любит, что наверное, того и не стою...— Она куда-то в пространство, отстраненно улыбнулась.— Ну, пойду ужин сочинять.

За ужином Владимир подробно расписывал мне прелести глухариной охоты и все подзадоривал:

— Много, ай много теряешь! Приедешь в Москву — жалеть будешь...

А потом, без всякого перехода и потому несколько неожиданно возгласил:

— Ну так что, за города будущего?!

— За возвратную любовь! — поднял и я свою стопку.

Владимир улыбнулся, как бы поддерживая мое дополнение к тосту, а Валя почему-то смешалась, вспыхнула, и хорошо, что Владимир, сидевший с ней плечом к плечу, не заметил этого.

То ли оттого, что выпили, то ли еще от чего, но был он в тот вечер веселее и оживленнее, чем обычно. И это было очень кстати: Валя по обыкновению больше помалкивала, мне тоже говорить почему-то не очень хотелось.

— Вот только уж очень туманно, очень неопределенно мы представляем себе эти города будущего,— смачно хрястая кочанную, собственного домашнего засола капусту, ораторствовал Владимир.— Да что будущее — о настоящем-то, о нынешнем, и то наши представления так смутны... Что я, неправ?

Владимир посмотрел на меня, на Валю и, убедившись, что никто ему не возражает, продолжал:

— Кто скажет, кто знает, каким должен быть современный город?! Мы можем только говорить, каким он

бывает, каким получается. Правда, говорим, пишем такие слова: современный город должен быть светлым, удобным, чтобы зелени побольше, воздух почище. И все это хорошо, все правильно, но это же подход... Ну, что ли, санитарно-утилитарный. А лицо — каким должно быть лицо города?!

Мне не хотелось ввязываться в спор, но Владимир и без того, чем дальше, тем больше горячился, словно старался заранее, загодя опровергнуть мои возможные доводы.

— Нет, что вы там ни говорите, а так-то мы беспечны, так-то беззаботны, когда дело касается красоты, что... э-э, ругнуться хочется. Мы рассуждаем так: мы еще не так богаты, нам еще не до жиру, сиречь не до красоты — побольше бы квартир настроить. И опять — что на это возразишь: квартиры действительно нужны. Но ведь дома-то эти, в которых квартиры, строятся не на год, а на века — каково в них будет жить, каково на них будет смотреть нашим потомкам? А если сюда добавить, что архитектура — отнюдь не нейтральна, или, как еще ученые люди говорят, не индеферентна, что архитектура воспитывает, то и сам собой встает вопрос: как и кого воспитает наша бездушная железобетонная архитектура, какие высокие мысли и чувства могут возбудить у человека наши стандартные коробки?

— Но, Володя...— начала было Валя.

— Что Володя! — не дал договорить жене Владимир.— Когда я вижу Василия Блаженного, Кремль, ну просто дом Пашкова в Москве или еще проще — обыкновенный крестьянский дом, что стоит на острове Кижи на Онежском озере, мне хочется снять шапку. Когда же я гляжу на наши жилые массивы, мне ту шапку снимать не хочется, а хочется надвинуть на самые глаза...

— Ну и зря,— все же договорила Валя.— А ты погляди на наши дворцы культуры, на театры — мало ли по-настоящему красивых?

— Маловато! — шумно вздохнул Владимир.— И иной раз хочется спросить: неужто у наших темных, как мы их привыкли считать, малограмотных, а то и вовсе неграмотных предков,— неужто у них потребность в красоте была больше, чем у нас?.. Жили-то они в десять, во сто раз беднее, и если бы не было у них той потребности — строили бы свои избенки кое-как, а всякие там

резные коньки, наличники да кружевные деревянные полотенца — зачем они и к чему?! И храмы тоже можно бы попроще — совсем не обязательно о двадцати двух верхах, поставили рубленый восьмерик, над ним маковку с крестом — и молись на здоровье. Так нет же, храм ли, простой ли дом возводя, наши предки еще и творили при этом красоту. У них, этих безымянных зодчих, даже что-то вроде своего неписаного кодекса было: строить, как мера и красота скажут. Звучит-то как: мера и красота!

Владимир сделал паузу и с явным удовольствием, с расстановкой повторил еще раз:

— Мера и красота! В двух словах — целая художественная программа, эстетическое кредо. А про нынешнее зодчество хоть и толстенные книги написаны, но где она, эта эстетическая программа, в чем она? Можете ли вы сформулировать ее с такой же исчерпывающей точностью и ясностью?

— Да что ты опять взялся, что ты, как прокурор али следователь, нас допрашиваешь? — шутливо огрызнулась Валя.

Владимир посмотрел на меня, на Валю, словно бы раздумывая, принять или не принять шутку, принял и первым же расхохотался. Можно было только завидовать вот этому умению Владимира легко и быстро переходить от одного состояния к другому. Счастливая черта характера! С таким человеком и другим легко. Это я по Маринке знаю.

— Однако же, ребята, факт остается фактом — мы и в самом деле строим города будущего... Я о другом. Стараемся, силы кладем, а потомки очень даже просто и спасибо нам могут не сказать — обидно! — опять посуровел, раздумчиво поглядел в темное окно.— А вдуматься поглубже — так и это еще, как говорится, полбеды...

О чем это он еще?!

— Эпоха Возрождения оставила нам великие памятники литературы, живописи, зодчества. И все главные... ну, что ли, идеи того времени сформулированы прежде всего и больше всего вроде бы в литературе. Однако же многое нам в ней уже далеко, а многое и не всегда понятно. Даже великий Данте и то требует пространных комментариев. А вот архитектуре тех веков и нынче не нужны никакие пояснения. И в той же Италии, во Флоренции особенно...

Тут Владимир, как бы останавливая самого себя, резко взмахнул рукой:

— Да что Италия — возьмем свою Россию... «Слово о полку Игореве» было создано почти в те же времена, что и киевская София. София даже еще лет на сто постарше. Однако «Слово» мы читаем уже в переводе. София же и до нынешних дней дошла без всякого перевода. Чуть не тысячу лет — подумать только тысячелетие! — те далекие времена через Софию шлют нам привет, подают свой голос, рассказывают о жизни, которая была давным-давно. А еще уже тысячу лет это чудо из камня воспитывает сменяющие друг друга поколения людей. Воспитывает красотой. И если бы даже — представим себе такое,— если бы «Слово» и не дошло до нас, мы бы все равно имели что сказать о том далеком времени, мы бы многое знали о нем по храму Софии...

Опять пауза. Я уже успел привыкнуть к этой манере Владимира говорить с остановками, с дальними заходами и не торопился перебивать или оспаривать. Эта манера словно бы размышлять вслух, на первых порах раздражавшая меня, теперь мне даже начинала нравиться: интересно было со стороны следить за ходом живой, словно бы на твоих глазах рождающейся мысли. Тем более что я уже знал: если Владимир о чем заговорил — значит, обязательно будет сказано что-то пусть неожиданное, может, даже очень спорное, но всегда свое собственное.

— Вот я и думаю: а что мы оставим идущим за нами поколениям? Вообще-то что-то оставим. Но что они, наши потомки, смогут сказать о нас?.. Представим себе на одну минуту: книг от нашего времени нет, картин нет — сгорели при каком-то там вселенском пожаре. Киноленты — тоже. Осталась одна архитектура, поскольку она железобетонная, несгораемая. Что она скажет нашим потомкам?.. Ну-ну, давайте,— как бы пригласил нас думать вместе с ним Владимир.— Скажет, что мы были зело наборзевшими в геометрии, в тонкостях знали возможности куба, параллелограмма и тому подобное. Еще? Еще потомки могут с похвалой отозваться о некоторых строительных материалах — о стекле, о пластике... Ну, а вот насчет того, чтобы наши параллелограммы и параллелепипеды поразили их своей красотой, как поражают нас и та же София и те же Кижи — в этом я как-то очинно

сумлеваюсь... Разве что понятия прекрасного к тому времени так изменятся, что и не разобрать будет, что красиво, а что нет...

— Опять ты сгущаешь, Володя! — возразила, хоть и не очень решительно, Валя.— Так уж ничего достойного в наше время и не строится! Так уж совсем?!

— Это верно, сгущаю,— улыбаясь, согласился Владимир.— Кое-что есть. Но — тоже согласись — не густо. Не густо по нашим ну, что ли, возможностям. И техническим и всяким иным. Я уж не говорю — по нашим масштабам. Больше, больше и лучше можем — да что можем — должны! — вот я о чем...

Что верно, то верно: и можем и должны!

Я слушал Владимира, и слушал вроде бы внимательно, но внимание мое шло как бы по поверхности его слов и мыслей, не проникая в глубину. Это происходило, наверное, потому, что мои собственные мысли в этот вечер занимал не столько разговор о городах будущего, сколько другое. Ведь этот вечер был последним, и у меня что-то щемило, щемило в груди. Забудусь на минутку, заслушаюсь Владимира, но то ли Валя что скажет, то ли просто взгляну на нее, и опять защемит-защемит...

— Ну, нынче мы постарались, так постарались! — продолжая улыбаться, перевел разговор на другое Владимир.— У моряков есть выражение: вступить в полосу шторма. Так вот, мы вступили в полосу штурма. За неделю, поди, столько не сделали. Еще таких два-три денька — и дом вершить будем... Да! Завтра день будет — это уж точно — горячим, так что ты уж извини — на проводы времени может и не выбраться. А Валя — тебе проще договориться со своим начальством — Валя проводит.

— Ну, какие еще проводы! — запротестовал я. — Подумаешь, министр иностранных дел дружественного государства. Прекрасно и сам уеду.

— Ничего, ничего, Валя проводит... Ну, а теперь, на прощанье, может, в шахматишки сгоняем, да и на боковую?

Валя начала убирать со стола, а мы сели за шахматы.

Играл Владимир, пожалуй, послабей меня; тактика его была простецки-бесхитростной: никаких тебе замысловатых ходов, никаких далеко идущих комбинаций. И однако же, партию он выиграл. Выиграл терпением и выдержкой, которых мне недоставало. А может, еще

и потому я проиграл, что не мог как следует сосредоточиться: глядел на шахматную доску, а думал о другом. Из головы не шло: «Ничего, ничего, Валя проводит...». В самом деле Владимир завтра будет так занят или здесь кроется что-то другое?

И вот мы с Валей на вокзале.

Билет куплен. Куплен в вокзальном ларьке местный сувенир — вырезанный из дерева медвежонок. Выпито по стакану фруктовой воды. Что еще? Вроде бы все сделано.

Мы выходим на перрон. Поезд должен вот-вот подойти. Еще сколько-то минут — и все. Мы расстанемся и вряд ли скоро увидимся. Увидимся ли вообще? В таких случаях надо, наверное, что-то говорить, но что сказать? Какие слова? Где они, эти слова? Слов, которые могли бы выразить, что я сейчас думаю и чувствую, нет. Человеческий язык, в сущности, не так уж и богат...

Может, то же самое думает и чувствует в эту минуту и Валя?

Нет, мы вообще-то не молчим, разговариваем. Но говорим о какой-то ерунде, мелочи, вроде, день нынче с утра жаркий, или о том, что в Москве сейчас еще раннее утро, солнце только-только восходит. Говорим еще какие-то слова... Но думаем-то, конечно, не об этом, думаем совсем о другом. Но как сказать про то, другое? Как сказать? И надо ли говорить?

Валя отводит взгляд в сторону, словно боится, что я прочитаю в ее всегда правдивых и откровенных глазах то, что знать мне не надо. Смотрит все куда-то вдоль полотна, туда, где уходящие на запад, на Москву рельсы, кажется, вот-вот должны сойтись, сомкнуться. Смотрит долго, пристально. В конце концов не выдерживает, поднимает глаза на меня, и я вижу в них слезы. И словно бы не было никаких четырех лет — я вижу опять ту Валю, какую знал в Москве, какую любил, и сам не знаю — не знаю и до сих пор,— почему обошел стороной... Как понимать эти слезы?

Но я уже не имею времени ответить себе, разобраться в нахлынувших на меня чувствах — к станции неумолимо, железно приближается поезд. Поезд, который сейчас, через какую-нибудь минуту-две, меня увезет...

— Одного я и тогда не поняла...— Валя говорит глу-

хо, трудно, словно в крутую гору подымается.— Одного я тебе долго не могла простить... Ну, другая понравилась больше меня — что тут поделаешь?! А вот что узнала об этом от Кости, а сам ты сказать храбрости не набрался — как-то очень нехорошо это... Нехорошо и обидно... Если бы я тебя не любила!.. Ну вот. Какой у тебя вагон, пятый? Садись, а то ведь поезд стоит недолго... До свиданья, Витя.

— До свиданья, Валя.

Я берусь за поручень, заношу ногу на ступеньку. Но чего-то медлю, медлю и, не выдержав, резко оборачиваюсь. Валя стоит на том же месте, у зеленого штакетника, и глядит на меня. Так глядит, что я отпускаю поручень и бегу назад к Вале, обнимаю и целую ее в мягкие горячие губы. Я понимаю, что делать этого и нельзя (у всех на виду!) и вообще не надо, ни к чему — все это я очень хорошо понимаю, однако же сладить с собой не могу. Валя не отстраняет меня, я, кажется, даже чувствую ответное движение... Но поезд уже дает свисток и трогается.

Вот и станция стала невидной, и весь город скрылся за поворотом пути, а я все еще стою на площадке вагона и гляжу туда, в ту сторону, где, может, тоже еще стоит у зеленого штакетника и глядит вслед ушедшему поезду Валя...

10

Поехал я в город будущего, а вышло так, что съездил вроде бы в свое прошлое. И это прошлое так плотно обступило меня со всех сторон, что сквозь него я и хочу и никак не могу пробиться в настоящее, в нынешний день. То одна, то другая картина всплывают из той дальней дали, встают перед глазами и не уходят, а если и пропадут на какое-то время, то снова и снова возвращаются. И от этих воспоминаний и сладко и горько, и чего больше — радости или печали — не разобрать.

А пора бы, давно пора вернуться в нынешний день. Скоро Москва. Маринка небось уже собирается ехать встречать меня. Может, вот в этот самый час сидит перед зеркалом и каким-нибудь особым образом укладывает волосы или примеряет кофточку...

Маринка, поди, удивилась моей телеграмме: ведь со-

бирался я пробыть в поездке еще с добрую неделю. И уж, конечно, по-своему истолковала мое досрочное возвращение: соскучился. И очень радуется этому: ведь не вообще, а именно по ней соскучился...

Однако вот ты так говоришь про Маринку, а ведь, положа руку на сердце, и в самом деле успел соскучиться. А может, это потому, что за четыре года надолго разлучаться не приходилось...

Скоро Москва. И опять московский темп жизни, московские дела и заботы. А еще и другой образ жизни. Так запросто за чаем, как мы сидели втроем с Валей и Владимиром, уже не посидишь. И атмосфера за столом не та, и все — другое...

Соскучиться-то по Маринке я, конечно, соскучился, мне хотелось ее видеть, слышать ее голос. Но я, может, вот только сейчас понял, почувствовал, как не хочется мне видеть ее воспитанную, образованную маму, как не хочется возвращаться в нашу великолепную квартиру...

Скоро Москва...

А вот уже и Москва!

Маринку я увидел еще из окна вагона. И она, конечно, не стала дожидаться меня на перроне — куда там! — ей надо было обязательно, во что бы то ни стало вскочить на площадку и протолкаться сквозь встречный поток выходящих. Ее ругали, ей приходилось перелезать через узлы и чемоданы, но уж зато какой счастливой от сознания совершенного подвига она себя чувствовала, когда наконец прорвалась через все преграды и повисла у меня на шее!

— Ну, как тайга? Медвежонка не привез?

— Тайга шумит. А вот тебе и медвежонок,— я достал из кармана сувенирного, прямо сказать, грубовато сделанного медвежонка, которого мы с Валей купили на вокзале, и протянул Маринке.

— Какое чудо! — восхитилась Маринка.

И не понять было, то ли и впрямь ей так уж понравился медвежонок, то ли нравилось изображать вот этот детский восторг.

Мы вышли на перрон. Я сказал, что за такси, наверное, как всегда, очередища, так что лучше всего спуститься в метро.

— Никакого метро. Вам, синьор, подан персональный «Альфа-Ромео»,— Маринка сделала церемонный, реве-

ранс и покрутила на пальце ключ от зажигания.— Прошу.

— Ну, это ты зря,— сказал я сердито.— Сколько раз уже было говорено: машина не твоя, и не моя, и нечего.

— Ну, а если папа разрешил? — обиженно протянула Маринка.

— Мало ли что разрешил,— сказал я уже не так сердито.

Маринка обижается, как маленький ребенок, и мне всегда становится жалко ее. Да и что, в сущности, произошло? Машина все равно стоит без дела, а для Маринки покрутить баранку не только удовольствие, а и великое счастье — пусть ребенок тешится.

Садясь за руль, Маринка всегда делала ужасно серьезное лицо, словно бы отрешалась от всяких побочных, неводительских эмоций. Вот и сейчас только что шла со мной рядом Маринка, а вот уже и нет ее — за рулем сидит недоступный, с прихмуренными бровями водитель.

Мы едем широким Садовым кольцом. И я ловлю себя на мысли, что мне приятно, мне нравится вот так сидеть и ехать в машине, да еще рядом с такой красивой женщиной. И когда на одном из перекрестков я перехватил восхищенно-завистливый взгляд какого-то мужчины из стоящей рядом машины, этот взгляд словно бы подбавил мне и радости и сознания собственной значительности...

А чуть-чуть вдуматься — на кой черт мне нужно все это? Зачем мне нужно с помощью какого-то беглого, двусмысленного взгляда какого-то неизвестного мне дурака утверждаться в сознании собственной значимости? Видно, не так уж и велика эта самая значимость и ты сам в нее не очень-то веришь, если тебе нужны такие подтверждения? И не стыдно ли, не стыдно ли тебе утверждаться вот таким низким, таким фальшивым образом — ведь ты даже и едешь-то не в своей, а в чужой машине?! Останови машину и вылезь из нее, если ты действительно хочешь хоть что-нибудь значить!.. Вылезь немедленно!

Ну, хорошо, вылезу. А что это изменит? Что изменит? Молчишь? Ну то-то же...

Нет, не из машины надо выходить — тебе уйти бы из того великолепного, но чужого, чуждого тебе дома, в котором ты так уютно устроился. Машина — только один из атрибутов этого дома, этого уютного житья-бытья. Но куда уйдешь, если в том доме живет Маринка, которую папа с мамой никуда от себя не отпустят? А если уж до

конца — и сама Маринка из этого дома никуда не пойдет. Нет, не пойдет!

И получается замкнутый круг.

Не из машины — из этого круга бы тебе вырваться!

— Ты что такой хмурый да сердитый?

Я все забываю, что Маринка в свое водительское зеркальце может видеть меня, даже и не оборачиваясь.

— Устал с дороги, наверное,— говорю я первое попавшееся.— Все же Медвежьегорск — не Малаховка.

— Ну ничего, отдохнешь. Мама сейчас нас накормит вкусным обедом.

«От твоей мамы отдохнуть бы — это да! Согласился бы оставаться и вовсе без обеда...»

— Ну вот и приехали... Ты поднимайся, а я поставлю машину.

Квартира на третьем этаже, и я обычно обхожусь без лифта.

Звоню. Эх, если бы открыла Маша!.. Нет, даже через дверь, даже по тому, как щелкают замки и засовы, слышу, что открывает мне сама Альбина Альбертовна.

— А-а, Витюша! — поет она медовым контральто.— Проходи, родной, раздевайся. Угадал как раз к обеду. Проходи...

Я переступаю порог, ставлю чемодан, но проходить, само собой разумеется, никуда не прохожу. Это только так говорится: проходи. Переступив порог, ты должен тут же и неукоснительно раздеться. И мало снять пальто и шапку — долой и ботинки, надень тапочки: вон они выстроились в ряд, как на магазинной полке, на все возможные и невозможные размеры. Словом, знай, что ты переступил порог не квартиры, а храма чистоты. Знай и помни об этом особенно твердо, когда встречает тебя на пороге сама жрица храма Альбина Альбертовна!

Вон Маринка вбежала следом за мной и, заторопившись, хотела прямо в туфлях протопать в комнату — не тут-то было.

— Мариночка, Мариночка, да ты с ума сошла! — ужаснулась Альбина Альбертовна.— Погляди, какие лужи оставляешь за собой. Маша подотри, пока не растеклось.

Лужами Альбина Альбертовна называла едва различимые невооруженным глазом влажные пятнышки, но не вздумай и заикаться насчет пятнышек: если Альбина

Альбертовна видела на блестящем паркете лужи,— значит, там и были именно лужи, а не что другое.

Николай Юрьевич вышел из своего кабинета, поздоровался и точно так же, как Маринка на вокзале, спросил:

— Как тайга? Как Медвежий город? — потер натруженное тяжелыми очками переносье, улыбнулся.— Прочитал я сейчас, ребята, интересную штуку...

Николай Юрьевич, в отличие от супруги, говорил нам не «дети», а «ребята», и это мне нравилось куда больше. А еще мне нравилось, когда он, как вот сейчас, выходил из кабинета в гостиную, снимал очки и, потирая переносицу, сообщал: «Прочитал я сейчас, ребята, одну любопытную штуку...» — это значило, что он сейчас расскажет что-то очень интересное, о чем ты и слыхом не слыхал.

— Таутенбергская обсерватория — это в ГДР — получила фотоснимок туманности Андромеды. А до туманности этой, доложу я вам, не далеко — не близко — два миллиона...— Николай Юрьевич сделал выразительную паузу.— Нет, не километров — если бы километров! — два миллиона световых лет. Попробуйте хотя бы мысленно представить себе это расстояние! — Николай Юрьевич опять помолчал, как бы давая нам возможность представить ту фантастическую даль, о которой он говорил.

— И что же получается?..

— А получается то, что спускаетесь с небес на землю: обед готов, садитесь за стол,— довольно бесцеремонно, хотя по виду, по тону приветливо и ласково оборвала мужа Альбина Альбертовна.— Марина, не забудь помыть руки.

— Мамочка, мне же не пять лет... Ну-ну, папа, так что же получается?

— А я уже сказала, что получается,— в голосе Альбины Альбертовны зазвучали металлические нотки.— Марш за стол! Туманность ваша никуда не уйдет и ничего с ней не поделается, а цыплята могут подгореть.

Николай Юрьевич развел руками: приказ есть приказ, и надо ему подчиняться...

— В другой раз...

Самое простое — продолжить бы разговор за столом, но Альбина Альбертовна придерживалась на этот счет другого мнения: за обеденный стол садятся, чтобы есть, а «не пускаться в философию», иначе чем же он будет от-

личаться от рабочего, письменного стола? Принятие пищи — это своего рода священнодействие. За посторонними разговорами ты можешь проглотить великолепный антрекот, даже как следует не ощутив его вкуса, главное же, не прочувствовав всего того, что вложил в это блюдо его творец — Альбина Альбертовна...

Было, правда, тут и еще одно чисто практическое соображение. Николай Юрьевич, увлекаясь разговором, начинал жестикулировать и один раз опрокинул стакан со свекольным соком, в другой — пролил на скатерть соус для судака по-польски. А отстирывать скатерть тоже дело не простое.

Итак, за обеденным столом разрешалось: восхищаться тонким художественным вкусом общей сервировки, хвалить хозяйку за высокое мастерство в приготовлении того или другого блюда и даже просить добавки, правда, не слишком увлекаясь.

Всячески поощрялось также проведение параллелей такого примерно характера: ну, что бы значило — в ресторане, даже в приличном ресторане, не говоря уже о каких-то там кафе и столовых, из такого же, казалось бы, куска мяса готовят что-то среднее между мочалкой и подметкой из микропорки, здесь же у тебя на тарелке — подумать только, из такого же куска мяса!— благоухает нечто нежное на вкус и ароматное на запах... Ну и так далее в таком же примерно духе.

Что же до разговоров на темы, непосредственно не связанные с обеденным ритуалом, то тут чаще всего в ходу были злополучные сводки погоды.

— Смотри-ка, что творится: обещали незначительные осадки, а дождь льет как из ведра. Тоже мне, академики-предсказатели!

Академиков Альбина Альбертовна вроде бы и не совсем кстати упомянула потому, что, по ее глубокому убеждению, Николая Юрьевича давно следовало бы из профессоров *перевести* в академики, и не делалось это лишь по той причине, что все *места были уже заняты*, а кто же добровольно откажется от такого высокого и такого теплого местечка!

Тема погоды в нашем застолье была, можно сказать, вечной, поскольку каждый новый день давал для нее и новую пищу.

Но сама Альбина Альбертовна могла позволить себе

затрагивать и другие. Даже научные. Вот и нынче она сказала:

— Твой-то Борис-то Наумыч — слышал? — свою же кандидатскую диссертацию, говорят — вот ловкач! — раздул еще на сотню страниц и теперь представляет как докторскую.

Значительный взгляд в сторону мужа:

— Вот у кого тебе надо учиться! Туманность Андромеды...

— Да чему ж тут учиться, Аля? — Николай Юрьевич смущенно разводит руками: в одной — нож, в другой — вилка.

— Чему, чему! Учиться жить! Ты думаешь, работа — и все? Нет, надо еще и уметь жить. А то вон твои дружки-однокашники уже давно в академиках сидят, а ты даже еще и не член-корреспондент.

— Ну и бог с ними, сидят. В науке важен не чин, а...

— А почему тогда по-разному платят? — Альбина Альбертовна частенько пускает в ход этот неотразимый довод. — То-то! Сказать-то и нечего...

Видя, что разговор начинает принимать слишком серьезный, а значит, и отвлекающий от вкушения пищи оборот, Альбина Альбертовна, как опытный кормчий, переводит его из высоких научных сфер в иную плоскость:

— Надежда Павловна — ну та, у которой муж в Вопропинзе работает — купила накидку из соболей, а соболи оказались молью траченные... Кругом одно жульство.

— Мама, а что такое Вопр... Ну, то, что ты сказала?

— Вопропинз? Тебе бы и самой, детка, знать следовало, высшее образование имеешь. — И с явным удовольствием, с таким видом, точно она объясняла нам вещи, пониманию не каждого смертного доступные и уж во всяком случае куда более сложные, чем какая-то там туманность Андромеды, Альбина Альбертовна популярно расшифровала: — Вопропинз — это Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний... Теперь его, слава богу, кажется, как-то покороче стали называть.

Нынче на второе — мое любимое блюдо: цыплята табака. Маловероятно, конечно, что приготовила их Альбина Альбертовна по собственному почину в мою честь — всего скорее Маринка, чтобы сделать мне приятное, упро-

сила. Но угощает меня обедом не Маринка, а хозяйка дома, и получается, что сама хозяйка дома проявила обо мне такую трогательную заботу.

Цыплята выше всяких похвал. Надо отдать должное Альбине Альбертовне: умеет она их готовить! Умеет не хуже, если не лучше, чем в знаменитом на всю Москву ресторане «Арагви», знаменитом именно этим фирменным блюдом. Выдержанные в специальных рассолах, благоухающие пряными специями, цыплята были в меру поджарены, но — упаси бог! — не засушены, янтарная корочка лишь слегка похрустывала, а под ней розовело сочное нежное мясо. А еще ведь рядом, на той же тарелке лежала какая-то пахучая кавказская травка, еще ведь к цыпленку был подан и специальный соус...

Мне подумалось, что цыплята были бы, наверное, еще вкуснее, если бы сидел я сейчас не за этим, а за другим, за *тем* столом... Я попытался вспомнить, кто же был главным за тем столом, кто задавал тон, и не нашел главного. Там никаких главных вообще не было, председательское место и за столом и во всем доме было свободным, и никто к нему не рвался. Здесь Альбина Альбертовна не только была верховным главнокомандующим, но и ревностно следила, чтобы никто, даже в мелочах, чаянно или нечаянно, не посягал на ее непререкаемый авторитет.

Собственно, «никто» — это Николай Юрьевич. Мы с Маринкой — не в счет, мы — дети. Маринке иногда под горячую руку и хотелось в чем-нибудь пойти против матери, однако дело кончалось тем, что, может, и не в эту минуту, не в этот час, но торжествовала железная воля Альбины Альбертовны. Так что в конце концов Маринка пришла к выводу, что «самой же дешевле» жить с матерью в мире и согласии. Я и тем более ни в чем не мог не только поступить против всевышней воли моей богоданной тещи, но даже и под ту же горячую руку сказать ей что-нибудь резкое. Тогда и без того не очень сладкая жизнь в этом доме превратилась бы уж и вовсе в войну нервов. Выбор был только такой: или ты резко хлопаешь дверью родного Маринкиного дома и уже больше в него не возвращаешься, или живешь в этом роскошном, с блеском обставленном монастыре по тому уставу, который тут принят.

Мне было обидно, мне казалось вопиющей несправедливостью, что не восстанет против слепого диктата суп-

руги Николай Юрьевич, который и по уму и по всему, не говоря уже об образовании, был... ну, что тут сравнивать, когда и сама Альбина Альбертовна, наверное, понимала, что любое сравнение будет не в ее пользу... Впрочем, еще как сказать. Всего-то скорее она никакой несправедливости тут не усматривала, а, наоборот, видела как раз торжество справедливости, поскольку пребывала в неколебимой уверенности, что дом держится ее, и только ее, радением.

Нет, Альбина Альбертовна была не настолько глупа, чтобы не понимать, что как там ни что, а и мебель и те же неподражаемые цыплята табака покупаются на деньги, зарабатываемые Николаем Юрьевичем. Так что в известной мере он не такая уж никчемная спица в семейной колеснице. Но вместе с тем она и сама свято верила и внушала эту веру окружающим, что если бы деньгами распоряжался Николай Юрьевич, если бы не ее хозяйственная мудрость и прозорливость, не только не было бы великолепной обстановки или цыплят табака — не было бы вообще этой квартиры: муж-недотепа без ее мудрых наставлений попросту не сумел бы ее получить. А уж какая там мебель, какие табака — Николай Юрьевич питался бы всухомятку и давно нажил бы язву или вообще умер голодной смертью. И уж, конечно, дочери он тоже не смог бы дать образование: кто не знает, что в наше время для поступления в институт мало одного аттестата... Нет, если бы не она, Альбина Альбертовна, не ее кипучая энергия и самоотверженность — дом давно бы рухнул, а семейный очаг потух. И еще надо посмотреть, дослужился бы Николай Юрьевич до звания профессора без ее моральной и всякой другой поддержки, без ее связей с нужными людьми. Это еще вопрос, сумел ли бы он в свое время защитить диссертацию...

Так что какое там восставать — Николай Юрьевич должен по гроб жизни быть благодарен ей за то, что она добровольно взвалила на свои плечи все многотрудные семейные заботы и хлопоты, а он может себе сидеть в кабинетике и что-то там пописывать, книжечки почитывать. Или, как час назад, про туманность Андромеды распространяться. Подумаешь, туманность! Да будь у нее столько же свободного времени, она, может, не только какую-то там туманность разглядела — она бы новую звезду открыла!..

Ну, может, и не точно в таких словах, но по смыслу то же самое нам, живущим под водительством Альбины Альбертовны, приходилось слышать довольно часто. Слышать от нее же самой. Она не упускала даже малейшей возможности напомнить о своей заглавной роли в доме, причем не только в узком семейном кругу, но и при гостях, при знакомых и незнакомых.

И самое удивительное во всем этом было то, что многие знакомые уверовали в ее высокую миссию и считали, что Николаю Юрьевичу просто повезло. Про жен знакомых и говорить не приходится. Они поглядывали на Николая Юрьевича глазами, в которых женская жалость (бедненький, неприспособленный!) смешивалась с самодовольной гордостью за свою сестру: ничего, Альбина Альбертовна не даст тебе пропасть...

— Витя, может, тебе еще положить, а то, поди, заморился в своей тайге?

От всевидящего ока Альбины Альбертовны, как всегда, ничего не ускользает. Она, конечно, видела, с каким удовольствием я съел цыпленка и даже обсосал мягкие косточки. И, честно признаться, я посмаковал бы еще хотя бы крылышко. Но что-то мешает мне сказать «да», и я благородно отказываюсь.

Между тем Маринка, тоже видя, как решительно я расправился со своим цыпленком, и слыша, как нерешительно прозвучал мой благородный отказ,— Маринка тоже, как всегда, спешит мне на выручку:

— А вот я все равно никак не могу осилить, уж очень здорового ты мне положила... Витя, помоги.

Я охотно «помогаю» Маринке, хотя и знаю, что такая взаимопомощь вызывает явное неудовольствие Альбины Альбертовны.

— Здорового положила!— ворчит она.— Тебе тоже калории нужны, организм молодой, требуется.

— А сейчас модно худеть,— переводит Маринка, как всегда, разговор в шутку.— По статистике, худые, говорят, дольше живут...— И вдруг без всякого перехода: — Папа, а что, если на Марсе и в самом деле люди живут?

— Вполне возможно, хотя единого мнения на этот счет среди нашего брата нет. И вот представьте себе...

— Кому еще компоту?— спрашивает Альбина Альбертовна, что в переводе на семейный диалект звучит при-

мерно так: нечего тут про Марс турусы на колесах разводить, отобедал и — марш из-за стола.

Что мы и делаем.

— Спасибо, мама!— Маринка первой поднимается.

Я тоже говорю «спасибо» — а как же иначе!— и тоже встаю.

Слава богу, обеденный прием пищи окончен!

Мы идем с Маринкой в свою комнату.

11

Только здесь, в нашей комнате, я испытываю хоть какое-то, хоть и весьма относительное, но все же чувство свободы. Воспитанная Альбина Альбертовна почитает за непреложное правило при нас не заходить в комнату, а в случае необходимости зовет меня или Маринку через дверь. Здесь можно без помех заниматься делом, можно дурачиться, слушать магнитофон. Здесь же мы принимаем и своих друзей.

Едва я закрыл дверь, Маринка, как и в вагоне, кинулась мне на шею. Я качнулся, потерял равновесие, и мы повалились на диван, который служил нам и кроватью.

— Фу, от тебя тайгой пахнет,— Маринка сделала вид, что толкает меня в грудь.

— Какой там тайгой — вагоном.

— Тогда — марш в ванну. А я тем временем разберу постель.

— А не рано?

— Что рано?

— Ну... спать-то.

— Спать-то совсем и не обязательно... Дурачок, я же по тебе соскучилась...

Когда, после ванны, я в пижаме вхожу в комнату, Маринка уже лежит в постели: голые руки выложены на одеяло, и в них какой-то — то ли французский, то ли итальянский — журнал мод.

— Как тебе нравится, Витя, вот этот купальничек? Здесь такая узенькая полоска вместо лифчика, а трусики в ансамбле с коротенькой юбочкой...

— По-моему, это слишком старомодно. В таких юбочках, ну разве чуть-чуть, самую малость подлиннее, сейчас уже ходят по улице Горького...

— Так что же, ты бы хотел, чтобы и здесь была одна полоска?

— Это не так уж и важно, что я бы хотел, важно, что хотят женщины. А женщины в последнее время, как я понимаю, бьются над разрешением, в сущности, неразрешимой проблемы: они хотят одновременно быть и одетыми и раздетыми...

— Чего ж тут неразрешимого-то? Была я одета, а вот сейчас раздета...

— Вот и хорошо, что раздета,— говорю я и ныряю к Маринке под одеяло. Мне не хочется продолжать этот разговор.

— Нет, ты ответь!

Мне не хочется отвечать. Мне хочется вот так лежать и обнимать горячее Маринкино тело.

— Давай поиграем в нашу игру,— Маринка откладывает журнал на стоящий рядом с диваном столик и прижимается ко мне.

Игра состоит вот в чем.

— Поцелуй меня,— говорит Маринка.

И я ее целую. В плечо, в грудь, в губы.

— Теперь я тебя... Теперь оба мы поцелуемся...

Дальше уже никакой очередности не соблюдалось.

Дальше наступали такие минуты полного счастья, которые я буду помнить, наверное, и в свой последний час. В такие минуты мне иногда казалось, что вот еще немного — и у меня прервется дыхание и я могу умереть, но даже мысль о смерти совсем не пугала: умереть от счастья — можно ли пожелать себе лучшей смерти?!

В любовных утехах Маринка была неутомима. Я всегда сдавался первым. Но она умела опять увлечь, опять расшевелить...

В такие минуты я полностью утрачиваю ощущение времени. Сколько уже прошло — час, три? Неизвестно. Только когда очнешься — видишь, что уже наступил вечер; в комнате скапливаются сумерки, а на окно лег слабый отсвет уличных фонарей.

Сладкая истома разливается по всему телу. В голове легкое кружение, полусвязные мысли — даже и не мысли, а только обрывки мыслей — текут словно бы сами собой, не задевая сознания. Ты словно бы прислушиваешься к тишине. К тишине, которая не где-то в комнате или за ее стенами, а которая наступила в самом себе. От

этой тишины, от учащенного тока крови позванивает в ушах...

— А ты мне так и не ответил на вопрос,— вспоминает Маринка.— В чем же тут неразрешимая проблема?

— Да в том, что нынешняя женщина хочет быть и одетой и раздетой одновременно.

— То есть?

— Ну, она понимает, что ходить голой и не совсем удобно и малоинтересно. Она одевается. Но одевается так, чтобы не дай бог какие-то ее женские прелести оказались скрытыми от стороннего, а точнее сказать, мужского глаза.

— Да ты забыл, еще двести лет назад дамы света обнажались чуть не до пояса.

— Все-таки только до пояса. Хоть какая-то, ну, что ли, тайна оставалась. А нынче — вот тебе плечи, вот тебе грудь, а вот, пожалуйста, и ноги до самого того места, из которого они растут...

— А не попахивает ли от этих твоих слов, Витя, ханжеством?

— Вот-вот, любимая присказка, любимый жупел!.. Только самые примитивные, самые пустопорожние модницы могут видеть в голых коленках этакий дерзкий вызов ханжеству. Непроходимая глупость все это. Да можете укоротить свои юбки еще на сколько вам хочется, можете вообще один блезир от них оставить, как у фигуристок — на здоровье!

— Так что же тебе не нравится, что-то я не пойму?

— А то мне не нравится, что уж очень низко себя ваш брат — или как там надо говорить: ваша сестра? — ставит... Ты знаешь, как обижает женщину, когда мужчина видит в ней прежде всего и только женщину. Она же сама возмущается: а, ты во мне только бабу видишь, а не человека...

— И правильно обижается.

— И я считаю, что правильно. Но зачем же тогда одеваться так, что за версту видно, что мне навстречу идет женщина, зачем всем своим видом кричать на всю улицу: я — женщина! Еще когда я разгляжу, да и сумею ли разглядеть в ней человека! Согласись, не так просто что-то там разглядеть, когда тебя стараются еще издали ослепить. Ослепить теми же коленками или чем другим... Так, спрашивается, чего же тут обижаться-то? Пеняй на себя,

если сама же так высоко ставишь в себе женщину и так низко — человека, если женское в тебе идет как бы впереди человеческого. Надо бы в ногу!..

— Ты, Витя, какой-то злой приехал.

Маринка точно сказала: говорил я если и не зло, то сердито. А ведь, разобраться, речь зашла всего-то о купальных костюмах... Откуда у меня этот сердитый запал, зачем он? Кому ты и что хочешь доказать?

— Так ты считаешь, что мне надо юбки подлинней?

Детская Маринкина логика: говорили о женщинах; я — женщина; значит, говорили и лично обо мне.

— И совсем я ничего не считаю. Разговор-то шел вообще. Носи, какие тебе нравятся.

— Все равно ты злой.

Я не вижу Маринкиного лица, но по ее тону мне легко представить, как обиженно надула она губы, и сейчас, наверное, демонстративно отвернется от меня.

— Как тебе не стыдно? Я по тебе соскучилась, а ты...

Я оборачиваюсь к Маринке. Ну, конечно, как же иначе! В глазах у нее — не очень хорошо, но все же видно — стоят слезы. Как же иначе! Кто еще умеет вот так — в какую-нибудь минуту — переходить от бурной радости к горькому горю! Обычно у людей это проходит вместе с детством. Маринка осталась ребенком и по сей день. Ее переживания, ее чувства как бы еще не успели уйти в глубину, все — еще на поверхности, все открыто, как и в пять или десять лет. Хорошо это или плохо? Не знаю. Но мне эта Маринкина открытость, эта ее детскость очень нравится. Мне нравится утешать ее и потом видеть столь же быстрый переход от горя к полному счастью.

Я поцеловал соленые Маринкины глаза.

— Ну чего ты огорчилась, глупышка? Разве ты не видишь, что и я по тебе соскучился... Чуть не на неделю раньше вернулся.

— А я уж подумала, может, кого встретил.

— Ну вот, еще глупости! Кого я мог встретить...

Говорить-то я так говорю, а про себя думаю: ты смотри, наивная Маринка — ну, прямо читает мои мысли!..

Еще в вагоне я долго раздумывал над тем, говорить или не говорить ей о встрече с Валей. И первой мыслью было: ну, конечно же, сказать — что ж тут такого. Видеть Валю Маринка не видела, но когда мы поженились,

я ей рассказывал про нее. Так что все очень даже просто: неожиданная встреча через много лет — забавно!.. Однако же я понимал, что не могу сказать Маринке, как, прощаясь с Валей на той таежной станции, целовал ее, потому что не только Маринке — самому себе и то я не смог бы объяснить, зачем и почему это сделал. Не мог я рассказать и еще многое. А говорить полуправду — наверное, лучше совсем не говорить...

Но и совсем не говорить тоже нехорошо. Получается, я что-то скрываю от Маринки. Вот сейчас думаю, а мысли эти скрываю. Да и если бы только сейчас — я знал, твердо знал, что теперь часто буду думать о Вале, вспоминать ее. А Маринка — разве я не знаю свою Маринку, не знаю, какая она чуткая? — она вот и сейчас чувствует, что не весь я с ней, и всегда будет знать это, знать не умом, а сердцем... Так что лучше сказать. Да и чего такого, если сказать? В конце-то концов Валя ведь тоже замужем, у них даже ребенок есть.. Но как я себя ни уговаривал, сказать о встрече с Валей мне что-то все-таки мешало. Может, как-нибудь потом, к слову... К слову! Зачем хитрить, будто тебе не ясно, что чем дальше, тем сказать об этом будет труднее...

— Я тебя больше не буду отпускать так надолго,— Маринка обняла меня и крепко-крепко стиснула, словно хотела показать, как крепко она будет теперь держать меня около себя.— Ты меня тоже обними... Еще крепче... А теперь поговори со мной.

— Давай поговорим...

Я сказал «давай поговорим» и осекся. О чем? Нет, вообще-то мало ли о чем можно поговорить. Обязательно найдется, о чем поговорить — вон сколько не виделись. Но, оглянувшись на нынешний день, я, к немалому удивлению своему, не мог вспомнить из наших с Маринкой разговоров ничего такого, что бы хоть как-то, хоть каким-то боком выходило за рамки обыденности, если не сказать обыденщины. Наши разговоры, в сущности, мало чем отличались от тех, которые велись за столом и направлялись мудрой рукой Альбины Альбертовны. Я стал вспоминать и не вспомнил, чтобы за день высказал хоть какую-то — пусть даже совсем не великую — мысль, если не считать разговора о женских купальниках. За весь день мне попросту не представился такой случай, такой «предлог», когда надо было высказывать какие-то свои

взгляды или мысли. Про Маринку и говорить не приходится.

На какую-то секунду я увидел себя в вагоне. Я вспомнил, как мне хотелось скорее очутиться рядом с Маринкой, я даже не раз мысленно представлял себе, как мы будем с ней валяться на нашем диване, как она мне скажет «давай поиграем в нашу игру»... Но я не мог вспомнить, чтобы мне хотелось, чтобы мне мечталось к тому же еще и поговорить с Маринкой о том или о сем.

— Что же ты молчишь, Витя?

— Что?

Оглушенный своим «открытием», я не сразу понял, о чем меня спрашивает Маринка.

— Я говорю, что молчишь?

— Да вот думаю...

Я думал. Я думал, как же это получается: с чужими людьми мне было интересно часами, целыми вечерами говорить о самом разном. Я ждал этих вечеров. А вот с близким человеком я не знаю, о чем разговаривать, я спрашиваю себя: о чем бы поговорить. Как же это так получается? Это же очень нехорошо получается...

Сейчас ужасно модным стало словечко «информация». Его склоняют и так и эдак, ему уже приписывают значения, которые еще недавно числились вроде бы за другими словами. Теперь несовременно говорить про каких-нибудь языкатых кумушек, что они сплетничают — они обмениваются информацией. Студенты уже не учатся, не слушают лекции — они получают информацию. От романов и картин и то норовят получить не эстетическое наслаждение — это старомодно!— а все ту же информацию. Всем хочется в минимум времени получить максимум информации, а потом сами же жалуемся на ее переизбыток... Так вот неужто весь наш разговор с Маринкой сводится к этой самой информации? Не к обмену мыслями, а к информации о том, где, что и с кем из родных и знакомых произошло, кто, что и почем купил, кто и в чем преуспел...

— Расскажи, как ты там жил, что интересного видел. Там холоднее, чем в Москве, или так же.

Все правильно. Маринке хочется получить информацию о моей поездке. Что ж, пойдем навстречу ее пожеланиям.

И я начал рассказывать, как я *там* жил и что видел...

12

Несколько дней ушло на всякую беготню, на различные согласования в инстанциях, и вот только теперь я сел за свой проект. Сел с удовольствием и даже некоторым нетерпением. Не то чтобы мне хотелось поскорее выполнить работу — не терпелось поскорее ее начать.

Пока что дело подвигалось медленно. Начало всегда — самое тяжелое. Ты еще не столько чертишь, сколько думаешь. А когда ты и час и три просидел над чистым листом и лист этот так и остался чистым — тебя уже один вид его начинает если и не пугать, то во всяком случае настраивать не самым лучшим образом. Тебя начинают одолевать сомнения, тебе уже начинает мерещиться, что лист этот останется чистым и завтра и послезавтра...

Трудно, очень трудно делать первый, самый первый набросок! Когда он уже сделан — ты можешь его исправлять, переделывать, и переделывать так, что от него потом мало, а может, и вовсе ничего не останется, а получится что-то совсем другое. Но это другое, хоть оно и будет лучше, совершеннее первого — иначе зачем бы переделывать?! — это другое всегда легче. Даже самая дальняя дорога, говорят, начинается с первого шага, и первый шаг этот всегда труден. Особенно если дорога тебе еще неведома, если идти можно на все четыре стороны и ты еще не выбрал ни одну из этих сторон. Первоначальный набросок — это и отправная точка, и выбор направления твоей мысли. Потом-то мысль может пойти очень далеко, но кто укажет эту исходную точку, кто должен указать направление?!

Осложнялось дело еще и тем, что, думая над проектом, я должен был постоянно держать в своей памяти Медвежьегорск, должен был ясно видеть своим мысленным зрением и пейзаж, и ландшафт, и улицы города. Проект проектом, но надо было еще думать и о том, чтобы дворец не торчал белой вороной, а по возможности вписывался в окружающие его здания и вместе с тем сообщал городу определенный и наиболее выразительный силуэт.

Но, думая о Медвежьегорске, как я мог не думать о Вале, о наших с ней и Владимиром разговорах, как мог не вспоминать наши вечера?! И воспоминания эти, конеч-

но же, мешали. Они уводили мои мысли от проекта далеко-далеко, и каждый раз приходилось делать над собой усилие, чтобы вернуться к своему чистому листу.

А еще размышляя над проектом, делая первые прикидки его на местности, я как бы постоянно ощущал на себе пристальный, требовательный взгляд Владимира. Придумаю что-то, прикину, и тут же будто кто во мне сидящий спрашивает: а как бы поглядел на это Владимир? Интересно, ему бы это понравилось?.. Поначалу меня даже сердили эти мысленные оглядки на Владимира: подумаешь, профессор архитектуры, подумаешь, авторитет! Однако же, утихомирив потревоженное самолюбие, я должен был честно себе признаться, что многое из того, что услышал от Владимира, мне не приходилось слышать и от самых высоких авторитетов. Тут важен был не какой-то там теоретический уровень мысли, а ее направление, важен был новый взгляд на хорошо знакомые, казалось бы, вещи.

Нынче наконец дело сдвинулось с мертвой точки. На пугающий своей нетронутой белизной лист легли первые, пока еще робкие, но уже как-то определившиеся и что-то выражающие линии. И хотя пока еще не ясно, как и куда они пойдут, неизвестно, где, в каких точках пересекутся с другими линиями,— все равно начало положено. Как белый снег отражает, отбрасывает обратно то ли шестьдесят, то ли семьдесят процентов солнечных лучей, так и чистый лист обладает способностью отбрасывать, отражать твои мысли: не за что зацепиться глазу — не за что зацепиться и мысли. Потому-то с такой легкостью она и летит от листа то в окружающую Медвежьегорск тайгу, то в дом Вали и Владимира. Теперь все пойдет по-другому. Теперь есть за что зацепиться глазу, теперь есть отправная точка и для мысли.

...Рабочий день кончился. Но и собрав бумаги со стола и заперев их в шкаф, я все еще продолжаю думать над проектом. Я буду думать о нем и по дороге домой и дома. Я знаю: теперь мне уже не придется насильно возвращать свои мысли к проекту, теперь они будут возвращаться к нему сами. Нет, я вовсе не собираюсь все время думать о деле, и только о деле. Я сейчас просто пойду по улице и буду думать о самом разном: о том, к примеру, что день нынче солнечный, а при солнце очень уж здорово горят купола кремлевских соборов, когда смотришь на

них с набережной из Замоскворечья, и особенно хорош Иван Великий...

С Москворецкого моста глядятся теперь и отреставрированные церковки бывшего Зарядья. Но куда бы естественней, куда бы лучше они гляделись не рядом с тяжелой громадой новой гостиницы, а на фоне тех домов и домиков, среди которых и были в свое время построены. И вообще Зарядье — это же уникальный, единственный в своем роде уголок старой Москвы. И пусть тут немного выдающихся памятников зодчества — все в целом оно было исключительной ценности памятником, потому что через века и века дошло до нас почти в неизменном виде. Тут тебе и Посольский двор — что-то вроде министерства иностранных дел при Иване Грозном, и боярские хоромы, и Китайская стена, и церковь «Анны, что в углу», и храм «Всех святых на кулишках»... Само названье-то дышит историей: За-рядье — значит, были торговые ряды, а это — то, что за рядами...

Какими высшими соображениями руководствовался архитектор, у которого не дрогнула рука навсегда, безвозвратно вычеркнуть, а точнее сказать, выдрать из каменной летописи Москвы не одну, а сразу несколько страниц, целую главу?! Мешало кому-нибудь Зарядье? Нет, не мешало. Напротив, своей плоскостной, неброской архитектурой оно как бы подчеркивало, оттеняло величественный ансамбль Кремля и праздничную нарядность собора Василия Блаженного. Даже если бы и вовсе чистое место тут было — можно ли ставить этакую громадину в непосредственной близости от Кремля?! Не только уцелевшие церковки Зарядья кажутся теперь рядом с этой махиной игрушечными — сам Иван Великий уже перестал быть великим. Каменная громадина начисто заслонила собой Кремль и Василия Блаженного со стороны Устьинского и Краснохолмского мостов...

Один мой институтский товарищ только что вернулся из поездки в Польшу. Так его в Варшаве чуть ли не прямо с вокзала повезли в знаменитое Старо Място. Варшавяне показывают эту часть города всем приезжим, и показывают с нескрываемой гордостью... Старо Място, если перевести,— это не что другое, как Старый город, то место, с которого, собственно, и пошел город. А что, как не Старый город, наше Зарядье? Никакой разницы. Разница разве в другом... Всему миру известно, что Вар-

шава была почти вся разрушена. Не пощадила война и дорогого для варшавян Старого Мяста — от него тоже остались руины да щебень. Поляки посчитали необходимым восстановить старую часть города точно такой, какой она была. По чертежам, найденным в парижских архивах, и фотографиям Старо Място было по кирпичику вновь воссоздано. И как же тут не гордиться?! Есть чем гордиться! Мы же со своим старым городом, с Зарядьем, сделали нечто обратное: уцелевшую до наших дней старину снесли. Снесли своими же руками... А ведь нам за добрым примером не обязательно бы и к соседям-полякам ходить. Мы тоже восстановили и памятники Новгорода, и заново отстроили разрушенный Крещатик в Киеве, мы воссоздали во всей прежней красоте Петергоф с его знаменитыми фонтанами — нам тоже есть чем гордиться!

Мне вспомнился наш разговор с Владимиром об исторической памяти народа. Конечно же, она не только и не столько в учебниках по истории. Кремль и Василий Блаженный, Китай-город и Зарядье — вот она, живая и наглядная память, живая связь времен! И не святое ли дело всеми силами беречь, укреплять ее?!

Как-то прочитал я прекрасные стихи:

Во мгле и суете ревущей
Дай бог, чтоб в нас не прервалась
Минувших, нынешних, грядущих
Времен возвышенная связь.

Ты слышишь тени чьих-то крыльев?
Тревожит душу трубный глас.
Ты слышишь их:
и тех, что были,
И тех, что будут после нас?..

А нынче в газете — вот она, эта газета, у меня в кармане,— другой поэт, сначала вроде бы вторя тому, говорит:

С закономерностью глубокой,
Познанья жаждою полны,
Мы нынче тянемся к истокам
Своей российской старины.
Ну что ж! — имеет право каждый,
Обязан даже, может быть,
Ту искупительную жажду
Хоть запоздало утолить, —

но тут же и спохватывается: а хорошо ли это? А как бы чего не вышло?

Не позабыть бы, с обольщеньем
В соборном роясь серебре,
Второе русское крещенье
Осадной ночью на Днепре.

Какое такое соборное серебро? При чем тут оно, да и где оно? И почему память о Киевской или Московской Руси вдруг может заслонить память о недавней битве на Днепре или битву под Москвой?!

Какая-то странная логика! А не правильнее ли было сказать, что сознание причастности к великой истории своего народа, сознание того, что̀ стоит за нашими плечами, помогало нам — так оно именно и было! — и в битве под Москвой и во втором крещении на Днепре?!

Разве наша старина — это какое-то серебро, а не героическое прошлое русского народа, не его гениальное художественное творчество?! И надо ли бояться, что мы потянулись к истокам?!

Времен возвышенная связь... Как это точно сказано и как это прекрасно звучит!..

Вспомнив Владимира, я ловлю себя на мысли, что ведь и до поездки в Медвежьегорск приходилось мне хаживать Москворецким мостом и видеть разоренное Зарядье, однако же воспринимал я все это куда спокойней. Общение с Владимиром словно бы обострило мое зрение... А сколько еще, сколько людей идет рядом со мной и смотрит вокруг все теми же спокойными глазами!.. В газетах как-то промелькнуло сообщение о том, что в одном селе разобрали и распилили на дрова резную деревянную церковь семнадцатого века. Распиливали ее учащиеся старших классов под руководством директора школы. Так вот, если эти школьники приедут на экскурсию в Москву и их директор, показывая на Зарядье, скажет, что здесь, на месте старепьких домишек и церквушек, возвели вон какую новую, созвучную веку железобетонную красоту — ребятишки ведь легко уверуют в это...

Со Спасской башни словно бы упал на литую брусчатку площади и рассыпался окрест такой знакомый и все равно всегда волнующий перезвон курантов. Обтекая Василия Блаженного, сверху лилась и лилась нескончаемо пестрая людская толпа.

Теперь, с открытием новой гостиницы, как-то суетно стало и на Красной, святой для всех нас площади. Раньше сюда приходил только тот, кто хотел видеть именно Красную площадь, видеть Кремль, Мавзолей. Сейчас многотысячный контингент обитателей гостиницы с утра до позднего вечера буднично снует по ее священной брусчатке транзитом к центральным станциям метро и обратно...

«Россия»! Написано это слово на гостиничной стене крупно, издалека видно. Только много ли в ней русского — такие или похожие здания можно чуть ли не в каждой европейской столице встретить... Погляди на любой плакат, приглашающий иностранных туристов в нашу страну,— увидишь Кремль или сказочный храм Покрова, как был назван при постройке Василий Блаженный. И, конечно же, не зря он стал чем-то вроде нашей национальной эмблемы...

Где-то уже на сходе с Москворецкого моста мысли мои вдруг перескакивают на тот самый лист, который я закрыл в шкафу. С чего бы это, с какой такой стати? А вот, оказывается, с какой. Пока я шел по мосту, сначала подымаясь на его выгнутую спину, а затем спускаясь с нее, я заметил, как с изменением точки постепенно менялся и силуэтный рисунок попадающих в поле моего зрения зданий, и Василия Блаженного в том числе, как силуэтные линии вступали во взаимодействие друг с другом и вновь распадались. И мне подумалось, что на мой дворец тоже ведь люди будут смотреть с самых разных точек, и надо обязательно учитывать это. Надо, чтобы общий силуэт здания был интересным, своеобразным, и в том случае, когда на него глядеть снизу, от вокзала, и сверху, с таежной опушки...

И тут, как заноза, которую сразу не вытащили, потом забыли, шевельнулось вдруг смутное видение медвежьегорской церквушки. Она-то определенно сообщала центру города свой особый силуэт, и хотя виделась с нижней и верхней части селения по-разному — эта разность была лишь плюсом, а не минусом. Будет ли иметь эти плюсы мой дворец? «Заменит» ли он в этом смысле старую церковь? Мне хочется надеяться, что заменит. Мне даже так думается, что дворец сделает общую картину центра города более цельной и выразительной. И все-таки... и все-таки гляжу я сейчас на церковки Зарядья, и мне

становится жаль ту, медвежьегорскую. Жаль и часовенку при ней. Пусть бы себе стояли. Ведь они тоже не что иное, как Старо Място Медвежьегорска... Я даже начинаю прикидывать, а что и как можно сделать, чтобы сохранить их. Поставить дворец рядом с ними? Но это будет впритык, нехорошо. Перенести его на край города, ближе к таежной опушке?..

Ну, размечтался, парень! Да ты что, забыл, что место под твой дворец уже окончательно утверждено? И участь церквушки с часовней тоже еще полгода назад решена. Там, где они стояли, уже *чистое* место! Место под твой дворец. Да и не сам ли ты ратовал за то, чтобы убрать эти остатки старины, поскольку они своим видом портили всю картину?! Так что не забивай голову всякой маниловщиной, думай не о том, *где* поставить дворец — этот вопрос уже решен,— думай о том, *как* лучше вписать его в окружающие строения...

Уговаривать-то себя так я уговаривал, а все равно облупленная, почерневшая от времени церквушка не шла из головы. Все равно то место, где она стояла, не виделось мне чистым местом. Она была — как гвоздь посреди стола, и ничего большого на этот стол поставить я не мог.

Прошагав Красной площадью, я свернул в Александровский сад и подземным переходом вышел на Калининский проспект. В самом своем начале, от Библиотеки Ленина до Арбатской площади, он тесен, узок, и тут, как в горловине, всегда битком и машин и людей, не протолкнешься.

Арбатская площадь. Она тоже многолюдна в любой час дня, а сейчас, вечером, особенно. Из станций метро, из подземных переходов, со Старого и Нового Арбата на площадь текут и текут нескончаемые потоки людей, сливаясь у кинотеатра «Художественный» в сплошную шумную, говорливую толпу.

С площади хорошо просматривается новая часть проспекта, прорубленная напрямую через узкие арбатские переулки, тупики и Собачью площадку. По ту и другую сторону широкой магистрали высятся многоэтажные светлые здания, и даже неопытному глазу видно, что возведены они по единому плану. И было время — нравился, и даже очень нравился, мне Новый Арбат. Нравились широта, размах и, что ли, свобода архитектурного мышления. А еще мне нравилось, что в начале Нового Арбата,

на правой его стороне, была оставлена небольшая старинная — то ли XVI, то ли XVII века — церковь. Церковь эта на фоне сплошного стекла и бетона была как-то очень неожиданна и мягкостью своих форм и совершенством пропорций давала как бы особую древнюю запевку идущим за ней ультрасовременным зданиям.

Да что я заладил: нравилось, нравилось... Все это — и с размахом спланированные здания, и маленькая церковка — нравятся мне и по сей день. Моему глазу с некоторых пор стало не хватать дальней перспективы у Нового Арбата. Такие высокие — выше тридцати этажей — здания как бы «подразумевают» большую протяженность улицы, на которой их поставили. А тут вся протяженность каких-то восемьсот метров. И вот торчат эти огромные ультрасовременные красавцы в окружении низких — в три, четыре или пять этажей — старинных особняков, как чужая вставная челюсть. Поставить бы их на каком-то новом проспекте, подале от центра,— как бы они хорошо и «читались» и смотрелись — одно загляденье! А так — нет, не вписались они в эту старинную часть Москвы. Вон новое здание университета: хорошо оно или по нынешним вкусам не очень хорошо, но место для него выбрано самое что ни на есть подходящее. Ну-ка поставь его на месте старого, казаковского, да... да такое даже и представить себе невозможно. Мало, мало спроектировать прекрасное здание, надо еще его сообразовать, согласовать с местом, на котором оно будет стоять! Истина, конечно, не новая, а только частенько мы забываем ее...

Что-то ты нынче уж больно расходился: то не так и это не этак. Легко критиковать со стороны, легко философствовать. А еще надо посмотреть, как ты согласуешь с местом свой дворец, как он будет смотреться жителями Медвежьегорска.

Проходя мимо церковки, я приостановился. С пригорка, на котором она стояла, спускался седенький, в старомодном полотняном костюме старичок. Старичок тоже остановился недалеко от меня и, обернувшись лицом к памятнику старины, проговорил:

— Все бы хорошо, если бы еще тот стиляга возвышался не так близко и не подпирал плечом эту красоту.

Старичок говорил, прямо не обращаясь ко мне, но, конечно же, это было явным приглашением к разговору.

Я вспомнил, какой была эта церквушка, когда еще только начали строить Новый Арбат. На нее было жалко смотреть: кровли вовсе не было, на каменных обсыпавшихся карнизах росла трава, а над алтарем укоренилась даже березка. Словом, родная сестра медвежьегорской. И, проходя мимо, я тогда не раз спрашивал себя: ну почему не пустят бульдозер и не очистят место — она же одним своим видом наводит грусть-тоску...

— Надо радоваться, что сохранили эту красоту,— отвечаю я старичку.— Хотя, конечно, новый дом — в нем поди-ка этажей двадцать будет — можно бы отодвинуть и подальше. Тут архитектор явно промахнулся.

— Да нет, никакой промашки нет,— тихонько сказал старичок.— Когда он проектировал свою башню — тут было *чистое* место.

— То есть как это: чисто место? — не понял я. Странно: понять не понял, а та заноза опять шевельнулась, опять напомнила о себе.

— А очень просто: еще задолго до того было принято решение о сносе памятника. Это только по чьей-то халатности его не снесли. Тогда было принято еще одно решение: снести. И опять кто-то проявил халатность. Ну, а тем временем общественность голос подняла: архитекторы, художники, писатели. Отстояли. А башня уже наполовину была построена... Так что правильно: надо радоваться... Будьте здоровы!..

С последними словами старичок приподнял кепчонку и легко зашагал по улице. А я, ошеломленный таким странным совпадением, даже не нашелся сказать ему «до свидания» и как стоял, так и остался стоять у церковного пригорка.

Чистое место!.. Чистое место!.. Но почему, почему места, где стоят памятники истории, должны обязательно очищаться от них?! Почему при новой планировке городов эти памятники — помеха для планировщиков, а не украшение, не историческая ценность, не золотой фонд города?! И разве вопрос должен обязательно стоять: или — или?! Разве так уж антагонистичны старина и современность и не могут мирно соседствовать, или, как сейчас принято говорить, сосуществовать, сочетаясь друг с другом и дополняя друг друга?!

До сих пор мне было неведомо состояние человека, сделавшего открытие. Теперь, вот сейчас, я познал его.

Мне захотелось взбежать на пригорок и во все горло прокричать на весь Арбат:

— Дол-жны!

В сущности, я открыл уже давно открытую Америку и ломился в дверь, которая тоже была не затворена: да вот же оно, перед тобой, это сочетание! С накладкой, правда,— башню, конечно бы, следовало поставить подальше, а то и вовсе обойтись без нее,— но сосуществование было налицо.

Но, видно, уж так устроен человек: когда он до чего-то доходит сам, «своим умом» — для него это всегда открытие, и совсем не важно, что истина, которую он открыл, уже давно открыта.

Теперь мне даже казалось удивительным, как я ходил мимо этой церквушки и не очень-то задумывался, как «сочетается» она с окружающими ее строениями (хотя, как архитектору, и следовало бы об этом задуматься). А удивляться нечему: сочетание это было для меня некоей отвлеченностью, сталкиваться мне с подобными вещами в своей практике не приходилось, да — я думал — и не придется. А вот теперь пришлось, и у меня сразу обострился интерес к этой церквушке.

Но как, как сочетать мне со своим дворцом ту, медвежьегорскую?!

Опять ты за свое! Опять забыл, что тебе и сочетать-то нечего — той церквушки, считай, нет, там, где она стояла,— чистое место. Или ты тоже рассчитываешь на халатность? Но даже если церквушка и стоит,— что из того? Все равно для твоего дворца планом никакого другого места не предусмотрено. И даже — даже если бы тебе захотелось сохранить ее — одного твоего желания все равно мало: нужно решение какой-то инстанции, а ты — не инстанция. А пока будешь ходить по инстанциям, церковь уж определенно снесут. Да и кто тебя слушать станет... разве не сам ты стоял горой за то, чтобы ее снести? Так что только зря время потеряешь и с проектом можешь не успеть...

Но говорить это я себе говорю, а сам всю остальную дорогу до дома продолжаю думать над тем, как бы построить дворец не на месте церкви, а рядом с ней. Там, с одной стороны, кажется, склад какой-то — то ли утильсырья, то ли «Вторчермета» — приткнулся. Может, на его месте... А может, лучше так сделать...

Самое лучшее, что тебе надо сделать,— это выбросить церквушку из головы и заняться проектом!

13

Дверь мне открыла Маринка. Альбины Альбертовны и Николая Юрьевича дома не было.

Маринка работала редактором в сельскохозяйственном издательстве. Ее шеф, заведующий редакцией, благоволил к ней и иногда разрешал работать дома. Правда, я подозревал, что тут не обошлось без заботливой руки Альбины Альбертовны. Как-то она проговорилась, что у нее есть один знакомый, который, в свою очередь, хорошо знаком с Маринкиным шефом. С помощью этого знакомого Альбина Альбертовна сумела внушить шефу, что при хрупком здоровье Мариночки ей трудно высиживать на службе каждый день от и до и что хорошо бы, хоть раз в неделю, ей разрешалось работать дома. А чтобы не было никаких ненужных разговоров, а вместе с тем и никаких неприятностей самому шефу, в необходимых случаях будут представляться соответствующие медицинские справки. Для этого у Альбины Альбертовны был другой нужный знакомый, который, в свою очередь, хорошо знал доктора одной ведомственной поликлиники.

Как-то я сказал Маринке, что не очень-то хорошо, наверное, в глазах других сотрудников выглядит эта ее привилегия, но она ответила, что так делают и другие редакторы и что сам характер работы такой, что одним сидением от и до дело не решается. Каждому редактору устанавливается определенная норма: столько-то печатных листов в месяц. И какая разница, за каким столом она отредактирует те листы — за служебным или за домашним.

Нынче у Маринки был как раз такой надомный день.

— Ты, Витя, кстати. Я заканчиваю тут одну работу...

— Опять вопросы?

— Да, кое-что неясно... Пей простоквашу, мама приготовила, и иди ко мне.

Я беру на кухне простоквашу, иду в нашу комнату.

— Что за работа?

— Брошюра о кукурузе. И вот в главе «Оптимальные сроки и нормы высева» речь идет о каких-то кулисах,

а что это за штука — непонятно. Я знаю кулисы в театре. Но ведь это, наверное, не то же самое?

Ах, как это далеко от всего того, о чем я сейчас думал! Да и разбираюсь я в тонкостях агротехники немногим лучше Маринки. Знаю, конечно, что булки растут не на деревьях, ну еще рожь от овса отличить могу более или менее определенно. Но чтобы знать еще и про какие-то кулисы!.. На окраине Арзамаса, где прошло мое детство, я видел картошку, рожь, другие хлеба, а кукурузу что-то не помню.

— Еще что?

— А вот. «Посев ведется квадратно-гнездовым способом...» Как это понимать? То ли гнездо имеет форму квадрата, то ли, наоборот, квадрат похож на гнездо? И вообще, что такое гнездо?

От часу нелегче! Я чувствую, как то хорошее, рабочее настроение, с каким выходил из института, у меня начинает постепенно пропадать.

— И зачем только ты берешься за такое?

— Так ведь не я сама выбираю. Дают.

— Неужто нет в вашей редакции...— я подыскиваю слово помягче,— ну, понимающих в этом деле?

— А это, Витя, и не обязательно,— Маринка обиженно поджимает губы.— Рукопись посылается на рецензию специалистам, они дают свой отзыв, а мое дело — стиль. Тяжеловесные железобетонные формулировки автора я по возможности вылегчаю, делаю их удобоваримыми для читательского восприятия... Ну вот, скажем, такая фраза: «Не простое дело — выбор срока сева; тут надо учитывать все...» Но это моя, редакторская фраза. А в первоначальном, или как мы говорим, первозданном, виде она звучала так: «При определении оптимальных сроков сева необходимо не только принимать во внимание всю сумму почвенных, климатических и метеорологических факторов, но также и учитывать комплекс тех агротехнических мероприятий, которые...» — видишь, даже духу не хватает, чтобы выговорить всю фразу до конца.

— Да, действительно, железобетон,— признаю я.— У тебя, конечно, как ты говоришь, удобоваримей. Но... тебе не кажется, что, укорачивая фразу, ты укорачиваешь и ее смысл?

— Ну, это еще Козьма Прутков сказал: нельзя объять необъятное,— видя, что меня несколько развеселили

«факторы» и «мероприятия», Маринка тоже улыбается.— Мало толку, что в авторской фразе смысла больше, если до этого смысла надо долго докапываться?! Читатель не любит, когда ему загадывают шарады, он попросту возьмет да и отложит книжку в сторону...

А ведь резонно рассуждает этот кукурузный редактор!

— Я думаю о другом... Шефа спрашивать было както неудобно... Я подумала, выражаясь тем же железобетонным языком, насколько актуальна эта брошюра. Ведь о кукурузе шумели лет десять назад...

Да, Маринкины познания тонкостей земледелия были воистину столь глубокими, что ей, как говаривали в старину, и на роду написано быть редактором книг по сельскому хозяйству.

— Кукуруза, детка, была и десять и тыщу лет назад. Она была хорошо известна еще древним грекам... Ну, и естественно, и теперь с ней ничего не сталось, она как жила, так и сейчас живет и здравствует...

Мне было интересно наблюдать, как на лице Маринки росло удивление, будто рассказывал я о вещах столь же таинственных и неизвестных, как какая-нибудь туманность Андромеды.

— Как ты хорошо объяснил, Витя.— Маринка говорила это с искренним детским восхищением.— Ну прямо как доктор сельскохозяйственных наук!

— Подымай выше: академик!.. Что же до актуальности, то я бы сказал так. Хлеб наш насущный всегда будет актуальным... А вот книги и брошюры, подобные этой... ну, как бы тебе сказать,— я опять не сразу выбрал слово,— зачем они?

— Тоже вопрос! — мудро усмехнулась Маринка.

— Еще какой вопрос! Кому они нужны? Крестьянам, которые всю жизнь пашут землю и сеют хлеб? Так неужто они хуже автора, а вместе с ним и тебя, редактора, знают, что выбор срока сева — дело непростое? Неужто они хуже вас знают, когда начинать и как сеять? Все эти суммы, факторы и мероприятия — пустые слова, за которыми ничего не стоит. Все равно же точный срок указать нельзя, потому что год на год и весна на весну не бывают похожими. Так зачем же бумагу переводить?

— Так ты что, вообще против научной литературы по сельскому хозяйству?

— Нет, против научной я как раз ничего не имею. Какой-то селекционер вывел новый сорт пшеницы, новую породу скота, Терентий Мальцев, вон, по-новому землю обрабатывает — шумите, трубите об этом на всю страну. Но надо ли забивать очи читателя такими вот никчемными брошюрками? Он же среди моря всяких пустопорожних агрономических советов что-то важное и нужное пропустит, не разглядит...

— Теперь вижу, академик!.. Раздолбал меня по всем статьям.— Маринка грустно вздохнула и по-детски подперла рукой щеку.— Только опять скажу: уж больно ты сердитый, больно злой, товарищ академик... Раньше был подобрей.

Это ты верно говоришь. Раньше я и на твою редакторскую работу смотрел просто: работа и работа. И твои вопросы, вроде нынешних, воспринимал все больше в юмористическом плане. А вот сейчас мне почему-то невесело. Совсем невесело... Неужто за тем ты столько лет училась, чтобы вылегчать канцелярский железобетон, и неужто в этом ты видишь свое жизненное призвание?!

— У тебя ничего не случилось? — Маринка спрашивает участливо, с тревогой в голосе, и у меня разом спадает напряжение, будто где-то там в груди соскакивает какая-то защелка. Я обнимаю Маринку, глажу по волосам.

— Случилось, но — хорошее. Вроде бы — тьфу-тьфу, не сглазить — пошел наконец проект...

Ах, вот только когда я вспомнил о проекте! Да и вспомнить-то вспомнил, а что из того... То тихое, раздумчивое настроение, с которым я запирал шкаф и которое не покидало меня всю дорогу, теперь ушло, и, наверное, безвозвратно. Может, и еще не раз вспомнится за вечер моя работа, однако при этом вряд ли родится какая-нибудь интересная мысль...

— Да! — неожиданно вскакивает с дивана Маринка.— За разговорами забыла сказать: мы сегодня идем в гости.

— Что еще за гости? К кому?

— К Латынским. Юлька еще утром звонила.

Как-то так получилось, что и круг наших с Маринкой знакомых, к которым мы ходим и которые ходят к нам, тоже обозначен не столько нами самими, сколь Альбиной Альбертовной. Сначала он был довольно раз-

нообразным: тут были и мои товарищи по институту и Маринкины друзья детства. Но постепенно-постепенно мои товарищи, один за другим, стали выпадать из этого круга: одних объявляла персоной нон грата Альбина Альбертовна, другие, тяготясь стерильной чистотой квартиры и железной застольной дисциплиной, перестали ходить сами. Остались только Маринкины подружки и еще несколько, как их называла Альбина Альбертовна, друзей дома. Маринка звала их иначе: мамины ставленники. Это были молодые люди из тех семей, старшие члены которых, по понятиям Альбины Альбертовны, были нужными людьми. Вот к одному из ставленников Альбины Альбертовны мы и были приглашены.

— Вроде бы не собирались?

Обычно о таких вещах договариваемся дня за два, а то и больше.

— Экстренный случай. Юлька уговорила прийти к ним одну знаменитость, какую-то новую звезду.

— Что за звезда?

— Какой-то чемпион. То ли что-то поднял тяжелое, то ли что-то кинул очень далеко.

— Ну и на здоровье, пусть кидает. Мы-то при чем?

— Ну зачем, Витя, задаешь пустые вопросы? Будто не знаешь... Не пойдет же звезда просто так к Юльке Латынской. Она приглашает в свой литературно-художественный салон.

— Тоже мне новоявленная маркиза Рамбулье! Как грибов после дождя этих салонов по Москве развелось.

— Ну, Рамбулье или как, а нам с тобой надо изображать постоянных посетителей салона... Да и вдруг будет интересно?

— Это ты хорошо сказала: вдруг...

Видит бог, с какой неохотой хожу я в этот самый Юлькин «салон». А вот Маринке — Маринке эти хождения нравятся, хотя, по ее же собственному признанию, бывает там частенько не очень интересно, а то и просто скучновато. Зато, мол, у Юльки можно и людей всяких-разных посмотреть, и себя показать или, как еще она любит говорить, «на людях покрасоваться».

А я-то собирался нынче вечером посидеть, поработать. Поработал!

— Ты немножко поваляйся на диване, а я пока за-

кончу.— Маринка снова садится за стол.— Не хочется на завтра оставлять...

Пришли Альбина Альбертовна с Николаем Юрьевичем. Судя по оживленно-радостному голосу Альбины Альбертовны, были они в магазинах и что-то купили. Разумеется, не мне и даже не Николаю Юрьевичу, а самой Альбине Альбертовне. В такие минуты она становится доброй до сентиментальности и даже за столом значительно поубавляет строгости. Правда, все это — ненадолго, завтра, еще раз примеряя обновку, она будет на нее глядеть уже трезвым критическим оком: добротна ли вещь, не переплатила ли... Но это — завтра. А нынче, вот сейчас, у Альбины Альбертовны душа нараспашку. Зная эту, едва ли не единственную слабость матери, Маринка навострилась извлекать из нее свою выгоду. Именно в такие минуты она выпрашивает у матери для себя то или другое или склоняет ее к каким-нибудь далеко идущим решениям. Бывает, что отрезвевшая Альбина Альбертовна потом и спохватывается и жалеет об обещанном, но уже поздно: Маринка начинает «бить на совесть», начинает стыдить мать за клятвопреступление и в конце концов добивается своего.

Вот и сейчас, заслышав воркующий голос Альбины Альбертовны, Маринка отложила свою кукурузную рукопись и, хитренько, заговорщически подмигнув мне, мол, не будем терять момента, устремилась в гостиную.

Она даже дверь второпях забыла закрыть.

— Как дела, Виктор? — не заходя в комнату, прямо с порога, спросил Николай Юрьевич. Как таежный проект?

Я сказал, что дела хоть и не шибко, но подвигаются.

— Заходи ко мне, посидим, пока они там ахают да охают.

Из гостиной время от времени доносилось:

— Нет, ты посмотри, Мариночка, какие линии!

— А отделка! Чудо!

— А эта абстрактная финтифлюшечка!..

Мы прошли в кабинет; Николай Юрьевич сел к столу, я — в кресло поодаль.

Нравилось мне бывать в этом кабинете! Весь он был уставлен книжными стеллажами, и это обилие книг сразу как-то настраивало тебя на иную, более высокую волну, поднимало над повседневной будничной суетой.

Каких только книг тут не было! Около половины полок, правда, занимали книги по астрономии, и они меня мало интересовали. Но, кроме них, здесь можно было найти всю русскую и зарубежную классику, книги и альбомы по искусству и архитектуре, в том числе и географические, ботанические, зоологические и всякие другие атласы... Меня не переставал удивлять вот этот широкий интерес Николая Юрьевича и к искусству и к наукам, казалось бы, очень далеким от его любимой астрономии. Удивительный человек этот Николай Юрьевич!

Мне иногда разрешалось работать по вечерам в его кабинете, и то были, может, самые мои лучшие вечера. Плотно забитые книгами стеллажи словно бы наглухо отгораживали меня от всех обитателей нашей квартиры и от всего мира. Тишина. Горит настольная лампа. А где-то над столом, в полумраке кабинета незримо витает гордый человеческий дух, человеческая мысль, заключенная в бесчисленные тома, сконцентрированная в них за века и века...

— Устаю я по этим магазинам, хуже всякой работы,— Николай Юрьевич потер виски, провел ладонью по лицу, словно бы стирая с него усталость.— Так что ты, если хочешь, посиди тут после ужина, я думаю пораньше лечь.

Я сказал, что с большим бы удовольствием, но — увы! — нынче не придется, идем с Маринкой в гости.

— А-а, ты здесь,— сияющая (не иначе что-нибудь выцыганила у матери) Маринка влетела в кабинет и тут же повернула обратно.— Нам уже пора собираться.

— Рано еще, наверное. Да и чего собираться-то — подумаешь, великосветский раут!..

Говорить я так говорю, но это больше для вида, для того же Николая Юрьевича, потому что, помедлив минуту, поднимаюсь с кресла и иду — а что делать? — за Маринкой.

Вот еще из-за чего не люблю я, будь оно неладно, хождение в гости — за эти вот сборы. Сколько даром, бессмысленно тратится времени! Того самого, которое так дорого и которого всем нам так не хватает!.. Маринка начинает собираться примерно за час до выхода — это ли не ужасно, целый час пустить на ветер?! Я трачу, конечно, куда меньше, но тоже пока рубашку сменишь, да галстук завяжешь, да ботинки почистишь — глядишь,

тоже с полчаса уплывет. Попытался я как-то бороться с предрассудками: в чем с работы пришел — в том и в гости пошел. Однако эти мои попытки были быстро и решительно пресечены Альбиной Альбертовной: один бы шел — ладно, а то идешь с Мариночкой — надо быть на ее уровне, если не хочешь позорить нашу фамилию...

Маринка и так и эдак крутится перед зеркалом, голову выгибает — того гляди, шею свернет, очень ей надо видеть себя не только спереди, но и сзади. Ах, как это господь бог, когда творил из Адамова ребра женщину, не догадался прибавить ей еще хотя бы один глазок на затылке — как бы он тем самым облегчил ее земную участь!..

Меня еще и вот почему раздражает это женское верчение перед зеркалом, всякие там накрутки и папильотки. Соберется Альбина Альбертовна в гости — целый день перед этим ходит бабой-ягой: на голове алюминиевые трубочки с дырками, деревянные прищепки, а между этими прищепками, как теленком обсосанные, патлы торчат... Правда, потом, вечером, Альбина Альбертовна чудесно преображается, патлы превращаются в пышные локоны, и локоны эти укладываются с такой тонко продуманной художественной небрежностью и естественностью, что — ну просто вот так они и есть с самого детства, с седьмого класса... Женщина хочет выглядеть моложе своих лет и красивее, чем есть на самом деле,— что ж здесь плохого? Ничего плохого. Даже очень хорошо. Но есть тут одна нелепость. Самый близкий человек у женщины вроде бы ее муж, и его любовью и расположением дорожить она должна вроде бы больше всего. Однако именно при муже, при самом близком человеке, она ходит целый день бабой-ягой, чтобы потом перед посторонними, чужими людьми блистать королевой...

Вон и Маринка: как без меня сидела, так и при мне осталась, а вот сейчас идет в этот дурацкий салон — и гляди-ка, принялась взбивать прическу, пудриться, брови как-то по-особому укладывать. А ведь ей бы — не мать, не сорокапятилетняя старуха! — ей бы и вовсе ничего делать не надо: она еще красива самой надежной и самой привлекательной красотой — красотой молодости.

— Ну, и долго еще ты будешь ощипываться?

— Сейчас, Витя, сейчас. Последние штрихи, последние детали.

Маринке кажется, что один завиток лег неправильно, и она перекладывает его на полсантиметра ближе к виску. Да, она, безусловно, права: эти полсантиметра оказались решающими, именно только теперь ее прическа приобрела полную художественную законченность.

Наконец-то, напутствуемые Альбиной Альбертовной, мы выходим из дому.

На улице ветрено. И так старательно уложенные Маринкой, но едва прикрытые газовым шарфиком волосы ветер тут же растрепал и уложил по-своему. Но это уже не так важно, важно, что вышла она из дому с сознанием до конца выполненного перед собой священного долга...

Живут Латынские недалеко от нас, в одном из Неопалимовских переулков. Мы садимся в троллейбус и через несколько остановок выходим. Теперь еще минут пять пешком — и мы пришли.

14

— Знакомьтесь...— Юлька, называет имя, которое мне ровным счетом ничего не говорит, а затем делает ручкой в нашу сторону: — Марина, молодая талантливая журналистка; ее супруг — тоже очень талантливый архитектор...

Надо полагать, нас представили той самой звезде. Кто мы такие — нужно объяснять, для спортивной же знаменитости — это не обязательно, тут достаточно одного имени. Мало ли что, я или Маринка, по причине своего дремучего невежества первый раз слышим названное имя — и хозяйка дома и сама звезда исходят из того само собой разумеющегося предположения, что это имя знает — во всяком случае должно знать — все просвещенное человечество.

Я исподволь приглядываюсь к чемпиону. Он недурно сложен. Правда, до Аполлона Бельведерского ему далековато, портят дело сверх всякой меры развитые грудные мышцы и особенно бычья шея. Но все это еще куда бы ни шло. Безотрадное впечатление производит лицо этого добра молодца. Лицо более-менее постоянно выражает лишь одну эмоцию, а именно: добрый молодец доволен — очень доволен! — собой.

Народу прибывает. Вскоре после нас пришли молодой художник с женой, молодой ученый без жены, заявился

один лирик, а следом за ним — физик. И опять, при знакомстве, хозяйка не скупится на эпитеты. Только и слышно: «талантливый», «тоже талантливый», «очень талантливый».

На месте спортивного парня меня бы, наверное, давно обуял священный трепет: сколько кругом талантов — уж коим грехом не на Парнас ли, а может, и на сам Олимп я попал?! Однако же не только трепета, даже малейшего смятения на лице силача не заметно. Надо думать, он пребывает в твердой уверенности, что господь бог не просто дал ему силенку, но и тоже при этом отпустил — много ли, мало ли — таланта. Во всяком случае в этом парня могла уверить наша пресса; в спортивных обзорах все чаще и чаще можно встретить слово «талант». Сейчас уже не просто забивают футбольный мяч — его забивают талантливо; не просто бегают и прыгают — и то и другое делают талантливо. Про него, может, тоже писали, что он не просто что-то там толкнул или кинул, а кинул талантливо.

Постепенно салон заполнился всевозможными талантами так плотно, что все стулья и кресла оказались занятыми.

Специального застолья на таких вечерах не полагалось: ведь собирались не на банальную вечеринку с выпивкой и закуской — собирались для духовного общения. Правда, если у кого появлялась жажда — он мог ее утолить: для этого в уголке, у окна, стоял стол, а на нем — водка, иногда коньяк и вино, хлеб, масло, сыр, колбаса. За стол этот не садились, просто каждый мог подойти и выпить или съесть, что ему хотелось, встоячку. Ну, встоячку звучит несколько грубовато, хозяйка называла это по-французски — а-ля фуршет, но если перевести с французского, то получится в общем то же самое. Надо сказать, что жаждущие и стоя набирались за вечер ничуть не меньше, чем сидя, кое-кто к концу, что называется, лыка не вязал, и не раз вносились предложения дать столу права гражданства и утвердить его посредине салона. Однако же хозяйка каждый раз решительно отвергала эти предложения: стол с питьем и жратвой посреди салона — это пошло, это мещанство, один вид такого стола снижает, заземляет и вообще огрубляет самое атмосферу интеллектуального общения людей.

Интеллектуальное общение главным образом состояло в пересказывании окололитературных и театральных сплетен, во взаимной информации о том, кто и что сказал на очередном поэтическом вечере или на открытии художественной выставки. Или рассказывалось, к примеру, такое: один модный актер запил, а тут надо дубль новый снимать — как быть? А дубль — сцена в трактире. И вот режиссер решает: посадить пьяного актера за стол — пусть натурально опохмеляется... Редко говорилось о том, что кто-то написал хорошие стихи или картину, великолепно спел или сыграл новую роль. Все больше разглагольствовалось о том, что́ другие говорят о тех стихах, о новой роли, о новой картине. А уж если, не дай бог, какой-нибудь скандальчик — ну хотя бы самый маленький — при чтении стихов, на премьере или на вернисаже выходил,— ах, какое оживление наступало тогда в салоне, с каким пылом и жаром обсуждалось не только само событие, но и все, что, подобно снежному кому, успевало нарастать вокруг него.

Главный гвоздь нынешнего вечера — спортивная звезда, и хозяйка, естественно, всячески старалась направить разговор по спортивному руслу. Но — странное дело!— уж сама атмосфера салона, что ли, была такой — и тут разговор шел не столько о самом спорте, о том, кто из спортсменов и в чем за последнее время преуспел, сколько опять же о том, что происходило вокруг да около спорта.

— Слышали, «Крылышки» перекупили левого форварда у «Буревестника»? — это сказал «молодой талантливый» художник.

— И, говорят, немалую сумму отвалили,— подхватил «тоже талантливый» лирик.

Дальше развивает тему «очень талантливый» физик:

— А что Эдик-то — вы понимаете, о ком я говорю — недавно учудил! Говорят, пришел в «Прагу», заказал, что надо, а потом взял по бутылке армянского коньяку в каждую руку и тут же на столе на этих бутылках стойку выжал...

Должно быть, посчитав, что определенный настрой разговору уже дан, хозяйка с максимально обаятельной улыбкой объявила главный номер сегодняшней программы:

— А теперь попросим нашего дорогого гостя поде-

литься своими впечатлениями... Вероятно, нелегко вам дался чемпионский пьедестал?

— Да, было нелегко,— подтвердил дорогой гость.

А дальше он довольно скучно, газетным языком начал рассказывать, как готовился да как штурмовал тот пьедестал. Похоже, парень добросовестно заучил, что писали о нем в газетах, и вот сейчас шпарил тем же возвышенным слогом, теми же заученными штампами, будто рассказывал не о себе, а о ком-то из своих товарищей.

— Итак, бронза у него... ну, в смысле у меня — уже в кармане... Но что, если мобилизовать все свои недюжинные силы и способности и сделать еще одну попытку — не окажется ли она серебряной? Я мобилизую, делаю последнее нечеловеческое усилие — и второе место, серебро, гром аплодисментов, овация...

Надо думать, победа парню досталась и в самом деле нелегко и ему пришлось проявить в борьбе не только силу, но и характер. Вполне возможно, что парень и сам по себе человек неплохой, и мало «виноват» в том, что газеты и телевидение создают вокруг спортсменов ореол национальных героев. Вопрос в том: надо ли создавать тот ореол?..

Куда более живым был рассказ парня о том, как он с друзьями, уже после соревнований, ходил по разным экзотическим кабачкам и какое неизгладимое впечатление произвел на него один коктейль, который ему пришлось попробовать в таком кабачке. Об этих походах в газетах не пишется, парню приходилось рассказывать уже не чужими, а своими словами, и это было куда интетереснее.

— Он, этот коктейль, и в голову вроде не бьет, а ноги подсекает. На вкус и не сладкий и не горький, вроде бы немного кислит, но в то же время и в терпкость отдает. А уж аромат, арома-ат — м-м-ыв! Блеск! Люкс!

Приятные воспоминания сделали лицо парня более осмысленным, одухотворенным. Даже его бычья шея стала вроде бы не такой заметной. А чтобы все наглядно представили, как он пил этот коктейль, парень, в заключение, взял с пианино еще ранее услужливо принесенный хозяйкой бокал вина, поднес к лицу, шумно потянул носом, изобразил на лице восторг и блаженство и медленно, с потягом выпил.

Наступила пауза. Все понимали, что сразу же, после такой поэтической картины, которую столь выразительно воссоздал высокий гость,— после такой поэзии сразу переходить на прозу неприлично, так же как считается неприличным хлопать сразу же после вдохновенно исполненной симфонии. Должна пройти минута восторженного оцепенения.

Однако минута эта явно затягивалась. И чтобы как-то достойно заполнить паузу, опытная хозяйка включила магнитофон. Он стоял в другом уголке, у другого окна. Он и держался в салоне для заполнения всякого рода пауз. Когда же паузы становились особенно частыми и особенно длительными — магнитофон был особенно кстати. Тогда он совсем не выключался. Тогда считалось, что он создает для разговора музыкальный фон, хотя на самом-то деле получалось так, что все просто сидели и слушали, как истошно орут битлы или бьется в припадке шейк, а те, кто успевал к тому времени уже захмелеть, начинали сами его отплясывать.

Юльке это, конечно, не нравилось: выпили и пляшут — хорошенькое интеллектуальное общение! Но она была достаточно умна, чтобы понимать, что без стола *а ля фуршет,* хоть он и стоит не посредине комнаты, а в углу, без магнитофона, стоящего в другом углу, добрую половину завсегдатаев салона сюда бы и на аркане не затащить.

Обычными танцами кончился и нынешний вечер.

Высокий гость — детина на голову выше меня, это, считай, близко к двум метрам — спортивный гость станцевал с хозяйкой, а потом пригласил Маринку. Не только в коктейлях разбирается парень! Понимает, что Маринка среди всей этой салонной шатии самая красивая. Только лапу-то свою — в ней небось добрых полпуда — совсем не обязательно Маринке на плечо класть... И та, дуреха, сияет, словно с ней не обыкновенный заурядный слон, а сказочный принц танцует. И глядит на него снизу вверх, как Моська, и что-то говорит, говорит, хотя, разобраться, говорить-то совсем не о чем...

Непонятное существо эта Маринка! Вот ведь точно знаю, что совсем неинтересно ей с этим чемпионом. Однако она и сейчас делает вид, что ей очень лестно его внимание и что разговор у них идет ужасно содержательный, и потом будет рассказывать об этом матери и подру-

гам с тайной гордостью: да, мол, вот так запросто танцевали у Юльки, и он мне, помнится, сказал... Зачем это ей? Или ей кажется, что если она потолкалась около какой-нибудь «звезды», то отблеск сияния той «звезды» падет и на ее чело? Маринка прекрасно знает, сколь мизерна цена тем лавровым венкам, которые так щедро раздает Юлька своим гостям, и нам с Маринкой в том числе. И все же Маринке нравится, когда и ее и меня называют талантливыми, подающими большие надежды. Это словно бы утверждает и возвышает ее в собственных глазах... Эх, Маринка, Маринка!..

Расходимся уже близко к полночи.

— Ну вот и еще один вечер пропал.

— Ну зачем ты так, Витя!.. Да, конечно, временами было скучновато, но все же...

— Что все же?

— Все-таки рассказ непосредственного участника — где ты еще услышишь?

— О том, как он с дружками пил необыкновенный коктейль?

— Он же и о своем рекорде что-то рассказывал.

— Кстати, я так и не понял, что за рекорд: толкал он что-то или кидал?

— Я тоже это как-то не уловила,— честно признается Маринка. Люблю ее за эту честность, терпеть не могу упрямых людей.

— Вот видишь, как здорово рассказывал!.. Ну да не в чемпионе дело. Он не виноват, что находятся дураки, которые приглашают и, развесив уши, слушают его примитивные рассказы о серебре и бронзе...

— Витя, а кто такая маркиза Рамбулье? — когда мы уже подходили к дому, вспомнила Маринка.

— О, это была интересная дама!.. Да ты просто запамятовала, а должна знать. Маркиза Рамбулье осталась в истории своим литературным салоном. Но то был действительно литературный салон!.. А кто нынче приходил к Юльке? Ты что, и всерьез считаешь, что там были сплошные таланты?.. Помнишь, художник, который нынче был представлен как «очень и очень талантливый»,— помнишь, как он полгода назад показывал свою полуабстрактную мазню?

— Это был не абстракционизм, а поп-арт,— уточняет Маринка.

— Будто это что-то меняет! Мазня остается мазней, как модно ее ни назови... А лирик?! Помнишь, как он читал:

Нет, не Лермонтов я, не Пушкин,
даже не Александр Дюма.
Разрядите меня, как пушку, а не то я сойду
с ума...

И при этом еще — слышала, наверное,— кто-то еще завопил: «Разрядите меня, как пушку! — какой колоссальный образ, какая экспрессия!..» Экспрессия! Да такие стишки, даже лучше, скоро роботы будут сочинять.

— Ну, ладно, что ты взялся этих дураков перечислять! — остановила меня Маринка.— Ну их всех туда-сюда.— И неожиданно, как умеет это только она, без всякого перехода: — Вот ты у меня действительно талантливый, и... и я тебя люблю!

Железная логика, ничего не скажешь!

Мы стоим около своего дома. Маринка прижимается к моему плечу, заглядывает в глаза и улыбается. Так улыбается, что я тоже не могу ей в ответ не улыбнуться. Все же славный человечек эта Маринка!

Но когда мы поднимаемся по лестнице, ко мне опять возвращается тоскливое ощущение пропавшего вечера. И сколько их, таких вечеров, пропало!..

15

Как-то прошлым летом ездили мы с Маринкой в Звенигород. Купались в Москве-реке, на которой он стоит, бродили по лесу. А еще и любовались городом, его древним кремлем с далеко видным со всех сторон Успенским собором. Опять же скажешь: умели деды ставить грады! Хоть Владимир возьми, хоть Углич, хоть ту же Москву — обязательно на холме, обязательно над рекой, а то и в таком месте, где одна река впадает в другую. И Звенигород стоит на холме, опоясанном рекой, и виден далеко окрест. И когда глядишь снизу, из Заречья,— таким высоким видится тот кремлевский холм, что храмы, его венчающие, кажется, задевают своими золочеными крестами облака...

Когда я бродил по таежному Медвежьегорску, мне почему-то и раз и два вспомнился Звенигород. Я пытался понять, при чем тут Звенигород, но так и не понял. Да

и в самом деле ничего общего у того и другого города не было.

И вот только теперь, раздумывая над проектом, вспоминая Медвежьегорск, я опять вспомнил Звенигород и как бы задним числом понял, зачем и почему он мне тогда приходил на память.

Вознесенный на высокий холм и далеко отовсюду видный, Звенигород приходил мне на память в равнинном, замкнутом тайгой Медвежьегорске, как его антитеза, его полная противоположность.

Мне захотелось поговорить об этом с Маринкой. Интересно, что она скажет.

Я начал с того, что да, конечно, умели наши деды выбирать для городов такие удобные и живописные места, что вот и по прошествии многих веков мы не перестаем восхищаться и красотой тех городов и их поразительно удачным местоположением. Однако же, воздавая должное художническому вкусу и практической сметливости наших предков, думается, не следует уж слишком предаваться самоуничижению и самобичеванию. Мы ведь тоже что-то понимаем, в чем-то разбираемся.

— Так в чем же дело?

— Просто наступили другие времена. Если раньше место для нового града выбирал князь, то место для нынешнего Медвежьегорска было выбрано вообще без какого-либо участия председателя горисполкома. Нынче места для новых городов выбирают геологи, гидрологи и другие столь же скромного общественного положения люди. А если еще точнее — места эти указывают и не столь люди, сколь сама природа...

— То есть?

— А вспомни, как залежи железной руды у горы Магнитной указали место Магнитогорску, на калийных солях поставили Соликамск, каменное сужение Ангары у Братского порога указало место плотине гидростанции, а вместе с тем и городу Братску.

— Значит, даешь Магнитогорск, Соликамск, а о красоте и думать нечего?

— А между прочим, князь выбирал обязательно высокое да еще и окруженное с двух сторон водой место не только и не столько из одной красоты. Ставя новый город, он в первую голову ставил новую крепость. Именно с крепости, с обнесенного высокой стеной кремля, и на-

чинались многие славные русские города. Ну, а если крепость, так где ее ставить, если не на высоком холме да у слияния рек — чем выше холм, чем больше воды, тем крепость неприступней...

— А ведь верно.

— Нынешние градостроители лишены возможности выбора и могут только тихо завидовать Юрию Долгорукому или Всеволоду Большое Гнездо.

— Ну, завидовать — это так. А что еще они должны делать. В наши времена...

— Да, в новые времена должны быть и какие-то новые принципы градостроительства... Ты посмотри, как дворцы, скажем, московского Кремля сливаются в нерасторжимое единство с крепостными стенами и башнями. И не только дворцы — все здания как внутри Кремля, так и снаружи его.

— Ну, нынче, сам же говоришь, и город зачинается по-другому, и уж, конечно же, крепостные стены и башни в нем ставить ни к чему.

— Это да. Но если в оные времена кремль был не только военным, административным, политическим, но еще и архитектурным центром города и, как магнит, держал вокруг себя слободы разного ремесленного люда,— где он, этот явственно обозначенный центр, в наших городах?! Большое скопление построек, пусть даже расположенных улицами,— это еще не город. Это просто много домов — и все. Но не таким ли безличным скоплением домов и улиц являются многие наши новые города, и мой Медвежьегорск в том числе?!

— Однако же, если не сам человек, а природа указывает место под новый город,— что тут поделаешь! Против природы не попрешь.

— А и не надо переть. Но когда природа то место указала и мы начинаем закладывать город — в наших руках, черт возьми, построить именно город, а не жилой придаток руднику или заводу. Чтобы не город при заводе, а завод при городе. И в наших руках построить его по единому плану, а не так, что сначала один рабочий поселок, да другой, да рядом с ними третий, а потом все их циркуляром объединяем в одно и начинаем считать городом...

— А может он, единый центр, совсем и не нужен?

— Готов согласиться: может быть, и не нужен. Но

все равно пусть эти три поселка с самого же начала выглядят, как части единого целого, пусть в их планировке чувствуется одна направляющая рука. Пусть город, как и любой живой организм, начинается с зародыша... В Индии, говорят, даже из двадцати кроликов не составишь одного слона. А что же, как не кролики эти наши рабочие поселки, из которых мы сплошь и рядом составляем новые города?!

...Зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал в ней Маринкин голос:

— Витя, в «Художественном» на Арбате, говорят, идет новый потрясный фильм. Сходим?

— Что ж, давай сходим...

Да, это звонила Маринка. А никакого разговора о старых и новых городах не было. Разговор этот я придумал за своим рабочим столом. Нынче у меня тяжелый день, работа над проектом застопорилась. Все вроде шло, и хорошо шло, а вот нынче взглянул критическим оком на дело рук своих и увидел, что и это не так, и то не эдак. Все-таки очень это каверзное дело — вписывать здание в уже застроенный массив, если спервоначала здание твое в плане не значилось...

Работа застопорилась. А в такие минуты опять начинают одолевать всякие сомнения в голову лезут всякие противоречивые мысли. И хочется поговорить с кем-нибудь, высказать эти мысли, хочется, чтобы кто-то или отверг их, или, наоборот, утвердил тебя в твоей правоте... С шефом я не люблю говорить о работе незаконченной. Вот сделаю, покажу и послушаю, что он скажет. А пока работа где-то на середине, тут самое лучшее поговорить с каким-то близким человеком, пусть даже и неспециалистом. Поговорить бы с Владимиром! Впрочем, многое из того, что сейчас мне приходит на ум, корешками-то уходит в наши с ним разговоры.

Близкого человека среди моих знакомых нет. Вот и приходится сочинять такие разговоры, в которых сам же с собою споришь. Самый близкий человек у меня — Маринка. Но заговорил я с ней как-то, а она мне:

— Ну что ты, Витя, мудришь? Твое дело — проект дворца культуры. Так ведь? Зачем же ты ломаешь голову над тем, правильно ли спланирован город да с умом ли застраивается? Какое тебе дело до всего города? Пусть о нем голова болит у главного архитектора...

Вот так мне ответила Маринка. И я на нее очень рассердился. Я даже сказал, что в ее рассуждениях слышу голос Альбины Альбертовны, ее любимой мамочки (хотя и не мог объяснить, почему, и вообще, при чем тут Альбина Альбертовна). Тогда я рассердился. А вот сейчас подумалось: может, Маринка-то права? Может, и в самом деле мне надо поменьше раздумывать над всякой всячиной, прямого отношения к моему проекту не имеющей?! Ну, что это дает, зачем зря тратить порох?!

Итак, идем в кино.

По дороге на Арбат я вспоминаю, как охотно согласился на предложение Маринки. А ведь недавно жалел о пропавшем вечере. Как это понимать?.. А понимать, видимо, надо очень просто. Тогда у меня было рабочее настроение и была возможность посидеть вечер в тиши кабинета Николая Юрьевича. Только и всего. А вообще-то я начал замечать в последнее время, что домой мне не хочется. Я вдруг понял, что у меня и нет никакого дома. У меня есть Маринка и комната в чужом доме, не больше. Что уж говорить о какой-то там атмосфере домашности, которую я испытал у Вали с Владимиром. В нашем доме есть удушливая, постоянно предгрозовая атмосфера Альбины Альбертовны. Сама-то Альбина Альбертовна, конечно, пребывает в железной уверенности, что и для мужа и для нас с Маринкой она создает райский уют, что дом — полная чаша и все такое. И скажи я ей, что у меня нет чувства дома — она бы просто не поняла меня или посчитала за ненормального... Ну, я-то ладно, интересно, есть ли чувство дома у Николая Юрьевича?..

Маринке ехать было ближе, и когда я подошел к кинотеатру, она уже успела купить билеты.

— У нас еще почти полчаса, что идти в духоту, посидим на бульваре,— предложил я.

— И вспомним молодость — ударим по мороженому!

Это был наш давний — еще с поездки на Кавказ — пароль: мороженое — значит, вспомним Кавказ.

— А уж если вспоминать как следует,— добавляет Маринка,— махнем сразу же после кино — нынче суббота — на дачу. А?

— Что ж, махнем,— все так же безвольно соглашаюсь я.

И вот мы сидим на удобной глубокой скамейке неда-

леко от памятника Гоголю и грызем твердое ледяное мороженое.

Тополиный пух белой порошей лежит по краям дорожки. Пахнет свежей зеленью, и после разогретого асфальта улиц и площадей запах этот слаще меда. В луже у водопроводного крана, не обращая внимания на играющую рядом детвору, купаются отчаянные воробьи. Две голубки сели на плечи Гоголю — одна на одно плечо, другая — на другое,— и монумент от этого приобрел неожиданно веселый, комический вид.

— Чудеса,— говорю я.— Прекрасный памятник убрали, затискали куда-то в глухой двор, а на его место поставили... ну, да сама видишь, кого поставили.

— Но это просто другой памятник,— возражает Маринка.— То — Гоголь уже в конце жизни, когда он жег «Мертвые души», а это — молодой.

— При чем тут старый и молодой?! То был Гоголь, а это какой-то мо́лодец в поддевке, ничего общего с Николаем Васильевичем Гоголем не имеющий...

— А по мне — так ничего. А вот надпись, даже на мой непросвещенный взгляд, не очень удачная...

— Да, тут не хватает только фамилии министра культуры. До сих пор подразумевалось, что писателям да еще народным,— а уж Гоголь не народный ли писатель?! — памятники ставит народ... Представь себе: рано или поздно, скажем, поставят памятник Толстому или Есенину — говорят, уже место выбирают — так вот, поставят памятник Льву Толстому и на́ нем будет написано: от Союза писателей...

Доспорить нам не дали.

К нашей скамейке притопала светленькая, вострoглазая девочка лет пяти в цветастом таком веселеньком платьице. Девочка строго, с подчеркнутым вниманием поглядела на нас и произнесла, именно не сказала, а произнесла:

— Вот сидите вы, едите...

И пальчиком в нашу сторону ткнула. Я уж подумал, не мороженого ли девочка захотела и просит вот таким странным образом. Нет, ничего подобного.

— А ведь в этот самый час...— продолжала девчушка, да так значительно и таинственно, глазенки свои сделала такими устрашающими, что можно было подумать, где-то что-то ужасное должно происходить в этот час.— А ведь

в этот самый час,— вдоволь насладившись произведенным впечатлением, после паузы повторила девочка:

На далекой Миссисипи
Крокодил грустит по вас...

Честно признаться, мы не сразу сообразили, что к чему, а когда поняли — громко рассмеялись. А Маринка — так просто зашлась хохотом:

— Здорово как!

Девочка же не только не поддержала нас, не только не улыбнулась, но даже и с некоторым осуждением поглядела на такую большую и такую легкомысленную тетю: по ней грустят, а она хохочет.

Пожале-ейте крокодила, —

попросила девочка,

Ведь несчастный крокодил
За последнюю неделю
Никого не проглотил...

— Вот теперь все,— наконец-то девочка позволила себе улыбнуться. Улыбнулась хитро, озорно — даже в этой улыбке чувствовалась незаурядная актриса.

— Маринка, не приставай к людям,— донеслось с одной из соседних скамеек,— сколько раз тебе говорить!

— Ах, тебя еще и Маринкой зовут! — уж и совсем в полный восторг пришла большая Маринка.— Ах, какое чудо!.. Дай я тебя поцелую.

— Можно,— милостиво разрешила девочка и подставила пухленькую румяную щеку.

Маринка облобызала свою тезку, и та вприпрыжку убежала к матери.

Я посмотрел на часы:

— Нам пора.

Фильм был о мужчине и женщине. Он потерял жену, она — мужа. У него растет сын, у нее — дочка. Дети воспитываются в одном загородном пансионате под Парижем, родители навещают их. Там они впервые и встречаются. Между ними зарождается — это показано очень тонко — любовь. Конец фильма: да, они любят друг друга, они счастливы. Но в одну из самых счастливых минут вдруг узнается, что счастье это неполное, что не так-то просто новой любви переступить через прежнюю, первую.

Хотим мы того или нет, но все, что с нами бывает, навсегда остается в сердце!..

Не знаю уж по каким таким ассоциациям, но перед моим мысленным взором промелькнула Валя. И хотя длилось это какое-то мгновение, но в груди защемило-защемило, словно кто взял и стиснул сердце...

По дороге домой мы, по обыкновению, говорим о только что виденном. Правда, частенько получалось так, что мы с Маринкой замечали в фильме или в спектакле одни и те же детали, одни и те же находки и промахи, будто смотрели одними глазами. Поначалу это обстоятельство приводило нас, особенно Маринку, в восторг. Да и как было не радоваться: значит, столь близким было родство наших душ, значит, мы как бы постоянно были настроены на одну волну. Со временем это счастливое обстоятельство стало радовать нас все меньше и меньше, потому что разговор получался у нас хоть и очень душевный и очень согласный, но довольно скучный.

— Ты помнишь, как он говорит ей одно — ну, когда сидят в кафе — а думает совсем о другом?

— Да, там режиссер нашел точную деталь: во время разговора он вынимает из вазы на столе красную розу — любимый цветок той, о которой думает...

— А помнишь...

Хорошо «а помнишь» раз или два, а когда семнадцать — это уже не так интересно.

Вот и нынче в метро, по дороге на Казанский вокзал, стоило мне вспомнить какой-нибудь эпизод из фильма — Маринка тут же подхватывала и продолжала говорить о нем так, как говорил бы я сам.

— Хорошо там с собакой получилось — это когда они идут берегом моря, прибойная волна накатывается на песок, а по этому мокрому песку с такой великой радостью собака бегает...

— Да, через собаку передано их состояние, может, сильнее, чем если бы они сами были в кадре. И как только режиссер сумел заставить так здорово сыграть — не актера — собаку!..

Лишь в одном наши точки зрения не сошлись.

Есть в фильме эпизод, когда главный герой, автомобильный гонщик, сразу же по окончании очень трудного состязания на той же машине едет ночь напролет почти через всю Францию, чтобы утром увидеть любимую.

И получается, что всего проехал он, чтобы увидеть любимую женщину, что-то чуть ли не шесть тысяч километров.

— Шесть тысяч! — воскликнула Маринка.— Как мало сейчас мужчин, способных на такое! — И зачем-то обвела взглядом полупустой вагон электрички, куда мы как раз зашли, словно бы хотела убедиться, что среди едущих в вагоне мужчин, конечно же, не найдется ни одного, «способного на такое».

— Ну, во-первых, далеко не каждый мужчина располагает гоночной машиной,— сказал я на это.— А во-вторых, ровно столько, наверное, нынче и женщин, из-за которых стоит гнать шесть тысяч верст.

Тут-то наши мнения и разошлись. Маринка продолжала настаивать, что дело все-таки в мужчинах — не тот нынче пошел мужчина, измельчал: он или увяз в какой-нибудь обожаемой им технике — электронике или, еще хуже, погряз в быту, в житейских мелочах, и утратил чувство поэтического, возвышенного отношения к женщине.

Что ж, какая-то доля истины, может, даже и немалая, во всем этом, пожалуй, есть, отвечал я ей. Но надобно, наверное, кума, и на себя оборотиться.

— Ты помнишь наш разговор о мини-юбках?.. А обратила внимание, как одета женщина, из-за которой он проехал шесть тысяч? Он ни разу не видел ни ее плеч, ни коленок: она то в глухом свитере и длинной юбке, то в каком-нибудь таком платье, под которым и фигура-то едва угадывается. Значит, за что-то другое он ее полюбил. А много ли этого другого у тех нынешних модниц, которые из кожи, а точнее бы сказать, из одежи вон лезут, чтобы привлечь внимание мужчины в первую очередь к своей внешности?! Из-за одних же красивых коленок — это даже и при наличии гоночной машины — шесть тысяч, согласись, покажется далековато. Потому что голые коленки, такие же, если не лучше, можно и поблизости найти. Труднее найти человека. А если ты его нашел — и десять тысяч не расстояние, и на Луну за ним полетишь.

— По-твоему получается, что все женщины пустые и легкомысленные, а мужчины — сплошные умницы.

— И совсем не получается. Сколько среди нашего брата дураков — это даже и статистике не поддается.

И пустопорожних модников, которые мало в чем уступят вашему брату, тоже порядочно.

— Самокритично!

— Самокритика тут ни при чем. Общий парадокс века: наше время стало временем... ну, как бы это сказать... триумфа белых ворон. Если раньше выделяться, отличаться от всех считалось дурным тоном, то сегодня к этому стремятся, и стремятся не как-то там втайне, в душе, а совершенно открыто... Я не об этом.

— О чем же?

— Я о том, что просто-напросто мы, наверное, друг друга стоим... Сколько написано стихов — и каких стихов! Каких великолепных стихов! — о женской красоте, о женском обаянии. Но согласись, если бы перед Пушкиным предстала синтетическая красавица с дымящейся сигаретой в зубах и стаканом — пусть даже бокалом — пива в руке,— вряд ли бы он написал: «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты»... Или, по нынешним временам, и женское обаяние, и женское достоинство стали устаревшими понятиями?! Тогда и откуда взяться поэтическому отношению к женщине?

— Витя, Витя! На нас уже оглядываются. Потише.

А, черт, и в самом деле, чего ты раскричался-то? Кого и в чем хочешь переубедить?!

Вспомнилось, как однажды точно так же остановила Владимира Валя... Да, вот Владимир за Валей не то что на гоночной машине, а пешком бы пошел хоть за шесть, хоть за десять тысяч километров...

Мне вспомнилось, как в первый же вечер Владимир сказал: дело оборачивалось так, что или мне или Вале оставлять учебу из-за Василька. Валя настояла, чтобы я кончал: тебе, мол, только год остается... И я тогда еще спросил себя: а способна ли на такое моя милая Маринка? Риторический вопрос. Ей такое и в голову не придет. Ее голова занята другим: как это было бы здорово, как красиво, если бы ради нее кто-то прошел или проехал шесть тысяч километров...

16

Мы проехали свои тридцать километров и сошли.

Малаховка уже спала. Только редкие окна светились

в домах, что поближе к линии. А чем дальше мы уходили от станции, темнота делалась гуще.

На дереве, недалеко от тропы, по которой мы шли, ворохнулась и пискнула, должно быть, во сне какая-то пичуга.

— Страшно! — Маринка вздрогнула и прижалась ко мне.

Я вспомнил недавнюю — сколько это было: две или три недели назад? — охоту на глухарей и улыбнулся. Все относительно: мы провели целую ночь в дикой тайге, и нам было не так уж и страшно; Маринке страшно поздним вечером в трех шагах от дома...

Домработница Маша зимой жила на даче наездами, а с началом сезона переселялась в Малаховку насовсем: копала огород, возилась с рассадой, работала в саду. Так что было кому нас и встретить, и приготовить ужин.

И вот мы сидим с Маринкой на той же нашей террасе. Она — в своем любимом плетеном кресле-качалке, я — на плетеном же лежаке; на столе закуска и бутылка вина. Все так, как и четыре года назад. Даже ночь такая же темная, беззвездная. Разве что Маринка не в том памятном ромашковом сарафане — его уж, поди, и нет в живых,— а в легком халатике. Май стоит на удивление теплый, по ночам и то тепло, и я тоже в одной рубашке без пиджака.

Все так же, как и четыре года назад. А только в качалке и та и не та Маринка. Она изменилась, постарела? Ничуть. Стала менее красивой? Нисколько. Женской красоты у нее, может быть, даже еще и прибавилось: округлились руки, налились груди... Так что дело, наверное, не в Маринке. Ты сам стал другим и глядишь на нее уже другими глазами. Тогда ты видел эти руки, эти коленки и ни о чем больше не задумывался, тебе одного *этого* было достаточно. Теперь мало, теперь задумываешься.

— Ну, так за кого выпьем,— Маринка подняла стакан,— за мужчин или за женщин?

— Давай выпьем за женщин.

— Это великодушно с твоей стороны.

Маринка улыбается. Когда она улыбается вот так, один на один со мной, улыбка у нее выходит какая-то по-мальчишески задорная, и Маринка, наверное, знает, что такая она мне нравится. А нынче и эта улыбка меня почему-то не трогает.

— За шесть тысяч!

Дались ей эти шесть тысяч! Мгновенной чередой у меня проносятся в голове: гонщик в летящем через всю Францию автомобиле; кинотеатр «Художественный», рядом с ним церквушка на Новом Арбате; похожая церквушка в Медвежьегорске, до которой из Петербурга тоже, наверное, около шести тысяч...

Я выпиваю свой стакан и говорю Маринке:

— А тебе не припоминается... Ну, что ли, обратная картина: женщины за мужчинами проехали шесть тысяч верст? Притом проехали не в комфортабельных гоночных машинах по асфальтированному шоссе, а на перекладных, в санях да телегах, по снегу, по пыли, по грязи...

— Ты, Витя, говоришь какими-то загадками.

— Почему же? Я говорю об одном общеизвестном факте русской истории, Марина Влади. Было это лет сто пятьдесят назад...

— А-а, ты про жен декабристов!

— Да, я говорю про русских,— я выделил это слово,— женщин.

— Ну зачем же напирать-то! — Маринка даже немного отодвинулась от меня.— Разве национальность имеет какое-то значение.

— Не знаю, но когда Некрасов писал об этих женщинах, то свою поэму, как ты помнишь, почему-то назвал не просто «Женщины», а «Русские женщины». Для него, как видишь, это имело значение!

— Неинтересная поэма,— с присущей ей логичностью сказала Маринка и даже губы этак пренебрежительно скривила.— Малохудожественная.

Захотелось сказать в ответ что-то резкое, грубое, ругательное, может, даже ударить по искривленным губам, и на какую-то секунду мне стало не по себе от такого нелепого, впервые явившегося желания.

— Ну, конечно, какой интерес могут представлять для современного да еще и утонченного читателя переживания женщин, едущих за своими мужьями из блистательного Петербурга в каторжную Сибирь?! Едущих не на год, не на два, на всю жизнь. К тому же один сплошной текст и никаких тебе нюансов, никакого подтекста... Ну да мы сейчас не о поэме. Мы — о русских женщинах. И вот, как ты считаешь: есть такое понятие «русская де-

вушка», «русская женщина»? Или и его тоже надо считать безнадежно устаревшим?!

— Тебя, Витя, словно подменили. В последнее время с тобой разговаривать стало невозможно: все вопросы, вопросы...

Маринка явно хитрит. Сказать нечего, вот и поэма неинтересная, и разговаривать невозможно.

— А может, ты все же ответишь,— настаиваю я, хотя и понимаю, что настаивать глупо, ни к чему.

— Да что отвечать-то. Ведь это когда-а было!

— Чем не ответ! Было и прошло, и нечего об этом поминать. Автомобилист, едущий через всю Францию, чтобы обнять любимую,— это тебя потрясло. А женщины, едущие через всю Россию, чтобы разделить тяжкую участь своих мужей,— это малоинтересно.

— Я не понимаю, что ты хочешь.

— Видишь ли, когда Некрасов так назвал свою поэму, я не думаю, что он хотел как-то обидеть или тем более унизить, скажем, француженок или англичанок. Я думаю, что он был интернационалист не меньше нас с тобой. Видимо, он просто хотел выделить, подчеркнуть какие-то черты именно русского характера, русской женщины. У французов и француженок есть что-то свое, отличающее их от русских, у англичан — свое. Ну и, как говорится, на здоровье. Это даже хорошо, что люди разных наций — разные.

— Что же плохо?

— Плохо, когда это «свое» начинает размываться, нивелироваться под мировые стандарты, а то и вовсе заменяться, вытесняться чужим.

— А как же тогда со слиянием наций в будущем?

Вот она, школьная постановка вопроса! Заучила формулу и с умным видом «встромляет» ее в разговор.

— Ну, во-первых, это дело далекого будущего. А во-вторых, слияние должно идти, наверное, через обогащение чужим, без отказа от своего, а не наоборот. А то уж больно бедными придем мы в это прекрасное далёко. Лучше будет, наверное, если сольются богатые, а не обнищавшие... Да и уж если ты так хорошо это заучила, то надо бы помнить, что единение наций должно идти через расцвет — заметь: не через угасание, а через расцвет — национального.

— А вот это я всегда представляла очень смутно...

Мне не нравилось, что Маринка своими дурацкими вопросами увела разговор куда-то в сторону. Но уж если ей непременно хочется показать свою ученость, я подниму брошенную ею перчатку.

— А мне так, наоборот, представляется очень ясно, очень конкретно: текут реки, сливаются друг с другом и образуют море.

— И все?

— И все.

— А как же тогда с расцветом? В море-то вода одинаковая.

— В Черном или Каспийском — да. Но то море будет немного отличаться от них... Помнишь, когда мы ехали по Военно-Грузинской дороге? Помнишь то место, где сливаются Арагва с Курой? Голубая Арагва уже влилась в темно-желтую Куру, но еще долго идет, не смешиваясь, ясной голубой струей... Так вот, мне думается, что и вода каждой реки, впадая в то море, будет сохранять свой особый вкус и цвет. Потому, что у каждой реки, у каждой нации — свой особый исток. У одной в горах, у другой на равнине, у третьей в лесах...

— А у тебя здорово получается, Витя,— признала Маринка.— Я что-то начинаю понимать.

Здорово получается не у меня, а у Владимира. Я лишь повторяю то, что слышал от него. Ну, не то чтобы повторяю, однако раньше у нас с тобой об этом вряд ли бы и разговор мог зайти.

— Ну, там здорово или нет, а только то море, или, говоря по-другому, общечеловеческая культура, станет богатым лишь в том случае, если каждая река будет нести свое, национальное, когда она будет питаться своими национальными истоками. И по дороге к морю той или другой реке вовсе не обязательно оглядываться на соседние или тем более подлаживаться под их течение. Бежит горная речонка вприпрыжку по камням-валунам — и пусть ее. А Волге-то лесной-степной зачем, глядя на нее, вприпрыжку — она же Волга — широка, глубока, сильна...

— Ну что ж, нам ничего не остается, как выпить за истоки!

Мне опять не понравилось, что Маринка только что сказанное восприняла на каком-то полусерьезе: молодец, Витя, давай выпьем, и все. А для меня это было важно

и дорого потому, что я, может быть, впервые попытался самостоятельно осмыслить слышанное от Владимира. Так бывает, когда один композитор берет у другого тему и разрабатывает ее по-своему.

— В твоей морской картине, похоже, есть какой-то подтекст, но я его не совсем улавливаю. Кто на кого оглядывается и кто к кому подлаживается?

Мне уже не хотелось вести разговор в прежнем ключе. Маринка жаждет конкретности. Что ж!

— Мало ли кто оглядывается. А если недалеко ходить за примерами, скажем, не дальше Малаховки — прямо с тебя и можно начинать.

— Ого!

— Вот тебе и ого. Течешь-плывешь вроде бы Волгой, а оглядываешься на Сену.— Мне опять захотелось лениво развалившейся в кресле Маринке сказать что-то резкое.— Почему ты, русская женщина, не осмеливалась надеть русские сапоги, пока тебя на это не благословил Париж? Почему ты танцуешь шейк и хали-гали и поешь песни, написанные в тех же припадочных ритмах?

— Постой, постой, Витя, но песни-то сочиняю не я,— остановила меня Маринка.

— Что верно, то верно. Однако же сочиняют их опять же наши, доморощенные композиторы... И коль уж речь зашла о сочинителях. Сколько ты... ладно, не ты, а многие, в том числе и мы с тобой... Так вот, мало ли мы с тобой видим фильмов, сделанных нашими режиссерами, но сделанных под французов или под итальянцев? Даже русских классиков и то ухитряются экранизировать под заграничным соусом. А сколько мы прочитали, в той же «Юности», рассказов и повестей, написанных под Хемингуэя, под Сэлинджера, даже под Камю — под кого угодно, лишь бы только, упаси бог, не быть похожим на кого-нибудь из русских писателей.

— Ну, уж ты, пожалуй, слишком.

— Слишком? Да вот... где мой портфель? — Я встал с лежака, взял портфель и достал из него толстый литературный журнал.— Журнал проводил анкету, и вот тебе ответы одного модного молодого поэта. На вопрос, кого он считает своими учителями, поэт перечисляет... раз, два, три... шестнадцать, нет, семнадцать — какая энциклопедическая широта! — семнадцать имен, и среди них ни одного — погляди и убедись! — ни одного русского.

Будто бы не было и нет великой русской литературы, великого руского искусства и будто бы не у кого учиться.

— Но разве нельзя учиться у иностранцев?

Железная Маринкина логика!

— Да кто же говорит, что нельзя! Россия при Петре у кого только не училась — у немцев, у голландцев, у англичан, даже у своих врагов шведов, но — оставалась Россией. Горький, например, сам признавался, что учился у французских писателей. Но, учась у французов, он все же писал не под французов, а оставался русским писателем.

Говорил я горячо, но получалось так, что мысли, казавшиеся мне большими и яркими, высказывались какими-то тусклыми, закругленными («учусь»!) словесами. А может, еще и то сбивало и сердило меня, что Маринка относилась к нашему разговору как-то уж очень спокойно, если не безразлично,— ну, будто бы о тех же самых купальниках говорили. Впрочем, о купальниках она рассуждала с большим пылом и жаром.

— А мне так казалось,— Маринка лениво потянулась в кресле,— что в последнее время как раз произошел поворот к прошлому.

— Ты хорошо сказала: национальные истоки для тебя — прошлое.

— Не придирайся к словам. Разве в них дело?

— Кстати уж, а что ты разумеешь под истоками?

— Ну, народное искусство...— Маринка замялась.— Народные песни, хороводы, резьба по дереву...

— Прялки, туеса, шкатулки,— в тон ей продолжил я.

— А что, разве это не правильно?

— Оно, может, и правильно, но больно уж как-то поверхи. И кое-кому зацепиться тут очень удобно. Ах, вы за старину?! Ах, вам снятся-видятся резные наличники, кокошники, расписные прялки?! А не нужны ли еще впридачу лапти и курная изба? И пошло-поехало, и прекрасная, высокая идея осмеяна, похоронена... Истоки — это, конечно, и народное искусство, и Кижи, и Василий Блаженный. Но — не только. Это, наверное, еще и...

— Что и? — поторопила меня Маринка.

Черт возьми! Оказывается, куда проще изречь, что это не так, а вот *как* — скажи, попробуй!

— Истоки надо искать, наверное, прежде всего в истории народа. И не в истории вообще, а в тех ее... ну,

что ли, узловых сплетениях, которые складывают и обозначают национальный характер народа. Для нас, русских, это, наверное, и Илья Муромец с Васькой Буслаевым, и Куликово поле, и Бородинское поле, а еще и Ермак Тимофеевич со Стенькой Разиным... Это, между прочим, и декабристы, и Некрасов с его «малохудожественной» поэмой о русских женщинах.

— Ну, если у меня поверхи, то у тебя, может, и глубоко, но уж очень общо,— огрызнулась Маринка.— Русский характер — что это за абстракция?

Вот и опять наивная, нелогичная Маринка поставила тебя в тупик. Вроде и вопрос-то не такой уж мудреный: кому не известно, что русский характер — не абстракция. Алексей Толстой, вон, в войну даже рассказ под таким названием написал. А только как ответить своими словами?!

— Давай уж будем последовательны. Может, русский человек — тоже абстракция?

— Ну зачем же ты на вопрос вопросом отвечаешь?! Тогда давай лучше спать,— так неожиданно оборвала разговор Маринка и при упоминании про сон даже зевнула.

Это меня уже окончательно вывело из равновесия: говорим о важных, можно сказать, святых вещах, а она зевает, будто старый пустой анекдот услышала!

— Да ты...— я резко встал со своего места и с силой шмякнул оказавшийся у меня в руках журнал о стол.— Да ты...

— Что я? — Маринка, видимо, почувствовала мое состояние и, не дожидаясь ответа, уже другим — примирительно-ласковым — голосом сказала: — Ты, Витя, наверное, лишнего выпил... А если что еще хотел сказать — завтра скажешь. Завтра у нас целый день. А сейчас и действительно спать пора, поздно.

Пока Маринка говорила эти слова, первая, самая высокая волна схлынула. Теперь я злился уже не столько на нее, сколько на себя. «Здорово получается!» У Владимира — вот у кого получается! Он ведет разговор, и никакими вопросиками его не собьешь. А ты растекаешься мыслью по древу, а когда нужно сказать что-то главное, начинаешь мямлить, спотыкаться, будто и в самом деле лишнего хлебнул... Ну и то сказать: разговариваешь ведь не с противником, а с близким челове-

ком, единомышленником — почему же он тебя так плохо понимает?..

Все, как и четыре года назад...

Нет, не так.

Не так!

Наутро встали поздно.

Со сна нехотя, молча позавтракали.

День обещал быть погожим, солнечным.

— Может, сходим в лес, погуляем? — предложила Маринка.

— Давай сходим, погуляем.

Больше всего лес я люблю в солнце. В дождь или в серые дни и он мне кажется серым, однообразным. А в солнце — весь трепещет золотыми бликами, весь живой и многоцветный. И лесные жители тоже радуются солнцу — поют, стрекочут, цвенькают, аж звон стоит в ушах.

Особенно хорош майский лес. Деревья покрыты только-только народившейся листвой — чистой, нежной, еще не испытавшей обжигающих лучей июля. Трава под ногами тоже молодая, лишь недавно пробившая покров прошлогодней листвы. И куда ни глянешь — все зелено, свежо, молодо.

Предвесенняя тайга мне тоже по-хорошему запомнилась. Но чувствовал я себя в ней напряженно, как в гостях. Здесь я был дома, и все кругом было свое, близкое. Ну и, конечно, веселей был этот пронизанный солнцем подмосковный лесок ночной угрюмоватой тайги.

Маринка шла лесной тропой впереди меня. На ней было короткое светлое платье без рукавов, в темных волосах — и когда только успела! — белела заколотая кисточка цветущей черемухи.

«А если что еще хотел сказать — завтра скажешь...»

Нет, продолжать вчерашний разговор не было никакого желания. Зачем?.. Мне куда интересней было мысленно продолжить другой разговор. Тот, короткий ночной разговор в тайге с Владимиром.

Для Вали и русский человек, и русский характер — это уж определенно не абстракция. И про жен декабристов она вряд ли сказала бы: «Так это когда-а было!..» Для нее это не прошлое. И, читая поэму Некрасова, она,

наверное, меньше всего задумывалась над ее литературными достоинствами, зная, что в основе поэмы лежит не досужий вымысел автора, а реальный жизненный факт и реально жившие люди... Шесть тысяч километров. Могут ли идти в какое-то сравнение те и эти?!

Похоже, наше хождение по лесу привело Маринку в отличное настроение. Вот она прихлопнула ладошкой нарядную бабочку и радуется, как ребенок. А вот сложила руки рупором и негромко кричит в лесную чащу:

— Люб-лю-ю!

Потревоженный лес возвращает ей приглушенное «ю-у» и опять затихает.

...В очень высокой цене у нас слова! А ведь кому не известно, что истинная суть человека определяется поступками. Но слова говорятся каждый день и каждый час, поступки же совершаются куда реже, а есть и такие, что один раз в жизни. «Я люблю тебя! Я люблю тебя больше жизни!». Как это сладко звучит! Но наступает критическая минута, и оказывается, что человек хоть и любит другого больше жизни, но не больше себя, себя-то любит еще больше... Другой таких слов на ветер, как вот сейчас Маринка, не бросает, но в ту минуту своим поведением «доказывает», что именно он-то и любит. Но ведь минута когда-а наступит! Может, пять лет пройдет, а может, и полжизни, а крутого поворота, крутой минуты так и не наступит...

Стань я кому-нибудь рассказывать про Валю и про Маринку — и что? А то, что любой и каждый мне бы сказал: ну что ты, Валю и любить-то не за что — неинтересная, неживая какая-то, не то что Маринка... Потому что все хорошее, что есть в Маринке,— все, как в витрине, на виду. У Вали на виду очень мало, все главное — в глубине...

— Гляди-ка, Витя, медвежья берлога.— Маринка показывала на яму у вывороченной с корнем березы.

— Потише,— сказал я шепотом.

— А что? — тоже шепотом спросила Маринка, и у нее даже глаза загорелись.

— Как бы медведь не услышал, он небось где-нибудь поблизости...

Маринка не знала, то ли обидеться, то ли рассмеяться. В конце концов рассмеялась. Завидно легкий характер у человека!

Мы вышли на опушку. Вдали, за речкой, за полями, сверкнул на солнце шпиль сельской колокольни. И когда я увидел эту колокольню, понял, что все утро, весь нынешний день думаю о своей медвежьегорской церквушке. Разговариваю с Маринкой, вспоминаю таежную ночь у костра с Владимиром, гляжу, как березы купаются в солнечном свете, а где-то там, на дне памяти, маячит старенькая церковка. И ко мне приходит окончательное решение: ее надо сохранить! Я завтра же позвоню в Медвежьегорск и скажу, что этот памятник истории включаю в свой общий архитектурный замысел. Наверное, это будет не так просто. Так же, как непросто будет добиться и отмены решения о сносе церквушки. Но я буду добиваться.

Я добьюсь!

И как только я себе это сказал — сразу стало легко. Горький осадок после вчерашнего разговора тоже стал вроде бы рассасываться.

Маринка по-прежнему шла впереди и тихонько напевала. Я не заметил, как и сам начал высвистывать что-то веселое.

Хорош майский лес в солнце!

17

Нынче в самом конце рабочего дня Маринка зашла за мной, и мы заявились домой вместе.

Встретила нас Альбина Альбертовна подозрительно ласково. Не иначе, какой-нибудь подвох скрывается за этой медоточивой ласковостью.

Так и есть. Чтобы накормить милых детей чем-то вкусным, затеяла Альбина Альбертовна какой-то необыкновенный салат, а майонеза — ну надо же, как нарочно,— оказывается, нет, весь вышел. А ей так хочется угостить нас чем-нибудь вкусненьким...

Само собой разумеется, не Мариночке же идти в магазин, да еще вечером. Идти надо мне. Ну, а уж пошел — заодно, какая разница! — надо купить сыра и колбасы «салями», да немножко ветчины, а если не очень жирная — можно и побольше. А еще хорошо бы — заодно же, какая разница! — купить...

Я уже открыл дверь, уже шагнул за порог, а Альбина Альбертовна все еще продолжает наращивать перечень

продуктов, которые заодно с банкой майонеза мне следует купить.

Потом мы ужинаем. Салат и в самом деле очень вкусный, как впрочем, и все остальное.

Маринка за ужином как-то к слову вспоминает востроглазую проказницу, которая пугала нас крокодилом на Гоголевском бульваре.

— Пожалейте крокодила!..— с той же просящей интонацией протянула Маринка.— Ах, мама, если бы ты видела, какое чудо эта девчушка!

Почти сразу же после ужина ложимся. Нет, не спать — до сна еще далеко — просто застилаем свой диван и ложимся. Почитать, поговорить, поиграть в нашу игру...

И когда мы ложимся, я говорю Маринке:

— А почему бы и нам не завести такое чудо?

— Ну, зачем ты опять за старое?! Ты же знаешь...

Да, я знаю, потому что спрашиваю об этом уже не первый раз.

Как поженились, детей иметь было нельзя, потому что еще учились. Но и когда институт остался позади, оказалось, что им, то есть нам, опять детей иметь нельзя, работа у них такая, призвание такое, что дети неизбежно будут помехой.

— Мы же с тобой творческие люди, Витя, и зачем же нам свои творческие замыслы приносить в жертву?! Тем более что мы пока еще так мало успели, нам надо сначала что-то сделать.

— Но ведь я скольких редакторов знаю как мужчин, так и женщин, у которых по двое, по трое детей,— и ничего.

— То — редакторы, а у меня еще и творчество. И оно для меня — ты это прекрасно знаешь — важней всяких там брошюр о кукурузе... Конечно, мне еще мало удалось напечатать, у меня на счету пока только журнал да женский календарь, но тем более, значит, нельзя себя по рукам связывать...

Ох, уж это творчество! Маринка говорила про небольшой очерк, который опубликовал журнал для крестьянской молодежи, и про статью, напечатанную в женском календаре. В Юлькином салоне статейка эта произвела настоящий фурор. «Представьте,— взахлеб рассказывала собравшимся «талантам» какая-то на-

сквозь крашенная девица,— купила я календарь, листаю от нечего делать и вдруг вижу — Мариночкина статья. Статья невелика, но ведь это же мильонный тираж! Незаметно-незаметно, а наша скромная Мариночка становится всесоюзной известностью...»

Ох, уж это мне творчество!.. Я как-то стесняюсь говорить про свою работу, что она творческая, работа и работа. А Маринка этим словом так и сыплет. Дурное влияние Юлькиного салона, что ли, сказывается — там это словечко в большом ходу... Оно бы сначала сотворить что-то надо да подождать, как другие это оценят, а уж потом колотить себя в грудь: я — творческая личность. Впрочем, даже и тогда колотить не обязательно.

— Конечно, хорошо бы иметь ребенка — разве я что говорю. Но ведь это значит сколько-то лет вычеркнуть из жизни, потому что, кроме пеленок да манной каши, что ты еще знать и видеть будешь... Ты скажешь: мама. А мама говорит, что и так на ее плечах весь дом и сколько еще можно на нее наваливать.

— А еще она говорит, пока нет детей, только и пожить-то в свое удовольствие,— подсказываю я.

— Что ж, в какой-то степени и это верно...

Пожить в свое удовольствие! Тоже слышу не первый раз. Но что это такое: пожить в свое удовольствие?! Слова одни и те же, но, наверное же, каждый вкладывает в них свои понятия... Самое мое большое удовольствие в жизни — это работа. Работа и Маринка. Может, про Маринку говорить так и не совсем хорошо, но что делать, если она и в самом деле *мон плезир,* как говорят французы,— мое удовольствие...

— А что ты понимаешь под этим? — спрашиваю я Маринку.

— Под чем?

— Ну, вот пожить в свое удовольствие?

— Это одним словом не скажешь...— Маринка в явном замешательстве.— Ну, вот есть у меня ты...

Хорошо, а еще что? Молчишь. Оно и понятно. Работа для тебя никакое не удовольствие. Сказать, что большую радость тебе доставляет коловращение в Юлькином салоне, у тебя храбрости не хватает — уж очень мелка та радость.

— Что же еще? Что?

— Ну, не знаю... Радоваться жизни. Что-то делать в жизни...

Мне хочется спросить: а что ты делаешь в жизни,— но я удерживаюсь: не слишком ли жестоко?! Маринка же не настолько глупа, чтобы не понимать, что все ее творчество — не больше, как красивое слово, красивая роль, которую она однажды избрала и теперь в меру своих способностей играет перед окружающими и перед самой собой. И если лишить ее этой иллюзии — что же ей останется?!

Минуту-другую мы молчим, и я вдруг слышу мерное посапывание Маринки. Да, она уже спит. Она засыпает, как ребенок, неожиданно и быстро. Вот только что разговаривала с тобой, может, рукой тебя трогала и — уже спит. Спит тоже по-детски — обязательно в какой-то неловкой позе, потому, наверное, и выглядит трогательно-беспомощной. И если днем или там перед сном мы поругались, поссорились с ней, и ложусь я сердитым, может, даже злым на нее, стоит только увидеть ее спящую — вся злость уходит, хочется пожалеть, приласкать этого трогательно-беспомощного ребенка...

Мне не спится.

Я все думаю и никак не могу понять, что же произошло? И когда это произошло? Как так получилось, что говорим мы вроде бы об одном и том же, а понимаем по-разному?! Куда девалось родство душ, какое обнаружилось еще на Кавказе, еще в самом начале нашего знакомства, и которому мы так радовались?! Да и как не радоваться: ведь это же прекрасно, когда люди понимают друг друга с полуслова... Но что же это такое тогда происходит? Книгу ли читаем, кино ли глядим — смотрим на все вроде бы одними глазами. В музей какой пойдем или на художественную выставку — переглянемся перед картиной — и уже поняли друг друга. Вращаясь в одной и той же интеллектуальной, как бы сказала Юлька, среде, мы даже анекдоты узнавали одинаковые: я начну рассказывать, а Маринка после первой же фразы усмехается с этаким чувством превосходства: с бородой, мол, наш завюмором еще на той неделе рассказывал. Но как же так получается, что во всем этом у нас полное родство душ, а в чем-то большом и главном родства нет, как не бывало?!

И не мишура ли это книжное и киношное родство по

сравнению с таким родством, с таким отношением друг к другу, какое я видел у Вали и Владимира?! У нас с Маринкой все больше слова да слова, человек же сказывается в поступках...

Я попытался вспомнить, что говорила мне о своих чувствах Валя — а ведь она любила меня, и еще как любила! — пытался вспомнить и не припомнил ничего. Ни единого слова. Да и как было припомнить, если таких слов Валя попросту не говорила... И в то же время как много и красиво умела говорить о своих чувствах Маринка! Тогда мне казалось, что Валя, наверное, и не может любить по-настоящему, а вот Маринка — Маринка любит меня глубоко и возвышенно.

У Вали с Владимиром, на первый взгляд, нет никакого родства, у них и специальности-то друг от друга далекие. Но это — только на первый взгляд. А когда жизнь повернулась круто, Валя без красивых слов поступилась, может быть, даже своей мечтой. Теперь ей доучиваться в институте нелегко... Маринка не хочет поступиться ничем. А ведь семья, наверное, только начинается с радости, а потом-то всяко бывает, и обязательно приходится то одному, то другому в чем-то поступаться.

Сколько раз я говорил Маринке: ладно, учились, но теперь-то мы самостоятельные люди, давай уйдем из родительского дома и будем жить сами по себе и делать что хотим. Куда там! Маринке жить под боком у мамаши удобнее. Нет, она так не говорит, она говорит другие, более возвышенные слова, но слова можно сказать всякие...

Какие-то малопонятные для нее самой брошюры редактирует. А ведь, не вмешайся в это дело все та же мама, могла бы работать корреспондентом в молодежной газете, о чем мечтала и для чего, собственно, и училась. Но быть корреспондентом — значит ездить, неизвестно где спать и неизвестно что есть — нет, это решительно не подходит для Мариночки при ее хрупком здоровье... И ребенка она иметь не хочет все по той же причине: лишние хлопоты, без него — удобнее. Надо пожить в свое удовольствие!..

Так что же, кроме красивых слов, остается тогда от нашего родства душ?! Родство во время игры «Поцелуй меня, потом — я тебя»? Не слишком ли мало?! У Вали с Владимиром — семья, а у нас? Любовное сожительство?

Пожить в свое удовольствие!

Вообще-то человек, наверное, должен жить так, чтобы жизнь для него была не жертвоприношением, не тяжким крестом, а радостью, удовольствием. Все дело в том, что разуметь под радостью и удовольствием, как и от чего получать их в жизни! Один радуется, что убрал поле пшеницы, а другой — что в булочной ему попался выпеченный из той же пшеницы батон, да не какой-нибудь, а с хрустящей корочкой, и для полного счастья ему не хватает разве лишь того, чтобы батон этот намазать черной икрой. Один находит удовольствие в том, что корпеет над формулами или колбами, чтобы в конечном счете синтезировать новую форму материи, другой считает такое сидение не более, чем нудной обязанностью, а удовольствие находит в том, чтобы из-под полы, из-под прилавка «достать» плащ из этой новой «материи» и похваляться им перед своими знакомыми. Один первым приходит на берега таежной реки и — не счастье ли?! — открывает новые алмазные россыпи, другой если и не самым первым, то одним из первых приходит в новый ресторан и чувствует себя счастливым, если откроет в нем какой-нибудь необыкновенный салат ассорти. (Вчера один такой первоприходец с захлебом рассказывал мне о посещении ресторана «Седьмое небо», что в Останкинской телебашне на высоте то ли триста, то ли четыреста метров, и рассказывал не о панораме Москвы, какая с той высоты открывается, а именно о салате, о закуске и выпивке.)

Пожить в свое удовольствие!

Недавно где-то пришлось читать перевод одного стихотворения:

> Нельзя на свете любить лишь себя одного:
> Если горе другого — не твое горе,
> Если счастье другого тебя не радует,
> Если смех другого не вызывает смех у тебя,
> То зачем ты явился в этот мир?!

Интересно, задумывается ли над этим хоть изредка моя милая Маринка?! Спрашивает ли хоть иногда самое себя, зачем явилась в этот мир? Чтобы пожить в свое удовольствие?!

Часто Василек вспоминается. Как-то даже во сне приснился. И сейчас вот закрою глаза — и его милый лепет слышу... Ах, как бы это было здорово, если бы постоянно

слышать не голос Альбины Альбертовны, а голос такого Василька! Но нет, с Васильком — хлопотно, а с Альбиной Альбертовной — удобно...

Люблю ли я Маринку? Что за вопрос! Но любовь во все времена, говорят, будила в человеке новые неведомые для него самого силы и вдохновляла на что-то высокое, делала его душевно богаче. Влюбленный Берлиоз написал свою знаменитую «Фантастическую симфонию»... А на что подвигнула меня любовь к Маринке? Стал ли я богаче?.. Маринка может спросить и даже расспросить меня о работе, о том же проекте, которым я сейчас занят. Но это — больше для вида, для того опять же, чтобы лишний раз продемонстрировать наше родство душ. На самом деле ее интересует не столько моя работа, сколько то, что о ней может сказать кто-нибудь из «видных» или «крупных», чтобы я мог «прогреметь», и когда мы придем в Юлькин салон, чтобы там все говорили обо мне и глядели на нас с восхищением: «Какая прекрасная пара!» «Он, говорят, очень талантлив...» «А она просто очаровательна!»

Так что же, что же остается от нашего родства душ?! Пожить в свое удовольствие?!

18

Чем больше узнаю Николая Юрьевича, тем больше удивляюсь ему: редкий, необыкновенный человек. Какой глубокий ум, какая широта интересов! Туманность Андромеды — это понятно, это его «хлеб». Но ведь можно бы, наверное, успешно изучать эту ли, другую ли какую звездную туманность, не углубляясь в Рафаэля и Леонардо да Винчи. А Николай Юрьевич и художников Возрождения и ту же архитектуру знает нисколько не хуже, если не лучше меня, хотя это вроде бы не его, а уже мой хлеб. Как это он только успевает, как находит время и на то, и на другое, и на третье?

А еще удивляет и восхищает меня в Николае Юрьевиче его какая-то особая деликатность, его сердечность и доброта к людям. Стоит иной раз час, а то и всего-то полчаса посидеть с ним в кабинете, и выходишь оттуда другим человеком. Начнешь потом вспоминать, о чем говорили,— не сразу и вспомнишь: так, какие-то пустяки — он о чем-то спросил, ты что-то ответил, вот и весь раз-

говор. А на сердце легко и чисто, словно пустяковый разговор этот смыл с него накопившуюся за день пыль и гарь. Потому что в самом тоне разговора — и в том, как и что спросил тебя Николай Юрьевич, что сказал,— во всем чувствуешь не простую вежливость воспитанного человека, а близкое участие и заинтересованность в твоих делах.

Вся нынешняя неделя у Николая Юрьевича — какой-то международный симпозиум, возвращается он поздно, и я вечером работаю в его кабинете. В вечерние эти тихие часы работается куда лучше, чем в шуме и многолюдье отдела, и проект мой — тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! — подвигается быстро. Можно даже сказать, что главное уже сделано, главные решения найдены, остается эти решения «перевести» на бумагу и «согласовать», органично слить в единое целое.

Увлекшись как раз этим согласованием, я и не заметил, как в кабинет вошел Николай Юрьевич. Увидев мое движение, он упредительно вытянул руку:

— Сиди, сиди.

И сам опустился в кресло сбоку стола.

Вид у Николая Юрьевича был утомленный, усталый. Но вот он своим излюбленным жестом провел ладонью по лицу, стер с него усталость, и близорукие глаза его засветились в доброй и, как всегда, немного грустной улыбке.

— Живем мы в век науки точной — что верно, то верно,— негромко и отстраненно, словно бы продолжая разговор с самим собой, сказал Николай Юрьевич. Помолчал немного и, все так же грустно улыбаясь, пояснил: — Это я у одного поэта как-то вычитал. И дальше там были еще такие строки: «Все меньше сказок в мире нашем, все громче формул торжество...» И вот нынче слушал всякие ученые доклады, а из головы почему-то не шло: все меньше сказок в мире нашем...

— Так что это: хорошо или плохо?

— А как ты думаешь? — испытующе посмотрел на меня Николай Юрьевич.

Я ответил, что ничего плохого не вижу: если сказку о ковре-самолете вытеснил «ТУ-104»,— надо ли огорчаться?

— Конечно, не надо,— все так же с улыбчивым прищуром глядя на меня, сказал Николай Юрьевич.— Но

ведь в сказке-то не только мечты, а еще и поэзия. Когда ты слышишь: и пошел добрый молодец во чисто поле,— ты же это, поди, понимаешь не только так, что некто направился из одной точки в другую... Так вот я и думаю: не вытесняется ли в наш век науки точной, не уходит ли из нашей жизни поэзия?

Я понял, что это не меня, а себя самого спрашивает Николай Юрьевич, и промолчал.

— Ну, да это так, к слову.

Николай Юрьевич поднялся с кресла, прошелся туда-сюда по кабинету и вот только теперь, кажется, отрешился от мыслей, с которыми пришел со своего симпозиума, потому что только теперь заметил на столе мои наброски.

— А между прочим, ты напрасно думаешь, что наш разговор не имеет отношения к твоей архитектуре. Еще как имеет-то!.. Непонятно? Да чего ж тут непонятного! Если архитектуру считать искусством... Да вот никаких объяснений не надо. Вот погляди!

Николай Юрьевич показывал на висевший рядом с одним из книжных шкафов богато иллюстрированный месячный календарь.

Большой лист украшала цветная фотография известного теперь на весь мир архитектурного шедевра на Кижах. Снимок был сделан мастером: идущие уступами маковки причудливо лепились друг к другу на фоне белых облаков, и весь многоступенчатый, многоглавый ансамбль словно бы невесомо плыл в майском небе вместе с этими облаками.

Но какое отношение это имело к нашему разговору?

— Ну как же?! — воскликнул Николай Юрьевич.— Да разве ты не видишь, что это фантастичное нагромождение главок — легко сказать: двадцать две маковки! — это же прямо из русской сказки. И эта «бочка», и этот поясок, и... да что тут объяснять, разве и так не видно, что перед тобой — поэма в дереве, волшебная сказка?!

А ведь верно! И как только самому мне это в голову не пришло?! Кому-кому, а уж мне-то, казалось бы, и карты в руки.

— Мы, конечно, тоже кое-что умеем. Умеем и такое, что тем онежским плотникам и во сне не виделось. Но... но подобное мы уже — увы! — не умеем... Все меньше сказок, все громче торжество формул...

С последними словами Николай Юрьевич подошел к столу, встал со мной рядом.

— Ну, а теперь покажи. Давно хочу спросить — что делаешь и что у тебя получается. Покажи и расскажи.

Я начал с того, что показал Николаю Юрьевичу несколько фотографий Медвежьегорска, показал место, на котором должен будет стоять мой дворец.

— Ты показываешь сюда,— сказал Николай Юрьевич,— будто здесь чистое место. А ведь тут я вижу церковку.

Мне пришлось рассказать и о том, как по первоначальному плану это место считалось чистым, и о своем недавнем решении сохранить памятник истории. Затем я показал Николаю Юрьевичу свои наброски и почему-то именно только сейчас, вот в эти минуты, когда он внимательно разглядывал мои эскизы, понял, почувствовал, как они еще несовершенны. А ведь только что, какой-нибудь час назад, они мне нравились. Словно бы оправдываясь, я стал говорить что-то невнятное о том, что, мол, куда бы лучше было, если бы весь город планировать и строить на чистом месте, как это делал, к примеру, Нимейер, с новой столицей Бразилии.

— Так-то оно так,— в раздумье проговорил Николай Юрьевич.— И уже не первый раз от тебя слышу об этом самом Нимейере. Только... только я не уверен, что это такой уж главный свет в окошке.

— А что, вам не нравится Бразилиа[1]?

— Откровенно сказать, не очень.

— Но это же город будущего!

— Вот именно. Мне было бы неуютно жить в этом городе будущего среди огромных, но бездушных каменных сфер. Если Кижи или Василий Блаженный из сказки, то эти геометрические громадины как раз из формул... Нет, я не за старину. Я точно так же не хотел бы жить ни в той крестьянской избе, которая стоит на острове Кижи, рядом с храмом,— Николай Юрьевич кивнул на календарь,— ни даже в боярских хоромах. Мне нравится жить в нынешнем современном городе... Слово «будущее» обладает гипнотическим свойством. Но я не уверен, что надо забегать в будущее. В будущее надо идти. Заглянуть в завтрашний день, помечтать, подумать о нем, даже

---

[1] Бразилиа — так называется новая столица Бразилии.

знать и предвидеть его — это другое дело. А строить — строить надо просто современные города.

Николай Юрьевич опять сел в кресло, покойно облокотился и сомкнул пальцы под подбородком. Он словно бы заранее был уверен, что я не соглашусь с ним, и приготовился терпеливо выслушать меня.

Я и действительно на этот раз был не согласен. Я сказал, что на южной окраине Москвы в близкое время вырастет новый район на двадцать тысяч — целый город! — жителей. И в этом районе будут созданы все удобства уже не в масштабе отдельной квартиры, а в масштабе каждого дома и всего района. Там будут под рукой и стадионы и бассейны, там будет много зелени, воздуха, света — чем не город будущего и почему не строить такие города?

— Чем не город будущего? — переспросил Николай Юрьевич.— Да уже хотя бы тем, что жить в нем будут не завтрашние, а нынешние люди, наши с тобой современники. А строить — почему же не строить? Именно так новые города и надо строить. Но при чем тут будущее, Витя? Это будут хорошие, может быть, даже образцовые современные города. А с будущим они будут иметь лишь ту связь, какую имеет всякое настоящее, из которого вырастает будущее. И не слишком ли большой упор ты делаешь на удобства? Не слишком ли утилитарным представляешь завтрашнего человека? Удобства — это, конечно, большое дело. Но неужто в них все начала и концы?

— А что, если бы вам предложили на выбор квартиру где-нибудь в Замоскворечье и в этом новом районе?

Вопрос мой был несколько неуклюжим, мельчившим наш разговор, но умный Николай Юрьевич сделал вид, что не придает этому значения.

— Уже сам вопрос твой, Витя, как бы подразумевает ответ. Но, представь себе, прежде чем ответить, я бы подумал. А если, скажем, квартира в Замоскворечье была бы с видом на Кремль, на Третьяковку — я бы выбрал ее. Потому что в архитектуре нового района я бы каждый день видел только вот этот самый нынешний день, а мне этого мало.

— Но ведь Кремль один на всю Москву,— заметил я,— и отовсюду видеть его все равно невозможно.

— Ну, Кремль — это не буквально. Я говорю про ис-

торию, про чувство истории, которое, ну, что ли, внушается нам — хотим мы того или нет — не только каким-нибудь старинным ансамблем, а порой даже отдельным зданием, даже вон такой, как у тебя, церквушкой. Не потому ли в каждом, пусть и невеликом, городе есть что-то свое, только ему одному присущее?!

Я сказал, что этого «своего» осталось не так-то много и с каждым годом становится все меньше. Мне живо — будто вчера это было — вспомнился наш разговор с Владимиром о двадцатых и тридцатых годах, и, уж коль речь об этом зашла, я коротко пересказал его Николаю Юрьевичу.

— Твой друг прав только наполовину,— внимательно выслушав меня, негромко проговорил Николай Юрьевич.— Да, конечно, в те годы мы, мягко говоря, были не очень-то бережны с памятниками старины, памятниками нашей отечественной истории. Но не надо это дело представлять так, что до революции то и делалось, что вся старина сохранялась. Ничего похожего! Никаких средств на реставрацию, скажем, древних памятников Новгорода, Владимира или того же Суздаля царское правительство не отпускало. Да что! Знаменитый кремль Ростова Великого — уж это ли не памятник русской старины?! — кремль Ростова со всеми его храмами и палатами был назначен к продаже с торгов — о чем тут еще говорить?!

Часы в дальнем углу кабинета, удар за ударом, пробили полночь. Николай Юрьевич оглянулся на часы, затем перевел взгляд на меня, как бы спрашивая, не слишком ли мы засиделись, и продолжал:

— Это не моя область, и, может, я тут не все понимаю, но... но когда я слышу, как одни говорят: ах, как жаль, что мало осталось в городском пейзаже старины, другие же считают, что и с оставшимся нечего церемониться — на чистом месте строить и вольготнее и удобнее... Так вот, когда я слышу такое, мне кажется, что истина-то, наверное, лежит где-то посредине. Ахами и охами разрушенного не восстановишь, а значит, надо глядеть не назад, а вперед и думать, *как* сохранить оставшееся. И не вообще сохранить, как музейную реликвию, а вписать, ввязать, впаять в то, что строится сегодня...

Уж не стоял ли, коим грехом, у меня за спиной тогда на Новом Арбате Николай Юрьевич и не «подслушал» ли мои мысли?

— Что же до другой крайности...

Николай Юрьевич встал с кресла, подошел к окну и минуту-другую глядел на засыпающий город.

— Очень много мы строим! Никто никогда так много и так быстро не строил. Ни в одной стране мира не справляется каждый год, каждый день столько новоселий, как у нас,— отошел от окна и зашагал по кабинету.— Но вот именно это кое-кем и используется, как довод строить абы как, лишь бы побыстрее. Старинное здание? Зачем я буду голову ломать, как его сохранить да еще и вписать — у меня задача поважнее и, если хотите, благороднее: я хочу как можно скорее переселить людей из старых домов в новые, хочу, чтобы поскорее каждая семья имела отдельную квартиру... А ведь, разобраться, противопоставление-то тут только видимое, ложное. Выполнению важной задачи старина отнюдь не мешает. Единственное, что она требует — немного подумать, вот именно поломать голову. Конечно, пустить бульдозер на какой-нибудь особняк значительно проще, чем его куда-то там вписывать. Да и кто знает, как он еще впишется-то, не проиграет ли новое рядом со старым?!

Он опять отошел к окну, но тут же вернулся.

— Не так давно пришлось мне разговаривать об этом же с одним умным человеком, и он очень хорошо сказал...— Николай Юрьевич сделал паузу, словно хотел поточнее припомнить сказанное тем человеком.— Он сказал, что рост городов и связанная с этим реконструкция должны носить мирный характер, а не походить на вражеское вторжение, когда не щадится памятное и дорогое: ведь в этом памятном — корни нашей истории и нашей любви к Отечеству. Золотые слова! Жаль только, слышал я их от писателя, а не от главного архитектора города...

Николай Юрьевич усмехнулся и уже другим, будничным голосом добавил:

— Ты, поди-ка, слушаешь, и такими наивными тебе кажутся мои дилетантские рассуждения... К слову скажу, мне понравилось твое решение сохранить церковку. Но,— Николай Юрьевич поднял палец и опять улыбнулся своей доброй, грустной улыбкой,— но придется поломать голову над тем, как ее вписать. И поскольку решение это осенило тебя не там, в Медвежьегорске, а уже здесь, тебе, Витя, наверное, придется съездить туда еще разок. Ты теперь должен увидеть свой дворец уже не на чистом

месте, а рядом, или, как вы, архитекторы, любите говорить, в ансамбле с той церковкой...

Я опять подивился тому, что Николай Юрьевич словно бы прочитал мои мысли. А он подошел к книжному шкафу, достал из него большого формата книгу, быстро полистал-полистал ее и, найдя нужную страницу, положил передо мной:

— Коль разговор об этом зашел, вот погляди... Ты все про Нимейера, про новую столицу Бразилии, а не полезнее ли вспомнить тебе про старую Флоренцию?

На книжной странице красовался знаменитый флорентийский собор Санта-Мария дель Фьоре. Неколебимая мощь увенчанного огромным куполом здания как бы подчеркивалась тонкой и стройной кампанилой. Мне и раньше не раз приходилось видеть этот удивительной силы и красоты памятник средневековья — в учебниках, монографиях, художественных альбомах. И меня всегда поражало в нем вот это соединение гордого величия с предельной ясностью и простотой. Поразительно было и то, что с какой бы точки ни смотрелся памятник — он выглядел одинаково прекрасным.

— Это еще когда ты показывал свои картинки,— кивнул Николай Юрьевич на лежавшие рядом с книгой мои эскизы,— мне вспомнилось. А теперь-то ты и сам понимаешь, почему вспомнилось.

Да, теперь я, конечно, понимал.

— Было бы совсем неплохо, если бы в твоем проекте дворца старенькая церковка играла роль этой самой кампанилы, или, говоря по-русски, колокольни. Речь идет, понятное дело, не о каком-то копировании — такие вещи скопировать невозможно,— речь идет о принципе, или, как сейчас модно говорить, о модели архитектурного решения. Подумай. Во всяком случае, стоит подумать!

Я сказал, что обязательно подумаю.

— Только думай, пожалуйста...— Николай Юрьевич замялся,— как бы это тебе сказать, чтобы не обидеть... Слушать — слушай, Владимира ли, кого ли, пусть даже и меня. Но — думай, делай по-своему. Вырабатывай свою точку зрения, имей на все свой взгляд. Сам, понимаешь, Витя, сам... Ну, однако же, мы с тобой засиделись. Давно пора спать... Доброй ночи!

Николай Юрьевич тихонько, как вошел, так и вышел из кабинета. А я еще долго сидел над своими эскизами,

хотя думал теперь не столько о них, сколько о нашем разговоре.

Чудно как-то получается. Показывал я на днях свой проект одному специалисту. Посмотрел он, много дельных советов надавал. Однако же хотя и ценными были для меня эти советы, но ни на какие новые мысли — увы! — не натолкнули, думать меня по-новому не заставили. А вот поговорил с человеком, далеким от архитектуры, и никаких советов он мне вроде бы не давал, а гляжу теперь на свой проект уж словно бы другими глазами. И думать буду об этом разговоре и завтра и через неделю... И, конечно же,— теперь это окончательно решено! — я опять поеду в Медвежьегорск. Поеду в самое же ближайшее время.

Тихо в доме. Слышно только, как мерно постукивают часы да время от времени с нарастающим, а затем постепенно замирающим шумом проносятся по улице редкие машины. Люблю поздние ночные часы. В эти тихие часы хорошо думается.

19

— Ба, Виктор!

— Бог ты мой, Костя! Сколько лет зимой не видались...

Встреча была столь неожиданной, что мы не только обнялись, но даже и облобызали друг друга, что в студенческие времена между нами вроде бы не было принято: мужчины — и вдруг такие сантименты.

— Ну ты, старик, по-прежнему процветаешь?.. Завидую: и квартира, и работа — и все по классу люкс... А мы с Галкой бьемся как рыба об лед... Да что стоим-то? Если не боишься дисциплинарного взыскания от тещи, зайдем куда-нибудь, посидим, поговорим — в кои-то веки!..

Встретились мы с Костей на Гоголевском бульваре, чуть ли не у той самой скамейки, на которой недавно сидели с Маринкой в ожидании кино. Самым близким «куда-нибудь» был ресторан «Прага» на Арбатской площади. Туда мы с Костей и направились.

Костя с Галкой поженились позже нас, уже на пятом курсе, а по окончании института уехали в один приволжский город. Им обещали квартиру, но что-то там с этой

квартирой не вышло, и они, промыкавшись год по чужим углам, недавно вернулись в Москву. Тем более что Галка ждала ребенка. У ее отца квартира невеликая — две смежные комнатки, но кое-как утрамбовались, как выразился Костя, отец с сыном, младшим Галкиным братом — в одной комнате, Костя с Галкой — в другой. Тесновато, конечно, но все равно лучше, чем на чужой квартире.

— Ну, а о главном-то, что молчишь? — спросил я Костю, когда мы зашли в ресторан и сели за столик.— С кем тебя поздравлять?

— А-а,— улыбнулся Костя.— С дочкой... Если бы ты видел, какая мировая дивчина!...— Костя прищурился, вроде бы на меня глядел, а меня не видел, взгляд отсутствующий, наверное, видел в эту минуту свою мировую дивчину.— Заходите как-нибудь с Маринкой, посмотрите. К вам в гости ходить, сам знаешь, и раньше было великой проблемой, а теперь и подавно. Так что вы уж как-нибудь выбирайтесь...

Что правда, то правда: проблема. С первого же раза за что-то невзлюбила Альбина Альбертовна Костю... Впрочем, как это за что-то — да за то, что он наследил в прихожей, а потом, после обеда, закурил. Ишь чего захотел! Альбина Альбертовна отвадила от курения сначала мужа, потом меня, а тут вдруг какой-то совсем чужой охламон будет дымить и сыпать пепел в ее стерильной квартире... И Костя, мой лучший друг Костя, стал в нашем доме персона нон грата.

— Все бы ничего, да быт заедает, Витя,— Костя перестал жмуриться, и глаза у него потухли, стали всегдашними.— У тебя-то что — у тебя все отлажено, как в кибернетической машине... Валяетесь с Маринкой на своем диване — и никаких тебе забот и хлопот. А пришла какая идея в голову — пожалуйста, можешь у тестя в кабинете уединиться, в тишине мозгой пораскинуть...

— Ты такую идиллию нарисовал, что я даже сам себе позавидовал.

— А моя Галка разрывается на части,— не слушая меня, продолжал Костя.— Да и я — то по магазинам, то еще куда.

Милый Костя! Будто я по магазинам не хожу!

— А уж насчет того, чтобы дома чем-нибудь дельным заняться — об этом забудь. Дивчина-то чудо, но это чудо

такое горластое, что за стенкой старик, ее дедушка, просыпается...

Согласился, согласился бы на все! Сам бы по ночам вставал к дивчине и убаюкивал ее...

Подошел вежливо-недоступный, как маэстро, официант.

— А не вспомнить ли нам Кавказ?! — глаза у Кости опять загорелись.— Не ударить ли по шашлыку?

— Тогда уж давай и «Цинандали» к нему...

Официант золотым шариковым карандашом записал заказ и торжественно удалился.

Я спросил, как у Кости с работой, где устроился.

— Там я занимался по большей части сельским строительством. Ну, поскольку руку немного набил, здесь тоже пошел по этой линии.

— Интересно?

— Сказать откровенно, не очень... Я и пошел-то на сельское проектирование из-за того, что обрыдли всякие городские Черемушки. Ну, думаю, там-то хоть поразнообразней будет: поскольку каждый председатель колхоза волен строить клуб или школу по собственному вкусу, не говоря уже о единоличном крестьянском строительстве...

— А разве не так?

— Увы! Поглядел бы ты на наши типовые проекты — тоска... И ладно бы эти клубы, школы или больницы были не очень оригинальными — они к тому же и одинаковы как для лесной Костромской области, так и для степной Курской... А дома! Когда я вижу новенькое с иголочки село и все дома в нем, как инкубаторные цыплята, один от другого не отличить,— поверишь, хочется в голос завыть. Что творим?! Что творим?!

Я рассказал Косте — наконец-то было кому рассказать! — о работе над своим проектом, о том, как пытаюсь сохранить церковь, которая еще помнит декабристов, а потом спросил:

— Как ты считаешь, Костя, кто прав: тот, кто хотел бы законсервировать наши старинные города, превратить их в музеи, или тот, кто под флагом реконструкции сметает всю старину, в том числе и прекрасные памятники прошлого?

— По-моему, одинаково неправы как те, так и другие.

— А ты помнишь, из всех трех тысяч трехсот тридца-

ти трех лекций, какие мы с тобой прослушали в институте, хоть одна была о том, как сочетать в градостроительстве старину с новизной?

— Что-то не помню.

— Вот и я тоже не помню. То ли плохая память у нас с тобой, то ли и впрямь нам такого не говорили. Наверное, память подводит...

Мы потолковали еще немного о том, о сем, а потом Костя вдруг оборвал разговор и, пристально поглядев на меня, спросил:

— Что с нами произошло, Витя?! Вспомни-ка студенческие времена: шутки, хохмы, смех такой, что стекла дрожат. А сейчас разговариваем с тобой, а разговор какой-то тяжелый, железобетонный... На жизнь, говорят, надо смотреть с определенной долей юмора. Так что же, выходит, утратили мы, что ли, тот юмор? Укатали сивку крутые горки? Вроде бы рановато...

В юморе ли все дело, Костя! Не утратили ли мы — и ты и я — за эти годы что-то более существенное? И как же так получилось, что встретились мы с тобой случайно?! Очень это обидно, ведь мы же друзья, Костя. И друзья самые близкие. Ну, ладно, год тебя не было. Но ведь уж месяца два, поди, как приехали, а только раз, по приезде, позвонил. И я тебя, и ты, вижу, рад меня видеть. Но встретились-то случайно... Обстоятельства?.. Да, наверное, и они. Но только ли обстоятельства?.. И год, и три живут двое душа в душу, друг без друга ни шагу, а не видятся в каникулы месяц — так после наговориться досыта не могут. А потом что-то такое происходит, и вот даже через год, а видеть друг друга почему-то не торопятся. Так что же произошло? Ведь мы с тобой не ссорились, не бранились, между нами никакая кошка не пробегала. Мы с тобой всего-то-навсего только оженились — вот и все. Но неужто в этом дело? Неужто так трудно оставаться друзьями женатым людям?! Вот встали сейчас в памяти наши студенческие годы, и я чувствую, как у меня что-то щемит-щемит в груди, а на глаза навертываются слезы...

— Так за встречу, Витя?

— За встречу, Костя!

«Цинандали» слабо золотилось в бокалах. От дымящегося шашлыка исходил сложный, как от букета, хотя, конечно, и более земной, более вещественный, аромат.

И на вкус шашлык оказался отменным — сочным и нежным.

— Ну, до того-то, что мы ели в Тбилисо, ему, конечно, далеко,— вспомнил Костя.— Того проглотил кусок — все равно что гранату в чрево кинул... Помнишь, сколько мы тогда всякой всячины выпили, чтобы залить шашлычный огонь?!

— А помнишь...

И мы ударились с Костей в сладкие воспоминания.

Не потому ли и «Цинандали» излучало необыкновенное золотистое сияние и шашлык казался особенно вкусным, что воспоминания были той чудесной приправой, какую нельзя заказать даже в самом первоклассном ресторане...

— Странно и непонятно! — воскликнул Костя, когда мы уже навспоминались вдосталь.— Ведь пустая, увеселительная... ну, ладно, скажем, мягче — познавательная поездка была. Но и не больше. А вспоминаем, и у нас голос дрожит от волнения, и вспоминать можем еще хоть час, хоть два... Сейчас же дело делаешь, к которому себя готовил, о котором и тогда, на Кавказе, мечтал как о чем-то главном в жизни,— но об этом говорить и хочется и не хочется... В чем тут фокус?

— Не в том ли, что это была наша молодость и все, что тогда было, бывает только один раз?!

— Но ведь и живем-то мы только один раз! И живем, наверное, для какого-то дела, а не для того, чтобы что-то съесть да выпить, куда-то съездить да поглядеть...

Костя опять, как и в начале нашего застолья, прищурился, поглядел невидящим взглядом в пространство и заключил:

— Ну, ладно, сейчас мы эту философскую проблему все равно не решим... Давай лучше вот о чем договоримся. Давай видеться не случайно и почаще, чем раз в год. А то нехорошо как-то, вроде друзья...

Ты смотри, словно мысли мои прочитал! Значит, и останемся друзьями, если так же хорошо, как и раньше, понимаем друг друга.

— Ну, а теперь — по домам! Галка небось заждалась...

Мы расплатились и вышли. Костя побежал к метро, а я пошел бульваром в сторону Никитских ворот.

20

На бульварах, как и всегда в весеннюю пору, было людно. И скамьи все заняты, и по дорожкам течет в ту и другую сторону людской поток. Идут и одиночки вроде меня, и парочки, и компании с песнями, с гитарами.

Люблю московские бульвары! Хоть вроде и шумно на них, а все равно — уютно. И дышится легко, и думается хорошо. Многолюдье совсем не мешает. Можно идти и думать о своем и в уличной толпе. Но на улице не очень-то задумаешься: задумался, зазевался и очень даже просто под машину попал. Так что все время надо быть начеку. Собственно, скоро по улицам мы и будем ходить только с одной думой: как бы, как бы не угодить под несущийся железной лавиной транспорт? Да что там скоро — уже ходим...

На бульварах опасаться нечего. Ну, разве по нечаянности кто толкнет тебя или ты кого заденешь, так и то не обругают, потому что на бульварах публика больше гуляющая, никуда сломя голову не спешащая... И ты шагаешь неспешно в этом людском потоке, сядешь на освободившееся место, посидишь, дальше идешь. И хоть не один ты, а вроде бы один...

Костя сказал: по домам!.. А где он, мой дом? Нет у меня никакого дома. У меня есть место, где я сплю, обедаю, но и обедаю-то не сам по себе, а под руководством Альбины Альбертовны... Эх, Костя, Костя, если бы ты знал, как не хочется идти в этот чужой мне дом!.. Все отлажено. Да так отлажено, что впору волком выть...

А что, если совсем и не ходить, не возвращаться?.. Ах, какой ты храбрый сегодня! Не потому ли, что немного выпил, так расхорохорился... Если бы там была одна твоя богоданная теща — чего бы проще. А там — точно так же, как и Костю Галка,— тебя ждет Маринка... Да и куда ты пойдешь?..

Я присел на скамейку в полутемном уголке Тверского бульвара. Скамейка с большим прогибом, глубокая, удобная. Прямо на плечо мне свешивается пахучая тополиная ветка. Пробивающийся сквозь густую листву свет ближнего фонаря кажется призрачным, нереальным, идущим из какой-то неведомой дальней дали, и только шум проносящихся по ту и другую сторону бульвара машин

напоминает о близком присутствии большого города, который и ночью не спит.

Вчера вот так же покойно сидел я в кресле в кабинете Николая Юрьевича.

Не знаю почему, но когда мне приходилось оставаться наедине с Николаем Юрьевичем, разговора у нас с ним — прямого, открытого, или, как еще говорят, мужского,— такого разговора почему-то не получалось. Иногда казалось, что не только мне, но и Николаю Юрьевичу хочется со мной поговорить откровенно, но что-то мешает. Всего скорее его застенчивость, деликатность. В сущности, он очень застенчивый человек. А мне первому пускаться в откровенность казалось и вовсе неудобным.

А вот вчера — вчера мы неожиданно разговорились. Ну, не то чтобы уж очень подробно и откровенно, много было и туманностей, и недомолвок, однако же разговор получился.

Поначалу он опять, как и неделю назад, спросил меня, как подвигается работа над проектом, опять поинтересовался набросками, полистал их, а уж потом, после паузы, задал вдруг странный, как мне показалось, вопрос:

— Скажи, Витя, мне хочется знать твое ощущение... Вот когда ты, как сейчас, увлечен работой — она тебя всего забирает, всего целиком или...— Тут Николай Юрьевич запнулся, подбирая нужные слова.— Ну, понимаешь, один свет в окошке или часть твоего сердца, часть твоей души остается еще для чего-то — для Маринки, для друзей, одним словом, для разных радостей жизни?

Я не сразу ответил на этот странный вопрос. Я просто никогда не думал об этом. Я так и сказал:

— Как-то не задумывался... Захватывает, конечно, но... но что-то, наверное, остается и для другого.

— Это хорошо, если остается. Должно оставаться!.. Тут такая хитрая механика: если будет оставаться, то главному делу это не в убыток, а только в прибыль. Потому что, когда человек едет не на одном полозу, когда он живет полной жизнью — он устойчивей себя чувствует, а значит, и ехать будет уверенней и уедет дальше...

Помолчал, закрыл лицо ладонью и глухо, сквозь пальцы, договорил-признался:

— А у меня вот ничего или почти ничего не оставалось... когда-то я думал, что это хорошо. Нет, плохо... Плохо!..

Мне хотелось сказать: да для кого оставаться-то — для Альбины Альбертовны?! Но сказать такое я, конечно, не мог.

— А много ли, Витя, собираешься сделать?

Я опять не сразу понял, о чем спрашивает Николай Юрьевич.

— Ну, сделать не нынче или завтра, а вообще в жизни? Велик ли у тебя замах?

Опять непростой вопрос!

— Да хотелось бы побольше.

— Не помню, кажется, у Пришвина я встретил вот какую мысль. Если есть у человека талант... ну, скажем проще, какая-то к чему-то склонность, способность... И если человек хочет, чтобы его талант, его способности сработали на полную катушку... у Пришвина сказано по-другому, но смысл такой... Так вот, если он хочет, чтобы его талант проявился полностью, он должен правильно построить свою жизнь.

— А как это понимать, что это такое: правильно построить свою жизнь?

Николай Юрьевич внимательно поглядел на меня через стол и грустно усмехнулся:

— Насчет этого там ничего не сказано... Видно, каждый сам должен определить... А еще старик, может, и то хотел сказать, что человек не должен отдавать себя на волю всяких житейских обстоятельств, а должен пытаться подчинять себе эти обстоятельства.

Минуту-другую мы сидели молча, думая каждый о своем. А может, мы думали об одном и том же?

— В жизни, Витя...— опять заговорил Николай Юрьевич, и лицо его стало и добрым и каким-то печальным, будто он и хотел сказать мне что-то хорошее и не мог.— Я вдвое больше прожил тебя и вижу: в жизни совсем не обязательно каждый день проявлять характер и воевать с обстоятельствами. Но бывают такие моменты, такие повороты, когда даже самый бесхарактерный человек должен проявить характер. Потому что эти моменты в конечном счете определяют и смысл и сам образ всей его дальнейшей жизни...

Мне опять хотелось сказать, хотелось крикнуть: но как же, как же, дорогой Николай Юрьевич, вы сами в свое время не проявили характера и попали под башмак пустой, вздорной женщины?! Вы — умный, талант-

ливый, все понимающий,— зачем вы поддались этим самым обстоятельствам?!

А Николай Юрьевич, словно бы отвечая на мои мысли, тихо, с тяжелым вздохом, произнес:

— Я сделал меньше, чем мог... Я...— он хотел добавить что-то еще, но то ли раздумал, то ли не решился.

Может, он хотел сказать: я неправильно построил свою жизнь? Но это можно было и не договаривать: и так все было ясно.

Николай Юрьевич сидел, подперев щеку и как-то ссутулившись, словно придавленный невидимой тяжестью. И такая вдруг острая жалость пронзила мое сердце, так рванулся я внутренне весь к нему, что к горлу подступили слезы... Никогда он так близок мне не был, а может, уже и не будет...

И только теперь, вот только сейчас до меня дошло... Только сейчас я понял: не его — себя мне надо жалеть... Нет, не в том смысле, что Николай Юрьевич не нуждается в моей жалости. Просто говорил-то он вроде о себе, а разобраться — обо мне. Для меня. Чтобы предостеречь от той ошибки, которую когда-то допустил в своей жизни и вот до сих пор расплачивается и, наверное, до конца своих дней будет расплачиваться за нее...

Конечно, тебе легко утешить себя тем, что ты не попал, подобно Николаю Юрьевичу, под башмак своей супруги: Маринка не только не пытается тобой командовать — она охотно слушается тебя. Так что по виду вроде бы ничего похожего. Но это — только по виду. Ты попал под башмак обстоятельств, а если говорить уж и совсем откровенно — под башмак житейских удобств...

И тогда ты не знал, да и сейчас затрудняешься сказать, кого ты любил больше: Маринку или Валю. Ну, чего уж там, давай будем хоть раз откровенны: Валю ты любил, если и не больше, то и не меньше Маринки. Да если вспомнить, и Маринку не сам выбрал — она тебя выбрала, она за тебя все решила.

И вот стоит тебе сейчас мысленно поставить на место Маринки Валю — как все просто получается! Нет, в житейском-то смысле с Валей было бы гораздо трудней: ни квартиры, ни обстановки, мать у нее зарабатывает немного. Но зато — полная свобода действий. И в этих действиях, в любом большом или малом поступке ты мог твердо рассчитывать на полную поддержку Вали... С Ма-

ринкой ты с самого начала был несвободен. Еще до того, как ты вошел в их семью, заботливой и предусмотрительной Альбиной Альбертовной для тебя уже были уготованы определенные рамки. Хотел ты того или нет, но должен был войти в эти рамки и за них не выходить ни при какой погоде: в чужой монастырь, говорят, со своим уставом не ходят... На надежные стены тещиного монастыря, на его шикарную обстановку и прочие удобства, включая сюда и обожаемого тобой цыпленка табака, ты променял свободу строить свою жизнь, как тебе хочется. Не слишком ли, не слишком ли дорогую цену заплатил ты за цыпленка табака?!

Я не заметил, как встал со скамейки и пошел бульваром дальше. Народу на дорожках поубавилось, и на скамейках было не так густо, теперь сидели на них только парочки.

Площадь Пушкина. Передвинутый с бульвара Пушкин стоит спиной к фонтанам, лицом к нескончаемому потоку людей и машин, стоит в глубоком раздумье, словно бы хочет и не может понять, куда торопятся, куда спешат эти незнакомые ему люди. Редко кто остановится, обойдет кругом, больше таких, что оглянутся походя и бегут дальше. Куда, куда и зачем так деловито и целеустремленно спешат эти люди?!

Переходить площадь, чтобы попасть на Страстной бульвар, не хотелось: далеко и неудобно. Я повернул обратно. И сразу же мысли мои тоже вернулись на старый круг.

...Вот ты в ту ночь уж очень строго судил Маринку: и такая она и этакая. Но на себя-то ты что не оборотился, как однажды советовал Маринке? Сам-то, сам-то каков?! Рассуждать ты умеешь и вроде даже умно рассуждаешь, а когда доходит до дела, когда надо что-то предпринять — характера у тебя и не хватает... Помнишь, ты как-то сказал Маринке: вот вы, женщины, такие-сякие, а мы, мужчины,— мы лучше. Но получается, что Маринка права, а не ты. Если бы ты был настоящим мужчиной, давно бы уже доказал это...

Разве не так же сложилась жизнь после института у твоего однокурсника Пашки Фокина: он тоже «вышел в зятья» вот примерно в такую же ужасно благовоспитанную, но совершенно чуждую ему семью. И что же? А то, что он поглядел-поглядел на своих новых папу и маму

и сказал Инке, своей жене: выбирай — или они, или я. Инка, конечно, в слезы: ведь это мои родители!.. Что ж, тогда и живи с ними, а я ухожу... Уйти-то он не ушел, но с того раза между двумя высокими сторонами было заключено нечто вроде негласного договора: родители в их жизнь не вмешиваются, в новой семье он, Пашка, главнее папы и мамы. Самое же интересное во всей истории то, что после этого Пашку и Инка любить стала не меньше, а больше, и папа с мамой зауважали: серьезный, видать, мужчина нашей Иночки муженек!..

Ты старше Маринки. Старше и по возрасту, а главное — по жизненному опыту. Да и сама Маринка признает в тебе это старшинство. Так, значит, ты ответствен не только за себя, но и за нее. Так почему же ты не взял на себя эту ответственность, или, как еще говорят, всю полноту ответственности? Почему смирился с тем, что вашей с Маринкой жизнью, в сущности, распоряжается Альбина Альбертовна? Вот и получается, что у тебя вроде и семья что надо, жена красавица, и дом такой, что можно только завидовать, а разобраться — ни дома, ни семьи... Живите в свое удовольствие! — предначертала вам Альбина Альбертовна. И вы живете в свое — эх, если бы в свое! — не в свое, а в тещино, в Альбины Альбертовны удовольствие.

Когда Николай Юрьевич зачем-то ненадолго выходил из кабинета, я в его отсутствие, прохаживаясь вдоль книжных стеллажей, мельком взглянул в лежавшую на столе раскрытую книгу. Одно место там было отчеркнуто красным карандашом:

Люди умные и энергичные,— я запомнил эти слова,— борются до конца, а люди пустые и никуда не годные подчиняются без малейшей борьбы всем мелким случайностям своего существования... Даже еще так кажется: мелким случайностям своего бессмысленного существования.

Не про тебя ли, Виктор?

Ну, ладно, не будем говорить, что ты пустой и никуда не годный. И существование твое тоже пусть не бессмысленно. Но все остальное-то разве не про тебя?

Ты уверен в том, что сделаешь интересный проект и по твоему проекту построят прекрасный дворец. Но правильно ли ты построил свою жизнь?..

Еще не так давно ты думал, что правильно. И если бы

не эта поездка в Медвежьегорск, если бы не это свидание с прошлым! Прошлым, которое живет в настоящем и — как говорил Владимир — аукается с будущим. Прошлым, которое возвращается... Эх, Валя, Валя, лучше бы нам и не видаться...

Правильно ли ты построил свою жизнь?.. Реши это для себя. И реши сам. Хватит надеяться, что это сделает за тебя кто-то другой...

21

И вот опять я в поезде, который везет меня в Медвежьегорск.

Мы уже перевалили Урал, а значит, считай, переехали из Европы в Азию. И хотя пейзаж за окном мало чем отличается от того, что виделся час или два назад, все равно тебя не покидает ощущение, что едешь ты теперь уже Сибирью. Сибирью, которая вот здесь началась, а где и когда кончится — так и не узнаешь, даже если будешь ехать целую неделю. Летят, летят за окном рощи, поля, перелески, проносятся большие и малые селения, и есть что-то завораживающее в этом стремительном беспрестанном движении: уже давно, казалось бы, должны примелькаться и эти поля и леса, и уходящие за горизонт ленты дорог, однако же, сколько ни глядишь, все глядеть хочется.

Самолетная скорость нас гипнотизирует. Одно дело, когда человек летит в бухту Тикси или торопится из областного центра в какой-нибудь глубинный район, куда по бездорожью надо добираться два дня, а самолетом он долетит за час. Другое — когда летим из Москвы в Ленинград. Лёту тоже не больше часу, и тоже вроде бы экономия времени. Но какая же экономия, если тебе из дома надо выходить за три часа до вылета да почти столько же потом в Ленинграде добираться до места после посадки? А «Стрела» идет те же семь часов, если не меньше, и идет к тому же ночью — есть возможность выспаться, отдохнуть.

А недавно пришлось слышать такой разговор. «Ну, как Сибирь, как Дальний Восток?» — спросили у человека, который на две недели летал по делам в Хабаровск. «Нормально»,— ответил тот. Ответ кое-кому показался уж слишком кратким. Но что мог к нему прибавить че-

ловек, пролетевший над Сибирью на заоблачной высоте да еще и без единой посадки?! Он мог что-то рассказать разве что о городе Хабаровске...

В Хабаровск я бы тоже, наверное, полетел самолетом. А до Медвежьегорска, в сущности, не так уж и далеко, теперь, после Урала, и вовсе рукой подать. И за три с половиной дня дороги хоть успеешь отрешиться от московской суеты, успеешь спокойно подумать, о чем тебе хочется, да и глаз отдохнет, глядя вот на эти луга и реки, на колосящиеся нивы.

На некотором удалении от полотна вынырнула из лесной чащобы небольшая речка и, словно бы обрадовавшись открывшемуся простору, словно бы опьянев от него, начала выписывать среди цветущего луга замысловатые петли. По ближнему к полотну речному берегу вилась едва приметная в траве тропинка. А вот на тропинке показалась молодая светловолосая женщина. Она шла, держа в одной руке маленькие ботинки и то ли платьице, то ли рубашонку, а другую зачем-то вытянула вперед. Только когда вагон почти поравнялся с женщиной, я увидел, что она идет не одна — в пяти шагах впереди нее быстро топает по тропинке едва видный за травой загорелый малыш. Вот он остановился, оглянулся на мать, та улыбнулась и, должно быть, что-то сказав, помахала вытянутой вперед рукой: мол, беги, беги, я здесь. И карапуз опять побежал...

Я пожалел, что в следующую секунду так же быстро и неожиданно, как появились, женщина с ребенком уже пропали из моих глаз: мне почему-то очень захотелось увидеть еще раз, как мальчик оглянется на мать и как та улыбнется ему в ответ и скажет: «Беги, беги! Сам, сам, своими ножками!..»

Опять надвинулся лес, и через какое-то время опять сверкнула на солнце выбежавшая из него речушка. Но по берегу той речушки уже никто не шел, только далеко у горизонта пылила в поле машина.

Ну вот, как все хорошо было, а сейчас начало что-то томить, томить, а что — и сам не знаешь. Будто что-то вспомнить силишься, а ничего не вспоминается... Нет, кажется, вспомнил... Вспомнил! Да, вспомнил!!!

Постепенно, постепенно, откуда-то с самого дна памяти, всплыло и возникло перед глазами детское видение. Я напряг свое внутреннее зрение, пристально вгляделся

и увидел... Я увидел такой же вот солнечный день, такие же зеленые цветущие луга и себя, идущего по ним с матерью. Сколько мне было лет — не знаю, может, столько же, сколько тому малышу, может, чуть побольше. И я сейчас уже не припомню, куда и зачем мы шли с матерью, как мы вообще очутились в лугах. Я помню только, как остановился перед маленьким, узеньким ручейком, не решаясь перешагнуть его. То ли из родника какого-то он бежал в реку, то ли из какой мочажинки, кто знает. Вижу только узенькую, густо поросшую по краям полоску воды и себя перед ней. И это сейчас та полоска мне кажется чуть заметной в траве, а тогда, для тогдашнего меня, видно, была не такой уж и узкой, если заставила остановиться. Шедшая сзади мать догнала меня, легко перешагнула ручей и уже с того, другого берега обернулась в мою сторону. Я не стал ни о чем просить мать — не девчонка ведь! — только поднял на нее глаза, в которых, наверное, легко было прочитать: мама, перенеси меня! Мать понимающе улыбнулась в ответ и сказала: «Нет, Витя, сам. Сам! Ножками, ножками. Сам!..» И тогда я собрался с духом, расхрабрился и перешагнул тот широченный ручей. Какой уж там узкий, если даже глаза пришлось прижмуривать, чтобы не испугаться, не остановиться. Но уж зато так-то радостно и гордо мне стало, таким-то молодцом-удальцом я себя почувствовал, очутившись на другом берегу ручья, что у меня от восторга сердцу в груди тесно стало...

Вот что я увидел, что я вспомнил. Куда потом мы с матерью шли, что было дальше — опять же не знаю, не помню. Только эта выплывшая со дна памяти и словно бы оборванная или не прорисованная по краям картинка далекого детства.

«Сам, Витя, сам!..» Потом, наверное, встречались на моей жизненной дороге ручьи и промоины пошире, но, видно, не часто мне повторяли эти слова. То было раннее детство, игра, а когда я начал подрастать, видно, все чаще и чаще меня или переносили через те ручьи и промоины или переводили за руку. Хотели, как для Витц легче, хотели, как лучше. Только лучше ли вышло-то, Витя?! Если Николай Юрьевич недавно сказал тебе те же самые слова, значит, ты все еще уповаешь на то, чтобы тебя кто-то вел за руку, все еще не наберешься храбрости шагать по жизни самостоятельно. Говорил-то Николай

Юрьевич вроде бы о проекте, о твоей работе, но ведь понимать это опять же надо, наверное, не буквально, а пошире...

Незаметно день начал клониться к вечеру. Все длинней становились тени у деревьев, у телеграфных столбов. У вагонов же они исчезли совсем: солнце светило теперь вдоль состава.

Завтра об эту пору... нет, даже раньше, я уже буду на месте. Увижу Валю с Владимиром, увижу знакомые места...

Показался чем-то похожий на Медвежьегорск городок: такой же с одного бока зеленый, такой же новенький, в строительных лесах. Над крышами домов на золотисто-голубом небе то там, то сям четко рисуются журавлиные шеи башенных кранов. И много тех кранов — больше десятка. Еще недавно такие краны можно было видеть только в крупных городах. Теперь они пришли и в села, стали неотъемлемой частью современного пейзажа. Сколько их — считать не сосчитать — промелькнуло в вагонном окошке за три дня пути! Вся страна строится. «Никто еще никогда столько не строил...»

Да, завтра я уже буду в Медвежьегорске. Буду ходить по его просторным улицам и площадям, начну мысленно переносить свой проект на натуру и...

И я ловлю себя на том, что о Медвежьегорске, о своем проекте думаю с удовольствием, чуть ли не с радостью, а вот вспомнил наш дом — и никакой радости не испытал, хочется опять поскорее уйти мыслями в свой таежный город.

Там, в Медвежьегорске, мне придется, наверное, нелегко. Но я точно знаю, что мне надо делать. *Решение* принято, и я буду его отстаивать до конца. А вот как у нас будет дальше с Маринкой — я все еще не знаю, окончательного решения все еще нет.

Весело отсчитывая стыки, поезд летит и летит бескрайной Сибирью. И я опять, незаметно для себя, переношусь мыслями в далекий — нет, теперь уже совсем не далекий — Медвежьегорск.

А еще я думаю, что именно там я и приму — должен принять! — свое главное решение. Теперь-то уж я твердо знаю, что за меня это все равно никто не сделает. «Сам, Витя, сам...»

СОДЕРЖАНИЕ

Семен Иванович Шуртаков

ТАМ, ЗА НЕБОСКЛОНОМ...

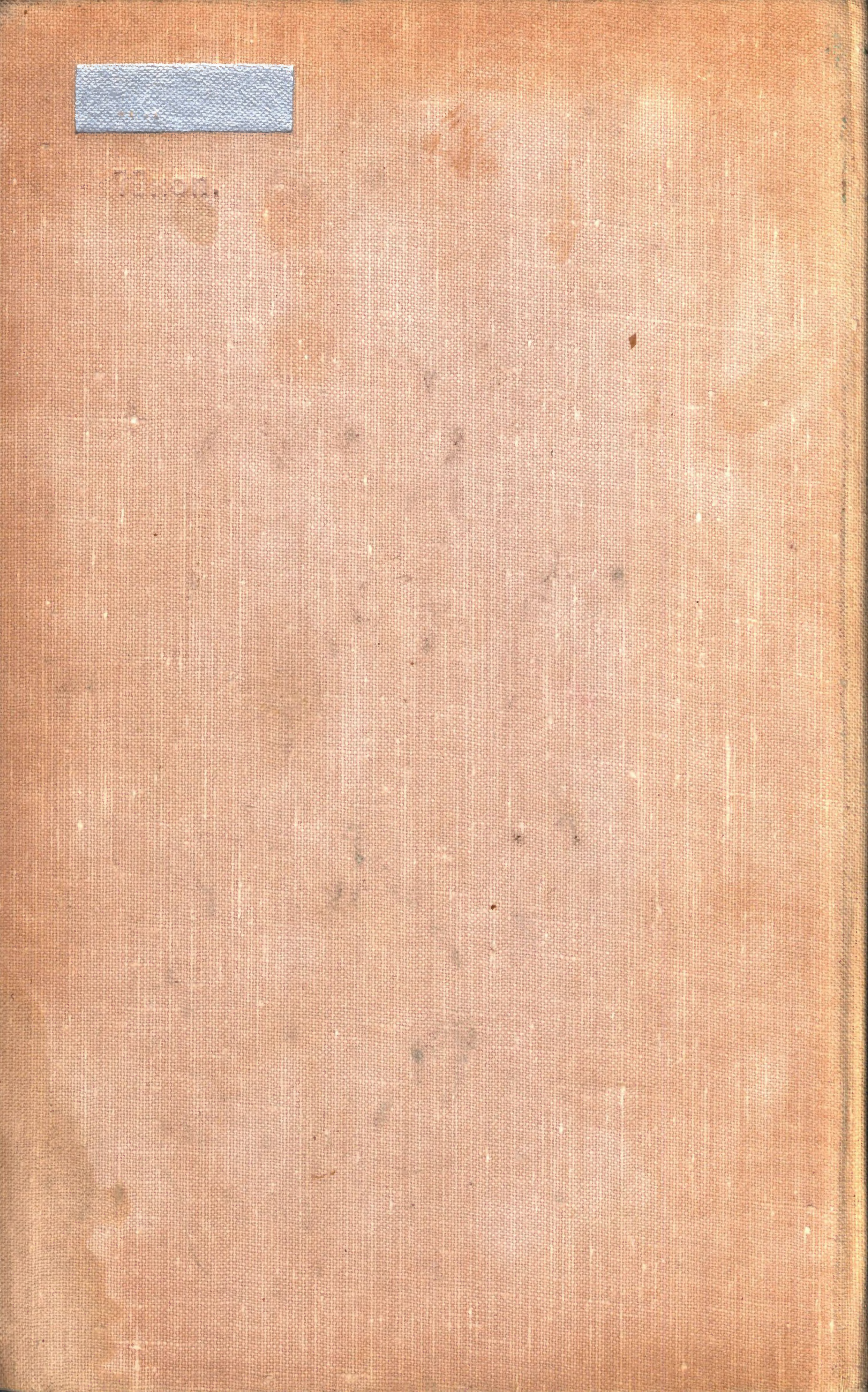
Рассказы, повести

Редактор **М. Филатова**
Художник **М. Худатов**
Художественный редактор **Б. Шляпугин**
Технический редактор **В. Никифорова**
Корректор **М. Стрига**

Сдано в набор 11/XI—1973 г. Подписано к печати 26/IV—1974 г. А07444. Формат бум. 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 10,5. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 18,09. Тираж 150 000 экз. Заказ № 1620. Цена 79 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.




СЕМЕН ШУРТАКОВ